

Нурали Кабул

НЕ ОПОЗДАЙ ЖИТЬ

Повести и рассказы

Перевод с узбекского

Ташкент

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1989

Уз 2
К 12

К $\frac{4702620201-14}{M 352(04)-89}$ 69-89

ISBN 5635—00224—2

© Составление, перевод произведений, отмеченных в содержании*.
Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма, 1989 г.



НУРАЛИ КАБУЛ НЕБО ТВОЕГО ДЕТСТВА

Перевод Н. Гацучаева Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

С. Есенин

Я жду не дождусь, когда у Буйнак опять появятся щенки. Бабушка говорит, у собак другой отсчет времени: у людей год, у них — два. Тогда мы с Буйнак одногодки. Мне скоро семь исполнится, а ей, значит, по собачьему счету, четырнадцать? Интересно. В один и тот же год родились, а она вдвое старше. Но мы с ней все равно большие друзья. Друг без друга дня прожить не можем.

Все наши сторожевые собаки — и Актай, и Коктай, и Сиртлан — дети Буйнак. Бывает, передерутся между собой, рычат, кусаются, шерсть клочьями летит, но стоит только появиться Буйнак — тотчас успокаиваются: мать. В такие моменты я ее особенно люблю. И горжусь. Она у нас в самом деле необыкновенная. Ласковая и строгая. И все понимает, только сказать не может.

Обхватчу я Буйнак за шею — и ну барахтаться! Она, конечно, сильнее меня, только никогда этого не покажет. Бывает, в этой смешной возне я оступаюсь, падаю, но еще ни разу не ушибся — Буйнак всегда снизу оказывается, и я валюсь на нее, мягкую и теплую.

Мама в такие минуты никогда не пройдет мимо. Стоит, оставив ведра или веник, долго смотрит на нас, защитив ладонью глаза от солнца.

— Ой, гляди, Нарбута, кто с собакой поведется — щенком станет! — крикнет, а у самой глаза веселые, смеются.

Я про себя думаю: «Ну и что? Чем плохо щенком быть? Это только взрослые считают, что собакам худо живется. А на самом деле наоборот. Гоняй себе целыми днями по лугам, по горам: ничьих упреков не слушай...»

А с недавних пор к нашей компании еще Сиротка прибилась, ягненок. Ее мать, белую овцу, волк задрал в Джидалинской степи. Остался ягненок белый, бредет на тонких ножках, спотыкается, мать зовет. Одно слово — Сиротка. Вот мы и взяли ее к себе. Заботимся, молоком поим, только все равно ей что-то не хватает. Бегает, бедняга, целыми днями, блеет, места себе не находит.

Когда отец дома, еще ничего. Он поймает овцу и держит, пока малышка досыта не насосется. А когда отца нет — прямо беда. Маме некогда, мне овцу не удержать. Вот и голодает Сиротка, носится как угорелая, кричит до хрипоты.

А овцам что, у них свои ягнята. Сиротку близко не подпускают: та боднуть норовит, та — лягнуть. И чего они такие вредные?

Я на днях привел Сиротку в загон, где держат овец с ягнятами. Покормить решил. Не помирать же ей с голоду, в самом деле!

Выбрал овцу помирнее, бросился на нее и повис на шее. Остальные овцы шарахнулись в стороны, заблеяли, заметались, пыль клубами взбили, вот-вот загон в щепки разнесут!

Сиротка хоть и мала, а своего не упустит: присосалась к вымени, бедняжка, за уши не оттащить. Овца вырывается, бьется, волочит меня по земле. А шерсть у нее в репьях, колется. Я все лицо себе исцарапал, пыли наглотался, сапог потерял. Но овцу не выпускаю: будь что будет, лишь бы Сиротка наелась.

Потом чувствую — руки занемели, а тут еще одна

из овец от испуга наткнулась на меня со всего разбегу, я и упал, да головой о кормушку ударился. Овце-злодейке только того и надо: изловчилась, отпихнула Сиротку и как боднет!

Вот такие дела.

С тех пор еще сильнее Сиротка к нам привязалась. Куда мы с Буйнак, туда и она. И на Бургуттепе за нами карабкается, и в Тераклисай к Старому Тополю бежит. Было нас трое, стало четверо: Буйнак, я, Сиротка и Старый Тополь. Он стоит на холме над молодой тополиной рощицей, и нет вокруг дерева выше. Посмотришь издали — Старый Тополь похож на чабана с отарой овец. Мы любим посидеть в его тени, длинной и широкой, как дорога. А когда мы уходим, гордый тополь шелестит нам вслед листьями, печально шелестит — прощается...

Каждый год к нам с дальних пастбищ приезжают чабаны — буйнакских щенков просить. Жалуются, что от волков отарам покоя нет. Мы с мамой неохотно со щенками расстаемся, не то что отец. Отец вообще Буйнак не любит, хоть сейчас готов со двора прогнать. И чего он на нее взъелся?.. Сколько лет Буйнак с нами прожила, столько сторожевых собак вырастила, а теперь ей у нас и места нет?

Маму послушать — когда-то в кишлаке собак совсем было мало. Тогда отец и принес домой черного щенка с белым пятном на шее. С тех пор Буйнак (Белошейка) у нас и живет. Отары охраняет, щенят приносит. И каких щенят! Чабаны из-за них чуть не дерутся каждый год. Особенно из-за кобельков.

Отец тогда у старшего чабана Мамадазима пастухом работал. Уж не знаю, чего они там не поделили, из-за чего поссорились, только однажды ввалился к нам пьяный Мамадазим и давай на маму кричать:

— Житья от твоего партизана нет! Во все нос сует, копейки лишней заработать не даст!

После этого отец от него ушел, а на прощанье сказал:

— Голову с тебя снять бы, Мамадазим! Да ладно, сколько лет вместе работали. Но запомни: оплеуха за мной. Придет время, рассчитаемся!

Мамадазим и не пикнул тогда, знал, что у отца характер вспыльчивый, а рука тяжелая. До сих пор, говорят, теряется, когда его встречает. А в тот вечер вернулся отец домой, увидел Буйнак и кричит маме:

— Чтобы глаза мои это мамадазимовское отродье больше не видели!

Мама тогда возразила:

— Собака-то в чем виновата! И Нарбута к ней привязался. Прогоните — горевать будет мальчишка...

Так Буйнак и осталась у него, хотя отец и ее и шенят до сих пор недолюбливает. Нет-нет да и скажет в сердцах:

— Скотина в хозяина не пойдет — подойдет. Что Мамадазим, что его псы — одна порода. Рвачи.

...Отец, как от Мамадазима ушел, сам решил взять отару. Директор совхоза ему и раньше не раз предлагал, но отец отказывался. А тут пришел просить. Директор поначалу заколебался, потом дал согласие, но с условием, что отец с отарой в Джандарлисайском ущелье будет зимовать. Неуютное это место, необжитое. С обеих сторон голые скалы громоздятся, голову закинешь — конца этим скалам не видно, лишь ручеек неба над головой. Да и волков там больше, чем на других зимовьях. Были случаи, не только овец — чабанов задирали серые убийцы.

Мама считает, что директор не случайно туда отца отправил. Думал — испугается, не пойдет. А отец не из таких.

— Ладно, — говорит, — Джандарлисай так Джандарлисай. Не беспокойтесь, все в порядке будет. И план выполним, и отару сохраним...

— План планом, — перебил его директор. — План — закон. Кроме него еще заботы будут. Поручения разные...

Отец насторожился:

— Что-то я не понимаю вас, товарищ директор.

— Не прибедряйся, Джурабай, — усмехнулся тот, а сам отца по плечу похлопывает. — Все отлично понимаешь. Столько лет у Мамадазима в пастухах был! А уж Мамадазим-то, если ему понадобится, звезду с неба без лестницы достанет. Знаешь, как его за глаза зовут?

— Знаю.

— Ну так и не прикидывайся овечкой.

Про Мамадазима всякие слухи ходят. Мол, он верблюда целиком проглотит — и хоть бы хны. Пастухи между собой так его и называют: Мамадазим Хоть Бы Хны.

Мама говорит, отец сразу смекнул, куда директор клонит. Но промолчал — не знал, что ответить. Ну, а директор это по-своему истолковал:

— В общем, я распорядюсь, дадут тебе шестьсот отборных овец. На нынешний год плана по ягнтям устанавливать не будем. Запустишь в отару двадцать племенных баранов, пусть вместе пасутся. Время от времени можешь на люцерники их запускать, только старайся, чтобы не видел никто. Весной больше половины ягнят принесут. А сколько — это мы с тобой знать будем, понял? Если что понадобится, прямо ко мне обращайся, к заведующему фермой не ходи. Договорились?

Отец подумал: «Скажу «нет» — отару не даст». И опять промолчал, хотя в душе, конечно, воспротивился. Отец терпеть не может тех, кто на общественное зарится. Таким людям, говорит он, ни на этом, ни на том свете добра не будет. Они с мамой вечно так говорят, что мне не понять. А объяснять не хотят. Некогда им. Одна бабушка не ленится, все мне объясняет.

Бабушка, хоть и старенькая, многое знает и помнит. Кажется, нет такого на свете, что она не смогла бы объяснить. А как начнет рассказывать старинные предания о дэвах, прекрасных пери да храбрых джигитах — тут только рот открывай. Если вечером бабушку наслушаться — всю ночь будет сниться эта чертовщина...

Бабушка целыми днями шерсть прядет, а мама, когда выдается свободное время, вяжет всякую всячину.

Когда я вижу, как бабушка прядет, мне вспоминается прошлогодний случай на стрижке овец. Тогда мы овец стригли в ущелье Куруксай, что возле Бургуттепе. Отец, как всегда, на подмогу стригалей пригласил, человек десять. Любо-дорого было посмотреть, как они работали: проворно, ловко, весело... Шерсть стригли раскладывали по цветам. Так красивы были на ярко-зеленой траве груды белой, черной, коричневой шерсти! Работая, стригали переговаривались, шутили, напевали, и голоса их мне казались разноцветными нитями, они сплетались в узоры в знойном дрожащем воздухе и тянулись далеко-далеко, к самому концу ущелья, туда, где мерно рокотал Куруксайский водопад...

Я без дела не сидел, помогал ловить овец. Они ко мне привыкли и не боялись, не убегали. Мама стригалам еду готовила. Все были заняты делом, но особенно старался Вали-ака. Загорелый до черноты, маленького роста, неказистый, а шерсти больше всех настригал.

Его ловкие руки с ножницами так и летали над испуганной овцой. На выпуклом лбу блестели крупные, как роса, капли пота. Нравилось мне очень помогать Ва-

ли-ака, я вообще люблю тех, кто с удовольствием работает. Всюду я за ним увязывался, ни одного его слова не пропускал. Может быть, поэтому услышал, как мама, отозвав Вали-ака, негромко сказала:

— У меня к вам просьба, Валиджан-ака. Платок нужно довязать, а шерсти не хватает. Уж вы, как будете стричь вон ту белую овцу, отложите мне шерсти немного, но так, чтоб муж не видел, он этого не любит.

Я ушам своим не поверил. Как же так? Овца-то ведь совхозная! Как же мама может себе шерсть забрать? Да еще тайком от отца. Он бы ей ни за что не разрешил, я его характер знаю. Как-то раз старший чабан из другой отары попросил его овцу поменять. Знаете, что отец ему ответил?

— Вон мои овцы пасутся. Четырнадцать штук. Любую бери. Всех забирай, если надо. А совхозных не трожь. Я человек семейный, дети у меня, за решетку не желаю, понял?

Так и уехал чабан ни с чем на своем стареньком мотоцикле. А отец еще долго возмущался:

— Такие с овец начнут, а там, того гляди, весь совхоз по кирпичику растащат!

Как услышал я мамины слова, голова у меня кругом пошла. Отцу рассказать? Нельзя. Горячий он у нас, вспыхнет, чего доброго, на маму руку поднимет. Не сказал я отцу ничего. Не решился. Но все равно не вышло по-маминому. Она тайком уложила шерсть в ведро и отправилась к роднику, будто бы за водой. А отец, оказывается, все видел. Несколько минут он молча смотрел ей вслед, поигрывая ножницами. Потом позвал меня:

— Пойди, догони маму. Пускай шерсть на место положит.

Неохота мне было бежать за мамой, но что поделаешь — пришлось. Бежал, а сам думал: какой у нас отец умный, не стал при людях маму стыдить. Мама заметила, как я подбегаю, и все поняла. Остановилась, побледнела даже.

— Папа велел, чтобы вы шерсть на место положили! — выговорил я, задыхаясь.

— Ты ему сказал? — спросила мама. У нее дрожали губы.

— Нет, он сам увидел.

— Обеднеет совхоз, если от одной овцы шерсти недосчитается? На, забирай это сокровище! Для

твоего отца и дом — совхоз, и жена — совхоз, и дети — совхоз! Другого такого человека на белом свете нет!

В сердцах она опустила ведро на землю. Я его нехотя взял и так и стоял с ним, а она пошла прочь в сторону кишлака, продолжая что-то бормотать. Я поплелся обратно и, улучив момент, когда возле кучи никого не было, незаметно вывалил в нее шерсть из ведра. Никто не должен был знать о том, что попыталась сделать мама.

Потом я показал отцу пустое ведро. Он молча кивнул и отвернулся, а Вали-ака, наблюдавший за нами, даже пожегился.

Я много думал тогда о маме... Странно получалось, я и осуждал ее, и в то же время жалел. Маме приходилось тяжелее всех. Трудилась она наравне с чабанами. И кроме того, вся работа по дому ложилась на ее плечи. Часто и так бывало: чабаны с отарой ушли, отец уехал по делам в правление, а мы с мамой целыми днями навоз из загонов выгребаем.

В такие дни она не выдерживала. Встанет, обопрется на лопату, вытрет вспотевший лоб рукой и долго смотрит вокруг отчаянно-тоскливыми глазами. Как будто в первый раз видит и наш дом, и загоны, и кряжистую, в три обхвата, старую чинару за дувалом. Я знаю, что сейчас мама станет громко жаловаться на свою судьбу, не люблю я таких минут, сиротливо мне как-то становится и страшно, поэтому я продолжаю молча выгребать навоз, не глядя в мамину сторону.

— Подохнуть лучше, чем так жить! С тех пор как я за твоего отца замуж вышла, по колено в навозе хожу, — начинает причитать она. — Другие пару лет в животноводстве поработают, глядишь — собственная «Волга». А твой отец с малолетства овец пасет, день и ночь, как проклятый, покоя не знает, но не то чтобы машину купить — тарактелку обновить не может. И ту ему Мамадазим Хоть Бы Хны купил. А начну говорить — тут же рот затыкает: «Черный хлеб едим, зато честным трудом добытый». Все кругом жулики, видите ли, один он честный!

Я слушаю маму — она может так причитать долго: благо есть кому слушать, — и мое сердце сжимается от жалости к ней.

Тогда, в Куруксае, отец вечером все-таки не выдержал, спросил:

— Зачем ты это сделала, Нархол? Знаешь ведь, как я к таким вещам отношусь!

— Понадобилась шерсть, вот и взяла, — вспылила мама. — Не нравится — с базара приносили бы!

— Приспичило, значит! Не могла до зимы подождать, когда дел поубавится.

— С вами никогда не поубавится! Ни зимой, ни летом покоя не знаю.

— Да пойми ты, наконец: сегодня за клочком шерсти руку протянешь, завтра за сотню овец придется отвечать. Вам, женщинам, вечно чего-нибудь не хватает. Сыты, одеты, обуты — так нет же, все мало!

Мама сразу же вспыхивает, как всегда, когда ее задевают за живое.

— Смотря чего мало! — бросает она отцу. — Навозу вот очень даже хватает! По горло в навозе живем, да все радуемся, что честно. Оглянитесь вокруг, посмотрите, как люди живут.

— Какое мне дело, кто как живет! Ты еще на городских погляди, на волосатых, сзади посмотришь — мужчину от женщины не отличишь... Правильно дед мой говорил, — царство ему небесное, — человечество к своим истокам возвращается.

— Можно подумать, вы их видели, эти самые истоки!

— Видел не видел, а семилетку за плечами имею. О том, как человек от обезьяны произошел, в пятом классе проходят.

— А я, по-вашему, не училась! Когда учитель объяснял, что человек от обезьяны пошел, никто ему не поверил. Враки все это.

— Вот я и говорю, что вы, женщины, особый народ. Вам одно говоришь, а вы все равно свое повторяете. Тысячи ученых доказали, что человек от обезьяны произошел, а вы...

— Ну, хорошо! Тогда почему остальные обезьяны людьми не становятся? Вон их сколько на земле!

— Значит, это не те обезьяны. А может, и станут еще людьми... потихоньку-полегоньку.

— Ждите, как же! Сколько живу, ни разу не слышала, чтобы обезьяна в человека превратилась.

— Тебя разве переспоришь! Будто мы чем-то лучше обезьян. Те хоть зла никому не причиняют. А людям дай волю — весь мир подожгут.

— А вам волю дай — всех в обезьян превратите.

— Ну, хватит! — рассердился отец. — Кончай болтовню! Ты кого угодно до смерти заговоришь.

Обычно в таких случаях мама замолкала, и спор на этом заканчивался. Но в тот вечер они еще долго разговаривали, а я притворялся спящим и слушал.

— С собаками что-то делать надо, чтоб им пусто было! — сказал отец. — Пастухам казан похлебки варим — и этим тварям казан. Была бы одна или две, а то пять обжор! А оценится Буйнак — ступить негде будет. Придется чабана нанимать, чтоб собак пас.

— У нас Нарбута отлично их пасет, — усмехнулась мама.

— Только этого не хватало — сына собачьим пастухом сделать.

— А он и так день и ночь с собаками. За Буйнак с крыши готов прыгнуть.

— Тебе все шутки. Нарбута этой осенью в школу пойдет. Не избавимся от Буйнак — учиться толком не будет.

— Нарбута отличником станет, — возразила мама и задумчиво добавила: — А насчет собаки, может быть, вы и правы...

Меня будто за горло кто-то схватил, хотелось вскрикнуть, крикнуть: «Нет! Буйнак мне ничуть не помешает!» — и не смог. Долго лежал так, а потом уснул — и всю ночь мне Буйнак снилась...

Мы играем в догонялки в седловине между горами Дульдуюлькия и Ойкар. Бабушка рассказывала, что давным-давно сказочный богатырь Хазрат Али, отправляясь на войну с врагами, взлетал отсюда в небо на своем крылатом коне Дульдудуле. Потому гора так и называется: Дульдуюлькия — Вершина Дульдудуля.

Мой черед убежать. Буйнак догоняет. Конечно, если она захочет, одним прыжком меня догонит. Но тогда какой от игры интерес? И она нарочно то и дело спотыкается, неуклюже падает и катится по склону. Я убегаю зигзагами, чтобы ей труднее было меня поймать. Наконец она прыгает мне под ноги, и я валюсь на нее как подкошенный. Буйнак вскакивает, кладет передние лапы мне на грудь, и глаза ее торжествующе поблескивают: «Ага, попался!»

— Все! Все! Сдаюсь! — кричу я и поднимаю руки. Она радостно взвизгивает.

Потом мы кувыркаемся наперегонки, кто быстрее и

дальше. Она меня догоняет, и тогда я вскакиваю и бегу вперед. Это не по правилам, и Буйнак тотчас прекращает игру. Она останавливается и укоризненно глядит на меня, помаргивая глазами.

Сразу видно, когда она обижается: уши ее обвисают, глаза печально смотрят в одну точку.

В такие минуты я, кажется, читаю ее мысли: «Думаешь, раз я собака, то и считаться со мной не надо? И обманывать можно, и издеваться? Смотри, если и дальше так пойдет, я с тобой дружить перестану. Уйду в лес, проживу как-нибудь одна...»

И мне делается не по себе.

— Прости меня, Буйнак! Ну, пожалуйста, прости! Я больше никогда тебя обманывать не буду, — шепчу я и обнимаю ее за шею.

Она смотрит куда-то вдаль не шевелясь, будто думает о чем-то своем, чего мне не понять никогда. И мне ее жаль. Почему? Сам не знаю. Наверное, потому, что она собака, и жизнь у нее все-таки собачья. Дадут что-то поесть — поест, не дадут — сама должна добывать.

Хорошо, когда отец берет меня с собой отару пасти. Тогда мы с Буйнак день и ночь вместе. Я возьму на изготовку старую палку, которую мне дядя Хамро подарил, и воображаю себя командиром. Буйнак — мой помощник, овцы — солдаты. Стоит мне скомандовать: «Вперед!» — все вперед бросаются.

Отец ночами не спит, отару с места на место переносит, чтобы получше выпасти овец. А мы с Буйнак среди овец играем, следим, чтобы не разбрелись. Устанем — пристроимся где-нибудь за бугорком и в обнимку подремлем. Один спит, другой караулит. Когда отец к нам приближается, Буйнак меня в бок носом толкает, чтобы проснулся. Увидел однажды — меня выругал, а в Буйнак запустил посохом. Она от отца неделю отворачивалась.

И овцы к нам привыкли. Спят с нами рядом. С овцами хорошо лежать — тепло, спокойно. Они так тихо спят, даже дыхания не слышно. Бабушка утверждает, что у всех животных свои духи есть. И у овец тоже. Только я, сколько ни старался, ни разу не видел овечьих духов. Может, они Буйнак боятся?..

На пастбище и Сиротка наша подросла, окрепла. Но обжорой как была — ею и осталась. Наверное, так уж у сирот принято. Кто еще о них позаботится? Когда молодняк клеймили, отец и ей тамгу в ухо продел. Такой

металлический кружок с цифрами посередине, чтобы легче овец распознать, если смешаются с чужими, Сироткин номер легко запомнить — 333...

Часто мы с Буйнак удираем в горы на целый день.

Проголодаемся — сами себе пропитание добываем. Буйнак не хуже кошки горных голубей ловит. Голуби в расщелинах гнездятся, тут она их и подкарауливает. Поймает и ко мне тащит. Мы их на плоских камнях на костре печем. Вначале Буйнак их ела сырыми, а потом раз попробовала — и теперь ей только печеных подавай.

До кишлака далеко. Если рано утром на ишаке выехать, лишь к обеду доберешься. А до Ташкента? Наверное, в десять раз или даже в сто раз дальше... У меня старший брат есть. Он окончил институт, в котором на лесничих учатся, а сейчас в армии служит. Вернется, когда я первый класс окончу, и повезет меня в Ташкент, город показывать. Сам обещал. Я его жду не дождусь. Мама говорит, что он над всеми горами, лесами, медведями, волками, кекликами начальником будет. Вот уж тогда мы с Буйнак заживем! Мы брату всех зверей в горах покажем, все деревья!

А еще у меня сестренка есть, Мутабар. Мы ее Мутти зовем. Никак эта самая Мутти со мной не ладит. Я ей на днях говорю:

— Иди ко мне, Муттиджан, я тебя обниму.

А она:

— Хо-хо! Еще чего не хватало! Ты с Буйнак возишься вечно, от тебя псиной пахнет.

— Счастье твое, что отец с мамой дома, негодница! А то бы я тебе показал «псиной пахнет». Досталось бы твоим козьим завитушкам! — пригрозил я.

Только ее не больно-то испугаешь. Высунула язык, скорчила гримасу и убежала.

В общем, не годится она в товарищи. Ей бы все за мамой бегать да ябедничать. И мне с ней играть, честно говоря, особой охоты нет. Недотрога она и плакса. Толкнешь случайно — в слезы. Не дашь что-нибудь — опять ревет. А мама меня ругает за то, что я ее колочу. Я кричу, что пальцем ее не тронул, все равно ей верят, а мне нет. Я в такие минуты злюсь на Мутти страшно.

Спасибо хоть отец на моей стороне бывает. Как Мутти хныкать начнет, изловит он меня — и ну за уши трепать, будто по правде, а сам понарошку. Я ему подыгрываю, кричу что есть мочи:

— Ой, не надо! Ой, больно!

Мутти злорадствует:

— Что, досталось? То-то же!

А мне смешно. Маленькая она, на нее и обижаться-то всерьез нельзя.

Другое дело — Буйнак. Вот это настоящий друг! Если меня долго нет, она ложится возле двери и лежит, ни на что внимания не обращает. Маме то и дело приходится перешагивать через нее, так что в конце концов она не выдерживает и кричит мне:

— Нарбута! Ступай во двор, негодник! Любимица твоя там все глаза проглядела. Лежит на пороге, как колода, вот-вот споткнешься об нее да шею свернешь!

Мне только этого и надо. Бегу во двор, а Буйнак тут как тут. Бросается ко мне, повизгивает, в глаза заглядывает. Потом срывается с места и мчится к горам, а я за ней. Только разве ее догонишь? Пока я до холма добегу, она уже давно меня ждет. Поднимается на задние лапы, передними в воздухе перебирает, будто бьет в невидимый барабан. Это она меня играть приглашает. Наиграемся всласть, а потом уляжемся на траве и посмотрим в небо.

Я готов день и ночь смотреть, как по небу тянутся облака. Иногда они редкие и маленькие, словно заблудившиеся ягнята, а то сбиваются вместе, и тогда похожи на отару, текущую с гор. Если долго лежать на спине, раскинув руки и глядя вверх, начинает казаться, что это не облака несутся там, высоко-высоко, а ты сам, как птица, раскинув руки, плывешь по синему-синему полю, бесконечному и ласковому, среди доверчивых, как овцы, облаков.

Иногда так дух захватывает, что даже страшно становится, и я тогда крепко обнимаю Буйнак, а она лежит тихо, все понимает.

Удивительно, но Буйнак даже мысли человеческие читать умеет, дурного человека чует издалека. Обычно ее лаять не заставишь, а тут такой концерт закатывает, что в ушах звенит. Я ее прошу:

— Перестань, пожалуйста, пока отец на нас обоих не рассердился.

Тогда она умолкает и плетется к сараю. Ну а если отца нет дома, то она и меня не послушает — никого близко не подпустит.

А двоих она вообще терпеть не может: Мамадазима

Хоть Бы Хны и Кадыркула Насфуруша *. Прямо-таки растерзать готова обоих. И они ее как огня боятся: зачем пришли, забывают. И знаете, что интересно? Ни тот, ни другой не смеют Буйнак в глаза смотреть! Я этого долго не мог понять, пока бабушка не объяснила.

Оказывается, собаки людей насквозь видят. И что те думают, и что замышляют. И даже то, о чем люди сами еще не догадываются. Так уж они устроены, собаки.

Бабушка говорит: «Возьми, например, Кадыркула Насфуруша. От него за километр насом разит, а слово скажет — и того хуже: смрад сплошной».

Кадыркул Насфуруш и в самом деле дрянной человек. Он тайком в Тераклисае кору с тополей обдирает. Надерет целый мешок и к обеду в наше кочевье является — брюхо набить.

Бабушка рассказывает: он эту кору сжигает, а золу с табаком смешивает. Получается нас — табак, который взрослые кидают под язык. Другие табачники вместо тополиной коры известь используют, поэтому у них нас хуже, чем у Кадыркула.

Может, для кого-то Кадыркул Насфуруш и хорош, а только мы с Буйнак его ненавидим. Сколько он тополей в Тераклисае загубил — подумать страшно! И ведь многие знают, чьих это рук дело. Знают и молчат. Буйнак однажды в роще на него накинулась, хотела проучить. Но он хитрый, с топором не расстался. Чуть насмерть Буйнак не зарубил. Хорошо, я рядом был, крик поднял, он и испугался.

Мы все повадки Кадыркула изучили. Обычно приезжает он в Тераклисай по понедельникам. Ущелье это дикое, птиц, зверей непуганых видимо-невидимо. Кроме нас с Буйнак, там, наверное, и не бывает никто. А теперь вот Кадыркул повадился.

Часто мы забираемся в заросли на гребне горы. Вся лощина отсюда — как на ладони. На отшибе, в сторонке, наш любимец Старый Тополь, высокий, гордый, пасет тополиные рощицы. Мне всякий раз страшно делается — вдруг Кадыркул и на него руку поднимет? А что? С него станется!

Не зря ведь Кадыркул людям в глаза смотреть не смеет. Разговаривает, а сам в землю уставится или по

* Насфуруш — торговец насом; нас, насвай — особый вид табака, закладываемого под язык.

сторонам глазами стреляет. Сразу видно, совесть у человека нечиста. Отец говорит, это оттого, что Кадыркул всю жизнь только о деньгах печется.

А бабушка, как увидит Кадыркула, так ворчать начинает:

— Опять пожаловал, проходимец! Чтоб тебя земля проглотила, выжига проклятый!

— Бабушка, а почему он выжига? — спросил я однажды. — Потому, что кору жжет, да?

— Скажешь тоже! — фыркнула бабушка. — Он совесть в себе выжег, вот почему! Видел, какие у него глаза бесстыжие? Всю жизнь ловчит, пролаза несчастный! Он и на войне сам себе руку прострелил, чтобы не воевать. Своими ушами слышала, когда он, пьяный, хвастался. А еще, поди, пособие получает от государства, как инвалид.

После этого разговора я сказал Буйнак:

— Ну, держись теперь, Кадыркул! Еще раз зайвись в Тераклисай, валун на него сверху столкнем.

Буйнак радостно взвизгнула и завиляла хвостом.

Вскоре отец послал нас за овцами на дальнее пастбище. Вовремя послал: они как раз к пшеничному полю дяди Раджаба подбирались. А у него нрав крутой, свяжешься — не рад будешь. Буйнак ткнулась, чтобы отогнать овец подальше от поля. Ну, как тут не удивляться: поняла, что, пока я добегу, овцы уже в поле забредут.

Я прилег на траву и стал наблюдать за Буйнак. И почему она собакой родилась, а не мальчиком! Осенью я в первый класс пойду. Вместе бы в школу ходили, за одной партой сидели бы. Что же теперь с Буйнак станет, кто о ней заботиться будет? У мамы своих дел по горло, она иногда по два-три дня Буйнак кормить забывает... Буйнак умница. Подойдет к столу и глядит как ни в чем не бывало. Я потихоньку ташу с тарелки кусочек хлеба и ей выношу. Однажды отец меня за этим застал. Он, видно, был не в духе, рассердился:

— А ну, положи на место, негодник! Люди за сухую корку жизнь готовы были отдать, а ты хлеб собаке скармливаешь!

Так и осталась Буйнак голодной. Зато на следующий день я чуть свет поднялся, взял с полки лепешку и просунул в щель под дверь, а сам опять лег. Теперь если мама и увидит у Буйнак лепешку, подумает — сама где-то нашла.

Мама очень устает за день — наверное, поэтому часто укоряет меня:

— Ты все с собакой, Нарбута! Помог бы мне, по дому бы что-нибудь сделал!

Я жалею маму, рад ей помочь, да что-то не выходит ничего из этого: возьмусь, например, двор подметать, а Буйнак тут как тут — стоит, смотрит насмешливо, словно говорит: «И охота тебе этой ерундой заниматься! Бежим, Нарбута, заберемся на Дульдуйкию, норы выроем, заживем припеваючи...» Тут уже мне, конечно, не до подметания. Закину веник за сарай и — вдогонку за Буйнаком... Вечером возвращаемся тихие, виноватые, знаем — мама обязательно отцу на меня пожалуется. Хорошо, если он просто отругает. А то бывает и так — махнет рукой и скажет устало:

— Оставь ты его. Все равно человека из него не выйдет. Ему собака дороже, чем родители. Сколько ни говори, все без толку.

И отвернется.

Я тогда забираюсь в постель, уткнувшись лицом в стенку, лежу тихо.

Они думают, что я сплю, а я все слышу.

Мама. Зря вы его так обидели. Маленький он еще.

Отец. Сама же целый день на него жалуешься.

А теперь, оказывается, я ж и виноват.

Мама. Откуда мне было знать, что вы его с землей смешаете!

Отец. С землей, с землей... Ну, одернул мальчишку как следует! Для его же пользы. Детей в строгости надо держать, а не то на шею сядут. Спихватишься, да поздно будет.

Мне становится все обиднее, заглушить всхлипы все труднее, еще минута — и я громко зареву. Но, полагая, что я сплю, отец вдруг полусшепотом заводит с мамой разговор о другом. Я прислушиваюсь и тотчас забываю о своих обидах, лежу, боясь шелохнуться, ведь отец говорит о том, что произошло нынешней весной в Джандарлисайском ущелье...

...Я был в то время с отцом в Джандарлисае. Не раз, должно быть, за зиму отец вспомнил об условии, которое поставил ему директор совхоза, когда давал отару. Отец промолчал тогда, думал, обойдется как-нибудь. И ошибся.

Перезимовала отара в Джандарлисае хорошо. Всех овец уберегли, ни одна не пропала. А весной огласилось

ушелье веселым бляшнем ягнят. Отец с пастухом, дядей Хамро, нарадоваться не могли на молодяк: здоровые, резвые, один к одному. Только рано они радовались. Однажды утром, когда мы с дядей Хамро ягнят подкармливали, а отец на счетах что-то выщелкивал, подкатила откуда ни возьмись новенькая, молочного цвета «Волга». За рулем какой-то гривастый парень сидит, а на заднем сиденье сам директор развалился — здоровенный, толстые щеки лоснятся, внимательные глазки будто выпытывают что-то.

Отец как увидел их — крикнул от досады, счета отбросил, сложил вдвое тетрадку с записями и за голенище сунул. А сам поднялся с кошмы и, подобрав посох, навстречу незванным гостям направился.

— Ассалом алейкум! — приветствовал его директор, вылезая из машины. — Верно сказано: к хорошему человеку аллах сам дорогу укажет. Я подумал: может, вы здесь, велел свернуть, а вы и в самом деле тут.

— Здравствуйте, товарищ директор, — сдержанно поздоровался отец.

Директор выкарабкался из машины и вдруг ни с того ни с сего обнял отца, — у того от неожиданности даже посох из руки выпал.

— Знакомьтесь, — директор подтолкнул к отцу патлатого водителя. — В Ташкенте на юриста учится. Мой младший сын. — Потом подозвал дядю Хамро и что-то ему вполголоса сказал — видно, послал за чем-то. И опять отцу: — Давай, Джурабай, пройдемся. Разговор есть.

Они пошли через луг к саю, а я следом увязался. Сделал вид, что играю, за стрекозами гоняюсь, а сам все слушал. Они шли, долго не начиная разговора. Я видел сзади, какая у отца напряженная спина. Наконец директор похлопал его по плечу и сказал:

— В общем, так, Джурабай, мы с тобой теперь ближе, чем родные, будем. Во втором квартале совхозу двое «Жигулей» выделяют. Одна машина твоя. В передовиках будешь ходить, в газетах о тебе напишут, по радио и телевидению расскажут, уж я позабочусь.

— За «Жигули» спасибо, — сдержанно поблагодарил отец. — А то сейчас, пока на мотоцикле в кишлак съездишь, полдня уходит, да еще пропылишься насквозь, как мельник.

— То-то же. Ну, а теперь к делу. Сколько у тебя овец окотилось?

— Двести с лишним. — Голос у отца изменился, стал таким же напряженным, как спина, как лицо с наспуленными жесткими бровями.

— Тридцать себе оставь, — негромко бросил директор. — Пригодятся, когда машину покупать будешь. А за остальными пришлю.

У меня все похолодело внутри. Неужели согласится? Неужели...

Отец развязал поясной платок и вытер им лицо. Я затаил дыхание.

— Ты что — язык проглотил? Не бойся, если я что-то делаю, — значит, уверен. И тебя в обиду не дам. Учти, не каждому от меня такая милость. Так что пользуйся, надо и тебе когда-нибудь в люди выходить.

— Не могу я, — отец говорил глухо, через силу. — Никогда такими делами не занимался. Не получится.

— А, брось ты! — отмахнулся директор. — Сможешь. Бабы разговоры.

— Нет! Как перед аллахом, говорю: не могу! И не уговаривайте. Вон ягнята — двести пятьдесят штук. Присылайте ревизионную комиссию, пусть по акту примут. А дальше как знаете, так и поступайте.

— А еще мужчиной себя считаешь! — рассердился директор. — Дурака я сваял, что тебе доверился! Знал бы, другого нашел! Тряпка — вот ты кто!

— Не оскорбляйте меня, товарищ директор!

— «Не оскорбляйте...». Да разве ты человек? Человек давно бы сообразил, что к чему, а ты... Ладно. Баранов Мамадазиму передашь. Другую отару примешь. Так уж и быть, возьми себе двадцать ягнят за труды. И — крышка. Чтоб никаких разговоров! Понятно?

— Понятно, — отец выпрямился и посмотрел директору в глаза. — Теперь меня послушайте. Ни одного ягненка никто не получит. Отару Мамадазиму не сдам. Подыщите порядочного человека, а пока что сам буду пасти.

Я почувствовал, что вот-вот задохнусь. Сердце колотилось, словно выпрыгнуть из груди хотело. От запахов трав першило в горле. Скорее бы все кончилось!

— Ого! — Директор от удивления даже попятился. — Вот ты какой, оказывается? На директора голос повышаешь? Жевал-жевал, а теперь выплываешь? Ну нет, братец! Я тебя живо образумлю! Завтра же упеку куда следует! Думаешь, не знаю, как ты триста приبلудных овец в совхозном стаде пасешь?

— Не пугай! Боялись тебя! Думаешь, сам жулик, значит, все жулики? Ошибаешься! Двести ягнят одним махом проглотить задумал? Реза Пехлеви нашелся! Разжирел на краденых харчах, а туда же — пугает.

— А ну, замолчи! Замолчи, говорю! Не хватало мне с такими, как ты, пререкаться!

— А что? Или ты святой? Или рога у тебя есть? Покажи, где они? — Отец уже кричал; мне казалось, его голос разносится по всему ущелью. — Взятчик несчастный! И нечего меня тюрьмой страшать! Я и перед людьми чист, и перед совхозом, и перед государством. Не то что ты!

— Да заткнешься ты, наконец, скотина неграмотная? Чего разорался на всю степь? Заткнись, говорю! — визжал директор. — Замолчи, а не то!..

Но отца уже ничто не могло остановить.

— Неграмотный, говоришь? Может, и так. Зато не вор, не взятчик, не халуга. Ты — грамотный? На каких курсах тебя воровству обучали?! Где?..

Отец не договорил. Директор размахнулся и занес над отцом кулачище.

Солнечный день померк в моих глазах.

— Не смей! — закричал я не своим голосом, бросаюсь к директору. — Не смей бить папу!

Я вцепился в директора, стараясь оттащить его в сторону. Он оскалился и отшвырнул меня, как котенка. Я готов был убить его. Я бы убил его, если б смог. Я кричал, звал на помощь. Никто не слышал моих криков. Небо обрушилось на голову директора совхоза. И когда он торопливо уходил в сторону кочевья, в спину ему светило все то же яркое весеннее солнце, и ветерок, как ни в чем не бывало, посвистывал в стебельках трав.

И тогда я громко заплакал. Давясь слезами и чувствуя, как судорога больно сжимает мне горло, побежал к кочевью, спотыкаясь и падая.

«Волги» уже не было. По дороге, лениво пыля, ехал молоковоз. Я поднял руку. Шофер затормозил, открыл дверцу. Я сказал, что отец послал меня в кишлак по срочному делу. Шофер кивнул, помог мне взобраться на сиденье и захлопнул дверцу. И я уехал в кишлак, к маме. Впервые уехал, не спросившись у отца...

— ...Опять с собаками сражался? Слава богу, хоть не загрызли! А что куртка изорвана — не беда. Отец новую купит, он у нас богач.

Только теперь я увидел, что рукав у куртки порван и еле держится. Проклятый директор!

— Это я случайно. О камень зацепился.

— Не ври. О камень так не порвешь. И когда ты ума наберешься? Все с собаками да с собаками. Того и гляди лаять начнешь!

Я промолчал. Да что я мог сказать в оправдание? Что защищал отца? Нет! Об этом маме нельзя рассказывать. Пусть ругает. Пусть даже побьет — все равно не скажу.

А мама продолжала бушевать:

— Вот-вот. Всегда так: натворит дел, а потом молчит, как каменный, будто не слышит. Ну, погоди, негодник! Вернется отец, я ему все расскажу. А он-то тебе уши прочистит!

Я почувствовал, что по щекам опять побегали слезы.

— Не надо, мама! Пожалуйста, не говорите отцу! Ничего не говорите! — Я не выдержал и разрыдался.

У мамы весь гнев как рукой сняло.

— Что с тобой, сынок? — Она притянула меня к себе и стала испуганно осматривать. — Побили тебя? Собаки покусали? Где? Где больно, сынок?

— Не побили, не покусали... Только отцу ничего не говорите, мамочка... Я вас очень-очень прошу.

— Не скажу, родной. Успокойся. Никому не скажу.

Мама гладила меня по волосам, вытирала слезы, а они все катились и катились, и я ничего не мог с ними поделать.

— Не буду... Никогда больше не буду рвать... одежду...

— Ну, хватит, хватит, сынок. Успокойся. Добра я тебе хочу, понимаешь? Хочу, чтобы ты хорошим человеком вырос. О ком мне еще беспокоиться, как не о детях своих? Кроме вас, у меня никого на свете нет. Родители умерли давно, братья с войны не вернулись... — Мама всхлипнула и приложила платок к глазам. — Хоть бы твой брат скорее из армии пришел. А там и ты подрастешь.

— Я уже и так подрос. Осенью в школу пойду, — сообщил я, чтобы как-то ее успокоить.

— Конечно, пойдешь, сынок. Соседская дочка Латофат обещала книжки принести. А папа сумку тебе из города привезет. Самую красивую. — Мама вздохнула. — Есть хочешь?

Я кивнул. Почувствовал вдруг, что голоден. Мама

намазала маслом кусок лепешки, достала пригоршню парварды *, высыпала мне в карман.

— Сними куртку, сынок. Я почию. А ты поиграй пока.

«Хорошая у меня мама, — подумал я, выбегая из дома. — Добрая и ласковая. Только притворяется строгой. Я, когда вырасту, обязательно машинку куплю. Посажу маму и повезу далеко-далеко, катать буду, сколько захочет. Платье ей куплю, платков красивых...»

На улице ярко светило солнце. Весело перекликались воробьи в густой листве деревьев. Буйнак выбежала из-за дома, присела на задние лапы и уставилась на меня умными карими глазами, словно спрашивала: «Ну, что случилось? Расскажи...»

Когда Буйнак на меня так смотрит, мне кажется, что она вот-вот заговорит. Но собаки не умеют говорить. А жаль...

— Почему собаки не умеют разговаривать? Ведь язык-то у них есть? — спросил я однажды у бабушки.

— Аллах не наделил их речью.

— Почему нас наделил, а их нет?

— Мы — люди, — ответила она, не выпуская из рук веретена.

— Ну и что? Собаки иногда лучше людей все понимают.

— Все равно они — собаки. Не задавай глупых вопросов, аллах рассердится. Когда вырастешь, сам все поймешь.

Я не стал больше спрашивать. Но бабушка продолжала бормотать себе под нос — думала, наверное, что я ее не слышу.

— Ой-вой, до чего дотошный мальчишка растет! Все ему знать надо. К добру бы это. Сохрани его аллах, сделай так, чтобы голова у него была крепче камня.

Тут я не выдержал и расхохотался. Бабушка испугалась, то ли притворно, то ли всерьез.

— Ох, как ты меня напугал, негодник! Не мальчишка, а наказание одно!

— Почему крепче камня? Потрогайте, вот она какая — теплая, мягкая.

— Ах, шалун, ах, озорник! — качала головой бабушка. — Сейчас же оставь в покое веретено, не то нитку оборвешь. Лучше пойдешь шерсти принеси из кладовки...

* Парварда — вид конфет.

Между прочим, отцу тоже ведомо, какая Буйнак умница. Откуда я знаю? А вот откуда. Он, когда поручает мне что-нибудь, всегда следит, чтобы рядом была Буйнак.

Скажем, всю отару с горного пастбища пригнать. Думаете, это легко? У любого чабана спросите, редко кому потом за пропавшими ягнятами или козами возвращаться не приходится. Но нам с Буйнак—никогда. Я погоняю, а она среди скал рыщет. И всякий раз отара целехонька.

В такие дни все бывают довольны: и отец, и я, и Буйнак. Ей от меня самые лакомые куски достаются, и никто меня за это не ругает.

...По ночам, когда все спят, я люблю слушать, как лает Буйнак. Я даже научился различать ее лай.

Продолжительный, с подвывом означает: «Зря стараетесь, мы не спим!» Это она волков, что по горам бродят, предупреждает.

Негромко, коротко залает — собакам знак подает: «Не дремать, держать ухо востро!»

Громко и часто — знай: волк к отаре крадется.

Яростно, с хрипом — это команда другим собакам: «Вперед, волк рядом!»

А когда она лает сонно, неторопливо, это значит: «Все спокойно; спите на здоровье».

Тогда и я закрываю глаза и зову к себе сон.

Мы взобрались на Дульдуюлькию рано утром, когда в ущелье еще клубились сумерки и только на вершине Старого Тополя играли первые лучи солнца. Рощица угадывалась немного левее смутным темным массивом, оттуда доносился невнятный шум, будто множество людей переговаривались между собой громким шепотом.

Я прилег на остывший за ночь валун, подпер подбородок кулаками и стал смотреть вниз, раздумывая, как отвадить от Тераклияса Кадыркула Насфуруша. Буйнак лежала рядом и тоже глядела вниз, чутко насторожив подрезанные уши. Наверное, и она о Кадыркуле думала.

Обычно он приходит сюда как раз в это время. Забирается в рощицу, облюбовывает деревце, кладет возле него мешковину и достает из хурджуна * нож. Нож у него особенный — с двумя ручками, я таких ни у кого не видел. Табачник пробует ногтем лезвие и приступает

* Хурджуна — перекладной мешок.

к своему черному делу: начинает соскабливать с деревца кору. Скоблит, а сам под нос мурлычет что-то, как бродячий кот над объедками. Мурлыканье слышится то громче, то тише и вдруг замолкает: Кадыркул убедится, что близко никого нет, — и опять за работу.

Если его не остановить, он всю рощицу погубит, деревца после его ножа высыхают. А ему что? Погубит одну рощу — другую найдет.

Неужели он не явится сегодня?.. Внезапно Буйнак навострила уши и вся подобралась. Далеко у входа в ущелье показалась черная точка. Я всмотрелся: человек верхом на осле. Кадыркул? Путник приблизился. Да, это был он, табачник. Въехав в ущелье, он спешился и пошел рядом с ослом, то и дело его подгоняя.

На Кадыркуле был старый засаленный халат без пояса. Поясной платок он обмотал вокруг выцветшей тубетейки, как чалму, свесив конец на ухо. На спине осла покачивался хурджун, покрытый мешковиной. Край мешковины волочился по земле. Возле рощицы осел прибавил шагу.

Буйнак нетерпеливо повизгивала, то и дело оглядываясь на меня. А я все не мог решить, что же нам делать.

— Может, надо было Актая и Коктая взять с собой? — спросил я у собаки.

Она беспокойно забарабанила лапами по камню.

— Понимаешь, ну, сбросим мы отсюда валун, а что толку? Он все равно до Кадыркула не докатится, деревья помешают. Давай-ка подождем лучше.

Я смотрел вниз, в ущелье, и мысли одна мрачнее другой приходили мне в голову. Почему люди не замечают, что творит Кадыркул? Почему не остановят его?

Между тем Кадыркул добрался до рощи, привязал осла к дереву, а сам по склону спустился к роднику. Родник этот считался святым. Он вытекал из-под огромного, похожего на ладонь великана камня и так и назывался: Бешпанджа — Пятерня. Каждой весной здесь собираются жители окрестных кишлаков, чабаны. Расчищают русло родника, ухаживают за деревьями. А потом режут баранов в жертву пророку Али и начинают пир. Бабушка утверждает, что, если не принесешь жертву, родник иссякнет. В последние годы в Бешпандже и в самом деле воды поубавилось. Бабушка говорит, это оттого, что люди здесь водку пьют и оскверняют родник.

Кадыркул сел на камень, разулся и опустил в родник

ноги. Вот скотина! Из этого родника весь кишлак воду пьет, а он в нем ноги моет! Ну, погоди, сейчас мы тебе зададим!

Я вскочил и стал изо всех сил подкатывать камень к краю обрыва. Буйнак мне помогала. Потом мы вместе навалились на камень, он покачнулся и вначале медленно, а потом все быстрее и быстрее с грохотом понесся вниз, увлекая за собой целую лавину камней.

Кадыркул подпрыгнул, глянул вверх и, оставив у родника сапоги и портянки, босиком помчался к противоположному склону ущелья, потешно перепрыгивая через камни, кусты и промоины. Он то и дело испуганно оглядывался через плечо и что-то кричал, но за грохотом камней голоса не было слышно.

Вскарабкавшись на противоположный склон и убедившись, что опасность миновала, Насфуруш начал подозрительно присматриваться к каждому кусту.

Мы лежали затаив дыхание. Затих грохот и гул осыпающихся камней. Стало слышно, как журчит родник и встревоженно перекликаются птицы.

Но Кадыркула не так-то просто провести. Он явно чувствовал, что здесь не обошлось без чьего-то вмешательства. Выбрал камень поувесистее и принялся подниматься по нашему склону, озираясь и вздрагивая при каждом шорохе.

Мы неслышно перебрались левее и притаились в ложбине между валунами. Кадыркул некоторое время рыскал по вершине Дульдуйки, заглядывая под каждый кустик. Потом длинно выругался и швырнул камень в ущелье. Камень запрыгал по откосу, и новая лавина — правда, гораздо меньше первой — прогрохотала по каменистому склону.

Наконец Кадыркул успокоился и начал медленно спускаться к роднику Бешпанджа. Видимо, только теперь он почувствовал боль в разбитых и поцарапанных колючими зарослями ногах: проклятья и стоны сопровождали каждый его шаг. Добравшись до родника, он разразился такими протяжными воплями и бранью, что Буйнак прижала уши и замотала головой. Я выглянул из укрытия. Кадыркул держал в руке единственную портянку и громко причитал. Сапог и второй портянки нигде не было видно. Наверное, их унесла лавина.

Насфуруш опустил на камень, разорвал портянку и, продолжая жалобно причитать, принялся бинтовать ссадины на ногах.

Мы взялись было подкапывать другой валун, но Кадыркул встал и, крихтя и постанывая, скрылся в тополиной роще. Теперь ему были не страшны никакие лавины.

«Что будем делать?» — взглядом спросила меня Буйнак. Я молча пожал плечами. Снизу донесся характерный скребуший звук: Насфуруш скоблил кору.

Я осмотрелся: чахлая трава, реденькие заросли дикого ореха. Ни палки, ни камня. Что-то тревожно заняло в моей душе.

Кадыркула отсюда не было видно, лишь верхушка тополяка, с которого он сдирает кору, дрожала и покачивалась из стороны в сторону, с немой мольбой простирая ветви к горам, словно взывая о помощи. Но горы безучастно молчали. Горы были из камня. А я — нет. И у меня сердце надрывалось от того, что я не могу помочь этому тополюку и всем другим тополям в роще, которую рано или поздно до последнего дерева загубит Кадыркул. И тогда придет черед Старого Тополя...

Мое состояние передалось Буйнак. Она вскочила, несколько секунд смотрела вниз, прижав уши; и вдруг, грозно рыча, сорвалась с места, огромными прыжками понеслась к роще. Я побежал следом.

У самой рощи густо разросся колючий кустарник. Буйнак, не останавливаясь, перемахнула через заросли, а я не смог пробраться сквозь цепкую изгородь и бросился в обход. Заросли наконец поредели. Какой-то зверь, — я не успел его разглядеть, — с шумом и треском шархнул в сторону. Мне было не до него, я спешил на помощь Буйнак. Я услышал, как она, зарывав, бросилась на Кадыркула, как он испуганно завизжал: «Пошла прочь! Пошла прочь!» Я выбежал на лужайку и на мгновение застыл от ужаса: Насфуруш в ободранном халате душил, поднимая под себя, мою Буйнак.

Не соображая, что делаю, я схватил первый попавшийся камень и изо всех сил ударил по засаленной, выгоревшей тибетейке табачника. Кадыркул охнул и повалился на бок.

Буйнак лежала неподвижно, только бока у нее судорожно вздымались. Я бросился к ней, приподнял голову. Она моргнула раз, другой...

Я оглянулся. Кадыркул успел отползти в сторону и стоял на четвереньках над ручьем у невысокого обрыва. Мне казалось, что он ищет камень, чтобы напасть на нас. Я подбежал сзади и столкнул его в воду. Наверное,

вода была ледяная: Кадыркул заорал не своим голосом и вдруг умолк. На всякий случай я склонился над обрывом и глянул вниз: табачник лежал в ручье, обхватив руками валун, и жадно пил воду.

Позади меня негромко заскулила Буйнак. Я кинулся к ней и положил ее голову к себе на колени. Она часто-часто дышала, то и дело вздрагивала и пыталась подняться.

— Лежи, — сказал я и зажмурился, от слез зашипало глаза. — Лежи, отдохни. Я сбросил Насфуруша в ручей, он не придет.

До сих пор не пойму, почему я был в том уверен, но он действительно не вернулся. Когда спустя некоторое время я пошел посмотреть, что с ним, он, согнувшись, уходил вдоль ручья, держась одной рукой за поясицу, а другой хватаясь за прибрежные кусты. Халат свисал с него мокрыми лохмотьями.

Я спустился к ручью, набрал в тибетейку воды и отнес Буйнак. Она напилась и с трудом встала. Я помог ей добраться до воды, она легла на брюхо и долго пила из ручья. Ниже по течению, перепачканный в глине, как землекоп, Кадыркул безуспешно пытался взобраться на берег.

Я оставил Буйнак возле ручья и пошел посмотреть, что натворил Насфуруш в роще. А натворить он успел многое. Со стволов двух тополей кора была содрана на уровне человеческого роста. Кора валялась на земле, а чуть поодаль поблескивал в траве уродливый двуручный нож. Я закинул его подальше в колючие заросли, а кору собрал и спрятал в пещере, в которой мы с Буйнак укрывались иногда во время дождя. Потом замесил глину и обмазал ею покалеченные стволы тополей, хотя это уже вряд ли могло им помочь.

Буйнак оправилась настолько, что можно было возвращаться домой. Мы пустились в обратный путь — не через Дульдуйкию, а вкруговую, по ее склону, потому что Буйнак была еще слаба.

Я шел по тропинке и размышлял, сказать отцу про Кадыркула или умолчать. Решил, что не стоит, отец, хотя и не станет Насфуруша защищать, может выругать нас за самоуправство.

А что нам еще остается, если даже лесничий смотрит сквозь пальцы на проделки табачника? Бабушка говорит: «Купил его Кадыркул». Странно. Как можно человека купить?

Буйнак еле добралась до дому и сразу же легла возле загона. Мама вынесла собакам похлебку, плеснула и Буйнак в миску, но та даже глаза не открыла.

— Что это с собакой? — удивилась мама.

— Горло у нее болит, — объявил я. — Простудилась. Завтра у ветеринара лекарство попрошу.

— Первый раз слышу, чтобы собаки ангиной болели, — не поверила мама.

— А что они — не люди? — брякнул я невпопад.

— Люди? — засмеялась мама. — Вечно ты что-нибудь выдумаешь!

— А что, — ответил я, — у них, как и у людей, горло есть. Напилась холодной воды, вот и простудила. Неужели не понятно?

— Ладно, ладно, — отмахнулась мама. — Тебя не переспоришь.

Я знаю, что она считает меня несмышленищем. Поэтому и спорить не хочет. Ну и пусть считает. Вот вырасту большой, тогда поймет, на что ее Нарбута способен!..

А ведь Кадыркул чуть-чуть не убил Буйнак. Второй раз уже. Тогда топором хотел зарубить, а в этот раз чуть не задушил. Зато теперь Буйнак долго жить будет. Бабушка говорит: кто дважды избежал смерти, тому долгая жизнь суждена.

Вот и хорошо. Мы с Буйнак и дальше за тополиную рощу будем драться. Берегись, Кадыркул Насфуруш. Ни одно деревцо не дадим в обиду.

А вдруг Кадыркул помрет оттого, что я его камнем по башке треснул? Меня в тюрьму посадят? Наверное, посадят. Буйнак что? Собак не сажают. А потом, ведь это я его в ручей столкнул...

Нет, не помрет Кадыркул. Не должен. Отец считает, что дурные люди не умирают. Кадыркула самого давно надо бы в тюрьму посадить за его проделки! А бабушка почему-то говорит, что на его кошку никто и шикнуть не смеет... Ну, ничего, вот брат из армии придет!

Недавно отец с мамой ему письмо отправили. Написали, что к тому времени, когда он вернется, совхоз нам машину выделит. И чтобы он на шофера выучился. Станет нас возить всюду.

Я, когда вырасту, тоже машину водить буду.

А вот письма писать я пока еще не умею. Зато могу Буйнак нарисовать. Я в то письмо рисунок вложил. Шер-

бута — так моего брата зовут — в одном из писем просил, чтобы я ему рисунки присылал. Я нарисовал сидящую Буйнак... В следующем письме тоже какой-нибудь рисунок пошлю. Я так Шербуту люблю, что иногда от тоски хочется плакать. Скорее бы он приезжал. Я ему тогда все про Насфуруша расскажу. Уж кого-кого, а Шербуту Кадыркул испугается. А что, если ему фотографию показать, на которой Шербута с автоматом в руках снят? Нет, не стоит, пожалуй, Насфуруш, чего доброго, выхватит ее у меня из рук и изорвет.

И тут меня осенило: ружье! Отцовская одностволка! И как я про нее сразу не вспомнил? Кадыркула надо им припугнуть. Может, и стрелять не придется, он как увидит меня с ружьем, так за семь гор драпака задаст...

Так-то оно так, только стрелять ведь я не умею. К тому же, если мама увидит, что я ружье трогаю, она сразу отцу скажет. Он тогда с меня шкуру спустит и соломой набьет. Я не представляю, как можно человеческую шкуру соломой набить, но раз отец так говорит, значит, можно.

Однажды, когда из города приехали дяденьки в шляпах, отец зарезал козла, снял с него шкуру, набил соломой и повесил в загоне под крышей. А потом, уже летом, сделал из нее бурдюк — кислое молоко хранить.

Я тогда спросил у мамы, что получится, если с человека снять шкуру, а она молча ткнула пальцем в бурдюк и засмеялась. Но ведь бурдюк-то из козлиной шкуры!

Решено. Как только отец уедет в совхоз по делам, я хватаю ружье и бегу в Тераклисай. Лишь бы мама не увидела.

И пусть только попробует Кадыркул топольки тронуть! Захвачу его в плен, как наши фашистов брали, и в кишлак с поднятыми руками приведу. А пока...

А пока мы с Буйнак отправились в Тераклисай проведать, как раненые топольки поживают.

Вот и тополиная роща. Но что это? Тополей с содранной корой нет и в помине! Одни пеньки торчат...

Будь ты проклят, Насфуруш! Чтоб у тебя отсохли руки, которыми ты эти топольки спилил! Я знаю, это сделал ты.

Рядом с пеньками сквозь прошлогоднюю листву пробились тонкие побеги — крохотные топольки с изумрудными клейкими листиками.

Они еще совсем маленькие, но они вырастут и ста-

нут большими, красивыми тополями. А сейчас им надо помочь...

Мы с Буйнак трудились до самого вечера; соорудили запруду на ручье, провели арычек к молодым деревцам. Теперь земля вокруг них всегда будет влажной.

Растите, топольки! Тянитесь к солнцу!

...Кадыркул громадной зловещей тенью поднялся выше гор, заслонил полнеба. Гибель грозила всем: и увенчанной снежной вершиной горе Ойкор, и темно-зеленым арчам на ее склонах, и ледяным прозрачным ручьям, и тополиной роще, и птицам, и зверям. «Нет! — закричал я. — Не-е-ет!» И горы откликнулись долгим, медленным, угасающим эхом.

Я взбежал на вершину горы, приставил ладони ко рту рупором и закричал изо всех сил:

«Люди-и-и! Не говорите, что не слышали! Помогите-и-и-те-е! Горы в беде-е-е-е! Скорее сюда-а-а!»

Но в ответ — только гулкое, замирающее эхо. Тогда я хватаю ружье и, целясь Насфурушу в лоб, нажимаю на спусковой крючок. Но ружье не стреляет. Я отбрасываю его в сторону и прыгаю с горы.

...Я проснулся от собственного крика и долго не мог уснуть. Знобило.

За стеной сонно и глухо залаяла Буйнак. Ей откликнулись Актай и Сиртлан. Верные сторожа, они предупредили: «Вокруг все тихо. Спите спокойно».

А мне все равно не спалось.

Взять ружье мы так и не сумели: у отца прибавилось забот, и он никуда не отлучался из дома. Весной у него всегда так: с ягнятами хлопот много. А начинается все несколькими месяцами раньше.

На отгонное пастбище приезжает ветеринар, овцам специально уколы делать. Но такие уколы не всем овцам делают, а только совхозным, у которых тамга на ухе. Овцам главного бухгалтера, заведующего фермой и нашим уколов не делают. Их отец сразу же от стада отделяет и велит Хамро в горы их угнать.

У этих овец весной по одному, редко по два ягненка бывает. А у тех, которым укол делают, — по три, по четыре, иногда и больше. Каждой по одному ягненку оставляют, а других режут, чтобы шкурки сдать.

Я однажды спросил у отца, почему нашим овцам уколов не делают. Он только рукой махнул:

— Э-э, сынок! Лучше от овцы одного настоящего яг-

ненка получить, чем четырех котят, от которых ни шкурка, ни мяса. Да и овцы после всех этих фокусов уже не те, болеют, чахнут.

— Тогда зачем же другим овцам уколы делать? — удивился я.

— Маленький ты еще, — вздохнул отец, — вырастешь, поймешь. Это ведь не вчера началось. Кто-то придумал, другие подхватили. Кому не хочется от ста овец триста-четыреста ягнят получить? Теперь начинают понимать, что к чему, да назад идти неудобно.

— А вы им не можете подсказать?

— Считаешь, послушают? Кто я такой? Обыкновенный чабан, маленький человек. Засмеют только. Подумаешь, скажут, умник нашелся!..

Отец у нас никогда душой не кривит. Я слышал, как однажды он сказал маме:

— Если я что не так сделал, то не по своей воле. Приказывают — и приходится.

Когда заготовители к нам приезжают, мы с Буйнак стараемся уйти куда-нибудь подальше. Обычно на Дульдуюльскую забираемся. Буйнак помалкивает, а я ее вопросы засыпаю.

— Ну, скажи, чем ягненок виноват? За что его убивают? За то, что у него шкурка красивая? Слышала, как они блеют, бедняжки? Небо и то, наверное, содрогается. А людям хоть бы что. И все для того, чтобы воротник на пальто сшить или шапку. И ради этого надо малышей убивать?

Все вокруг были сильнее нас: и отвратительный в своей злобешей ненасытности Кадыркул, и заготовители, не знающие жалости к беззащитным ягнятам, и горожане, которые, сверкая золотыми зубами, азартно торговались с чабанами за каждую шкурку, и браконьеры, которые, умаслив лесничего, рубили и без того редкие арчовые деревья, и те, что вырезали со склонов изумрудные квадраты дерна и увозили куда-то в кузовах машин. Все они неизменно побеждали, и мы были бессильны перед ними.

Нынешней весной у Сиротки должен родиться ягненок. Неужели и его ждет та же участь? Я умолю отца, чтобы ее ягненка не трогали. А если отец не слушает, тогда...

Тогда я потихоньку уведу Сиротку в кишлак и там спрячу, так что никто ее не сыщет!

И тут меня осенило. А что, если... Я вскочил и бро-

сился искать Буйнак. Она спала на солнышке у южной стены загона. Я растолкал ее. Она сладко потянулась, зевнула и недовольно взглянула на меня, будто спрашивая: «Ну что еще у тебя?»

— Придумал! — зашептал я ей в самое ухо. — Слышишь? Я придумал, как ягнят убереечь. Пойдем покажу.

Она встала и нехотя поплелась за мной. Я подвел ее к воротцам загона.

— Ночью, когда все будут спать, надо открыть ворота. Ягнята убегут и смешаются со стадом. Поди ищи их тогда! Я бы сам открыл, но мне нельзя. Если заметят, как я из дома выхожу, сразу обо всем догадаются. Открой ты, ладно?

Буйнак зажмурилась и встряхнула головой. Это означало, что она не согласна. «Не заставляй меня обманывать хозяина, — говорили ее глаза. — У нас, у собак, это не принято».

— Ладно, — сказал я, чувствуя, что вот-вот расплачусь от обиды. — Не хочешь, не открывай. Сам открою. Тебе, видно, все равно, что с ягнятами станет.

Буйнак продолжала смотреть мне в лицо. «Зачем ты меня мучаешь? Ведь ты же знаешь, что я не могу этого сделать».

— Можешь, — сказал я ей. — Должна. Это доброе дело. Мы спасем ягнят.

Буйнак вздохнула и понуро побрела прочь. Она согласилась. Она всегда и во всем со мной соглашалась. Я догнал ее и погладил по загривку.

— Ночью, когда все уснут, ладно? Я с вечера развяжу узел. Ты только толкнешь ворота посильнее, вот так, и они откроются...

В тот день отару пригнали с гор и пустили пастись недалеко от загона. Старшим было не до меня, и я, воспользовавшись этим, улучил момент и развязал веревку, которая удерживала ворота загона. Ворота открывались вовнутрь, и теперь достаточно было толкнуть снаружи, чтобы они распахнулись. Уже смеркалось, когда я зашел в дом, напился воды и присел на кошму.

— Набежался? — спросила мама.

Я молча кивнул. Сердце отчаянно колотилось.

Мама налила мне мучной похлебки. Я поел и уже собирался лечь, когда со двора донеслось отчаянное блеянье и топот.

Я вздрогнул, но сделал вид, будто не слышу. А яг-

нята орали так, что в ушах звенело. Отец схватил шапку и выбежал из дома. За ним — мама. Чуть погодя вышел и я.

Было уже совсем темно. Отец с фонарем в руках стоял возле распахнутых настежь ворот загона и на чем свет стоит ругал дядю Хамро. А вокруг, крича на разные голоса, носились ягнята. Судя по бляенью, многие из них разбежались в поисках отары далеко по окрестности.

— Тысячу раз я тебе говорил, чтобы ворота закрывал как следует! — гневался отец.

— Да закрывал я их, — дядя Хамро заикался от растерянности.

— Закрывал! Верно говорят, в сорок лет ума нет — никогда не будет. Головоотяп ты, больше никто! Как этих чертей собрать теперь в темноте?

— Зря вы его, беднягу, ругаете, — вступилась за дядю Хамро мама. — Он ворота хорошо закрывал. Своими глазами видела.

— Не вмешивайся в мужской разговор! — прикрикнул на нее отец. — Все вы тут безрукие, ничего толком сделать не умеете! Только и можете, что языком трепать! Чего стоите? Загоняйте ягнят обратно!

Дядя Хамро и мама бросились ловить бегавших возле загона ягнят, а я на всякий случай пошел в дом.

Буйнак тоже нигде не было видно — спряталась от греха подальше.

Горы вокруг, казалось, перекликались между собой тысячеголосым бляеньем: ягнята искали своих мам, а те — ягнят.

Я представил себе, какой переполох творится сейчас в отаре. Наверное, отец тоже об этом подумал. Я услышал, как он проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Цирк, да и только! Хорошо, если не потопчут молодняк. Утром заготовители приедут, что я им скажу?..

Ягнят никто не жалел. Даже отец. Я дождался, пока взрослые ушли в дом, открыл ворота и выпустил на волю ягнят, которых им удалось изловить.

Будь что будет! Пусть изобьют меня, пусть даже убьют. Я впервые чувствовал, что не боюсь наказания.

Когда я вернулся в дом, отец сидел у дастархана злой, не зная, на ком сорвать раздражение.

— Где бродишь?

— Здесь, — тихо ответил я.

— Ложись спать!

«Ох, и задаст же он мне утром, когда увидит, что загон опять пуст», — подумал я, забираясь под одеяло.

Утром, еще затемно, мы с Буйнак ушли на Дульдуйкиню, чтобы не видеть, как будут ловить и убивать ягнят. Но голод не тетка. И к обеду мы возвратились.

Все было так, как я и думал. Заготовители с привычной размеренностью быстро освеживывали тушки, а дядя Хамро относил их к самосвалу и бросал в кузов, переругиваясь с шофером.

В эту минуту я ненавидел их всех! Для них ягнята не были живыми существами. И заготовители, и шофер, и чабан Хамро думали только об одном — как бы заработать побольше денег. Я не раз видел, как, возвратившись из города, куда отвозил освежеванные тушки, шофер, поплевав на пальцы, сосредоточенно отсчитывал чабану деньги. Наверное, платил за то, что тот грузил тушки в самосвал. И всякий раз Хамро ругался с шофером, называл его жуликом.

Есть расхотелось. Почувствовав, что вот-вот зарыдаю, я побежал мимо загона на лужайку и наткнулся там на шкурки, разложенные рядами для просушки. Еще совсем недавно это были живые ягнята. Они резвились, блеяли, бегали, спотыкались на тонких ножках, просили есть, а теперь...

Я заревел во весь голос и, не соображая, что делаю, бросился собирать шкурки, прижимая их к груди, словно они были живыми... Затрещина вернула меня к действительности. Это был отец. Таким разъяренным я его еще не видел. Наверное, я должен был испугаться. Но страха не было. Была острая режущая боль, от которой потемнело в глазах, и слепая, жгучая ненависть.

— Будьте вы все прокляты! — закричал я, давясь слезами и задыхаясь. — Все будьте прокляты! Убийцы! Вырасту большой, за все вам отомщу! Всем!.. Всем!..

Я понимал, что совершаю непоправимое, но остановиться уже не мог. Мне казалось, сейчас и меня, как ягненка, они распоросуют разделочными ножами. Я корчился от невыносимой боли и, прижимая к себе сырые шкурки, катался по траве, крича и захлебываясь слезами. Я чувствовал себя бесконечно одиноким в этом жестоком и безжалостном мире, который обрушил на мои плечи непосильную тяжесть.

Я очнулся, когда мамины руки подхватили меня. Сквозь пелену слез я увидел ее бледное, искаженное

гневом и страданием лицо, растрепанную голову. Она крепко обняла меня.

— Пусть отсохнет рука, ударившая моего сына! — крикнула мама. — Проклятые мясники! Вы не только ягнят, вы и детей убивать готовы! Не плачь, сынок! Говорила я тебе, чтобы не ходил один в горы! Это горные духи вселились в тебя.

Продолжая причитать и всхлипывая, она унесла меня в дом.

Вечером я не обмолвился с отцом ни единым словом. Лег раньше всех, постарался уснуть, и мне это удалось. А рано утром мы с Буйнак опять ушли подальше от дома.

Неспокойно мне было. Я то срывался с места и мчал как сумасшедший, пока хватало сил, вверх, вверх, все выше по горной тропинке, и Буйнак летела рядом, не отставая ни на шаг, то вдруг падал, обессиленный, и лежал долго, шумно дыша, чувствуя спиной глубинную прохладу гор, а грудью — согревающий жар солнца. Я лежал, представляя небо то огромным, крутым куполом мечети, то, наоборот, тяжело провисающим брюхом гигантского голубого быка... Небо...

Как я все-таки мало знаю о нем... Почти ничего. Почему оно так притягивает меня? Почему мне кажется, что оно живое и знает ответы на все мои вопросы?

Снизу, из сая, ветер доносил до нас разговор горожан и чабанов. Я узнал голос чабана соседней отары, которого люди называли Джумантай Сумасброд.

— В общем, так, я режу овцу, вынимаю из нее четырехмесячного ягненка и снимаю с него шкурку, — бахвалился Джумантай. — Сур — первый класс. Эмир Алимхан такого не видывал. И всего за четыреста рублей.

— Триста! — Голос был мне незнаком.

— Буду посредником. Триста пятьдесят, — вмешался кто-то третий. — И по полста с каждого в мою пользу.

— Четыреста, и не копейки меньше, — упорствовал Джумантай Сумасброд. — На базаре за такую шкурку пятьсот дадут. Из уважения к вам дешевле уступаю.

— Кубанка хоть получится? — спросил незнакомец.

— Еще как! А нет, вторую овцу заколю.

— По рукам! Даю четыреста, чтобы шкурка завтра была готова.

— Не просохнет до завтра.

— Не беда. Мастер сам обработает и высушит. На днях в столицу еду. К этому сроку кубанка должна быть готова.

— Договорились. Гоните монету.

— А посреднику? Хоть на полбанки пожертвуйте!

— Пошел ты! — окрылся Сумасброд. — Без тебя договорились.

— Деньги с меня получишь, Джумантай. — Я узнал по голосу главного бухгалтера совхоза Рахима.

— Нет-нет, — запротестовал горожанин. — Я заплачу.

— Вы у нас гость, — веско сказал бухгалтер. — В кои-то веки к нам пожаловали. Так что не обижайте. С Джумантаем мы сочтемся. А шкурку я вам завтра сам доставлю.

Джумантай прикусил язык. С Рахимом не поспоришь, он — главный бухгалтер совхоза. И денег, конечно, не даст. Плакали четыре сотни.

И вдруг у меня все похолодело внутри: о чем я думаю? Ведь Джумантай собирается содрать шкурку с еще не родившегося ягненка!

Я отчетливо представил себе, как он вспарывает живот овце, запускает в него окровавленные руки...

— Нет!.. Нет!.. Остановите его!! — закричал я. — Ведь вы же... лю-ю-ди-и-и!!

Буйнак ошетибилась и зарычала. Ветер прошелестел по траве, донес чей-то смех. Там, внизу, меня никто не услышал.

Лето кончилось. Настала пора уводить отары с горных пастбищ. Мы погрузили пожитки в коляску мотоцикла. В нее же сели мама с Муттихон. Я устроился позади отца на втором сиденье. Чабан Хамро и Буйнак остались с отарой, чтобы отобрать слабых и больных овец, которых потом надо будет пригнать в кишлак.

Пасти этих овец возле кишлака входило в мои обязанности. Обычно меня сопровождала Буйнак, но нынешней осенью помощи от нее я не ждал: у Буйнак должны были родиться щенята. Я заботился о Буйнак — соорудил ей подстилку из соломы в углу сарая, носил еду, менял воду в миске.

И вот однажды утром я проснулся от громкого отцовского голоса.

— А чтоб ты подохла, не ошенившись! — ругался отец во дворе. — Восемь штук сразу принесла! Полон сарай собак! Псарня, а не дом. Сколько раз собирался увести проклятую куда-нибудь подальше!

«Щенята! — обрадовался я. — У Буйнак щенята». Вскочил и со всех ног бросился в сарай. Буйнак лежала на боку в углу, на подстилке из соломы, а возле нее копошились и жалобно попискивали крохотные слепые щенки. От радости я растерялся и не знал, что делать. Присел на корточки и погладил Буйнак по голове. Она не шелохнулась, только взглянула на меня и снова закрыла глаза. Я взял миску и вышел из сарая, чтобы принести ей поесть.

Мама хлопотала возле очага.

— Мама, Буйнак ошенилась. Дайте ей поесть что-нибудь, — попросил я.

Мама кивнула, продолжая следить за казаном, в котором закипало молоко.

— Сейчас, сынок. Казан освободится, я ей болтушку приготовлю.

Я не отходил от очага до тех пор, пока не сварилась болтушка, остудил ее в миске и отнес в сарай. Опершись на передние лапы, Буйнак жадно лакала похлебку, а я тем временем хорошенько рассмотрел щенят.

Отец ошибся: их было семь, а не восемь. Три — вылитая Буйнак, один черный, один пятнистый и два пегих.

Желающих забрать щенков нашлось, как всегда, много.

— Кто щенка просит — сам пес, кто не дает — собака! Что я их — пасти буду? — сердился отец. — Подрастут, тогда и забирайте. Только, чур, вот у него спрашивайте, он у нас над собаками главный начальник! Пусть и решает. Слышишь, Нарбута?

Я слышал, но раздавать щенят не хотелось, и, возвращаясь из школы, куда я нынешней осенью пошел в первый класс, я боялся, что не застану щенков на месте. Так и случилось: четырех кобельков раздали без меня, и я даже не узнал кому.

Я понимал, что это, может быть, и к лучшему, что нам столько собак ни к чему, что у новых хозяев щенкам будет совсем неплохо, но где-то в душе все равно было жалко. И, как ни странно, я еще больше жалел трех оставшихся: они не были кобельками, и поэтому брать их никто не хотел.

Щенки подросли и уже всюду бегали за Буйнак — забавные, пушистые, неуклюжие, как медвежата. Особенно смешным был белый щенок с черным пятном вокруг пасти. Когда он вставал на задние лапки и быстро-быстро перебирал в воздухе передними, он становился похожим то ли на суслика, то ли на крошечного потешного человечка.

— Как же мне назвать тебя, бедняжка? — спросил я его однажды. Щенок смотрел на меня, хитро моргая круглыми веселыми глазенками. — Будь ты мальчиком, еще куда ни шло. А то угораздило девчонкой родиться! — Я в задумчивости гладил щенка, а он забавно перебирал лапами, пытаясь схватить мои пальцы. — Знаешь, назову-ка я тебя Карауз — Чернушка. Не беда, что ты почти вся белая, мордашка-то у тебя черная!

Карауз слушала, наострив уши.

— Нравится? Карауз? Правда, здорово? Карауз! Карауз! На! На!

Я побежал, оглядываясь на нее и продолжая звать. Карауз раздумывала несколько секунд и вдруг сорвалась с места и кинулась за мной, заливаясь веселым писклявым лаем.

Мы играли все вместе, пока не наступил вечер. Утром я ушел в школу, а когда вернулся... Лучше бы я не ходил в тот день в школу...

Обычно Буйнак со щенками встречала меня возле ворот. На этот раз меня никто не встретил. Я бросил сумку с книгами у порога и помчался в сарай. Там было пусто. Я обежал весь двор, заглянул в каждую щель, выскочил за ворота, кричал, звал... Мне никто не ответил...

Бабушка пряла свою пряжу на солнцепеке возле сарая. Я бросился к ней:

— Бабушка! Где Буйнак, бабушка?

Она нахмурилась, не поднимая глаз от пряжи.

— Щенков люди разобрали. А Буйнак, по-моему, за отцом твоим увязалась. Он утром к отаре уехал.

— Неправда! — крикнул я, чуть не плача. — Не могла она с отцом... Он ведь на мотоцикле уехал!

— Стара я тебя обманывать! — обиделась бабушка. — Не веришь, у матери своей спроси.

Я побежал к дому.

Мама месила тесто. Я подошел к ней и, еле сдерживая слезы, спросил упавшим голосом:

— Скажите правду, мама, где Буйнак?

Мама взглянула на меня как-то виновато и растерянно.

— Здесь где-нибудь, наверное... Да что это я говорю? Она за отцом увязалась. Ну, что же ты плачешь?

— А щенята?

— Щенят, кажется, чабаны забрали.

Я видел, что мама говорит неправду и сама мучается из-за этого. Но я должен был во что бы то ни стало знать все.

— Отец уехал на мотоцикле, — соврал я. — Сам видел. И Буйнак с ним не было.

— Ну, тогда не знаю, сынок. — Ладонью мама устало отвела со лба прядь волос. — Наверное, бегают где-нибудь.

Я понял, что допытываться бесполезно, и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. «Надо расспросить Муттихон, — решил я. — Наверное, ее тоже научили, что отвечать, но ее хоть обмануть можно».

Отыскать Муттихон оказалось не так-то просто. Я уже отчаялся было, когда услышал мягкие шлепки со стороны старого русла арыка. Сестренка лепила из глины хлопушки и была так увлечена своим занятием, что не сразу меня заметила. А может, она просто делала вид, что меня не видит?

— Что ты тут делаешь, Муттихон? — спросил я, не зная, с чего начать разговор.

Она взглянула на меня и отвела глаза. «Так и есть, — подумал я, — научили девчонку». И решил не хитрить.

— Буйнак не видела?

— Нет.

— Не стыдно обманывать? Забыла, чему тебя бабушка учит?

— Все равно не скажу! — заупрямилась Муттихон. — Папа не велел говорить.

— Не скажешь?

— Не скажу! Только попробуй меня пальцем тронуть. Папа предупредил — если обижать меня будешь, он тебя поколотит как следует.

— Никто тебя и не собирается трогать. Скажешь, где Буйнак, цветные карандаши получишь.

— Ха! Так я тебе и поверила!

Я сделал вид, что собираюсь уходить.

— Постой. Ладно, скажу, только чтобы папа не знал! И Муттихон рассказала все, как было.

Утром, лишь только я ушел в школу, отец посадил щенят в хурджун, взвалил на ишака и выехал за калитку, свистнув Буйнак, чтобы шла за ним. Маме он сказал, что отвезет собак в тугай* и там оставит.

— Так и сказал? — переспросил я.

— Так и сказал,— кивнула Мутти.— А теперь давай карандаши, раз обещал.

— Да, не бойся. Ты вот что сделай: беги домой и принеси пару лепешек. Только смотри, чтобы никто не видел. Понятно?

— Понятно. Ты что задумал?

— Не твое дело.

— Неужели в тугай пойдешь? — ахнула сестренка.— Не ходи! Бабушка говорит, там волки водятся, шакалы. Не ходи! Лучше мне никаких карандашей не надо!

— Враки все это,— успокоил я.— Я в тех тугаях тысячу раз с Буйнак бывал. Ну, сама подумай, кого из нашего кишлака волки в тугаях съели? Никого. Это бабушка тебя пугает, чтобы далеко от дома не уходила. Иди, лепешки тащи.

Уговаривать Муттихон не пришлось. Она мигом слетала домой и принесла лепешки.

— Молодец,— похвалил я.— Можешь взять карандаши, они у меня в сумке лежат. Если мама спросит, где я, скажи — с мальчишками играть пошел.

Я погладил ее по голове, взял хлеб под мышку и выбежал на улицу. К тугаям вела узкая, заросшая по обочинам густым камышом дорога. Метелки камыша пушились от малейшего дуновения, пушинки роились в воздухе, устилали дорогу грязно-серыми хлопьями.

Вдоль дороги тянулся водосборный коллектор, который кончался озером. А сразу за озером — тугай. Я дважды бывал здесь с отцом: пригоняли на водопой стадо, когда возвращались с отгонных пастбищ. И оба раза меня так и подмывало забраться в чащу, такая она была загадочная и пугающая, полная неясных шорохов и приглушенных звуков. Но отец строго-настрого запрещал мне бывать в тугаях. Туда и взрослые-то не часто решались заходить, разве что по крайней необходимости. Тугай пользовались дурной славой.

...Я нерешительно потоптался возле зарослей на берегу озера. Идти теперь было страшновато. Дорога обрывалась у озера. Дальше в тугай вели тропинки. Про-

* Тугай — густые заросли.

бираться по ним можно было только пригнувшись — так низко нависали колючие ветки. Было тихо — чаще жила своей таинственной, непонятной жизнью.

Я огляделся по сторонам. Коллектор, видимо, углубляли экскаваторами, там и сям высились холмы твердого сухого грунта.

Что если взобраться на холм и оттуда позвать Буйнак? Она услышит и прибежит. А вдруг не прибежит? Все равно буду звать! Она умная, поймет, что я тут ни при чем... Что это не из-за меня...

А может, отец вовсе не привозил их сюда? Отвез куда-нибудь в другое место? Разыскать отца и спросить?

Нет, не годится. Спрашивать нельзя. Ну почему он такой жестокий у нас? Ни Буйнак не пожалел, ни щенков. Наверное, его кто-то сильно разозлил. Он, когда вспылит, ничего и не слышит. Бабушка говорит, что он с войны таким пришел. А до этого спокойный был, добрый...

Я поднялся на холм и еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Над зарослями джиды и турангила покачивались серебристо-сиреневые метелки камыша. Дальше заросли становились выше и выше, начинался настоящий лес. В вечереющем небе кружились птицы, какие — отсюда не разглядеть.

— Буйна-а-ак! — крикнул я. Голос прозвучал негромко и жалобно. Я набрал полную грудь воздуха и закричал изо всех сил: — Буйна-а-а-ке-е-ей!

В кустах испуганно шарахнулся какой-то зверек. Я вздрогнул и оглянулся. И вдруг увидел, что сквозь заросли по направлению ко мне кто-то движется. Почему-то я сразу решил, что это Буйнак.

Она медленно вышла из кустов и остановилась у подножия холма, понуро опустив голову. Такой ее я еще никогда не видел: бока свалились, шерсть слиплась в комья, вся в репьях и грязи, глаза тоскливые, уже ни на что не надеющиеся.

Пока я сбегал с холма, Буйнак легла на редкую пожелтевшую траву, уронив голову на передние лапы. За эти несколько часов она словно постарела на десять лет.

Я хотел обнять ее и не решился.

— Хлеба тебе принес, — сказал я, чувствуя себя бесконечно виноватым перед нею.

Буйнак даже не взглянула на меня. Она была права. Многие годы она верой и правдой служила нашей семье, охраняла овец лучше, чем иные пастухи, рожала сторо-

жевых псов, стерегла дом и кочевье, любила нас всех, даже отца, и вот теперь...

Колючий комок подкатил к гортани, мешал мне дышать.

Конечно, Буйнак была права. Ведь мы прогнали ее из дома. Привезли вместе со щенками в тугай и бросили — живи как хочешь. Представляю, что она о нас думает. О нас... Но ведь я не хотел, я...

Буйнак подняла голову, и в глазах ее промелькнуло новое выражение. «Ты не виноват, — казалось, говорили ее глаза. — Я не обижаюсь на тебя».

Я опустил на колени и прижался лицом к ее морде.

— Хочешь, я останусь с вами? Будем вместе жить в тугаях.

Буйнак вздохнула и отодвинулась от меня. Теперь в ее глазах были жалость и укоризна. «Глупый, разве люди живут в тугаях? Люди должны жить с людьми. Это нам, собакам, все равно где жить».

— Неправда, — сказал я.

«Правда», — моргнула Буйнак.

Она видела меня насквозь. Ее невозможно было обмануть. Мы оба понимали это.

— Мы останемся друзьями.

«Да».

— Я буду навещать вас.

«Да».

— Часто-часто.

«Нет. Приходи изредка. У тебя теперь много своих забот».

Она потянулась ко мне, просунула морду мне под мышку. Некоторое время мы сидели молча. Я чувствовал, как замедленно бьется ее сердце. Прошелестел ветер в зарослях. Каркнула, пролетая над нами, ворона. И опять наступила тишина.

— Где Карауз? — спросил я.

Буйнак осторожно высвободилась из моих рук и поглядела в сторону зарослей. Я вскочил и подобрал с земли лепешки.

— Пойдем к ним.

Казалось, Буйнак колеблется.

— Пойдем, пойдем, — торопил я.

Она решила и медленно затрусила в чашу. Я поспешил следом.

Наша тропинка была похожа на узкий желто-зеле-

ный туннель в зарослях. Ее наверняка протоптало зверье — взрослому человеку здесь пришлось бы пробираться ползком.

Я шел следом за Буйнак, низко пригнувшись и отводя от лица колючие ветви джиды. Местами приходилось опускаться на четвереньки. Тропинка была устлана сухими листьями камыша. Я порезал руку, но не подавал виду и старался не отставать от Буйнак.

Впереди забрезжил рассвет. Через минуту-другую Буйнак вышла на лужайку и оглянулась, словно приглашая меня поторопиться.

После желто-зеленого сумрака среди чащи закатное солнце ослепило меня, и я зажмурился. Поросшая жесткой зеленой травой лужайка с трех сторон была окружена озером. Дул ветер, по воде бежала мелкая рябь. Красноватое вечернее солнце клонилось к закату. От него через все озеро тянулась огненная дорожка.

Чуть в стороне, на подстилке из сухого камыша, свернувшись клубками, спали щенята.

— Карауз! — позвал я.— Иди сюда, Карауз!

Все трое вскочили, как по команде, и бросились к нам, заливаясь лаем и повизгивая. Я разделил лепешку на четыре части, три отдал щенятам, а четвертую — побольше — Буйнак. Они мигом все съели.

— Завтра принесу, потерпите,— сказал я, а про себя решил, что надо кроме хлеба прихватить с собой что-нибудь еще.

...Возвращаясь домой уже затемно, я думал о том, что отвечу отцу, если он станет меня расспрашивать, где был. Но отца дома не оказалось. Я наскоро поужинал и лег спать, довольный тем, что разговор с отцом не состоялся. Я не боялся этого разговора. Мне не хотелось говорить с отцом, не хотелось его видеть.

Муттихон помалкивала о том, что я бываю в тугаях. Но если бы она даже и проболталась, ей все равно никто бы не поверил: тугаи были далеко, туда и взрослые ходить побаивались.

Меня такое положение устраивало, и я чуть не каждый день навещал Буйнак с детьми.

Разговора с отцом у нас так и не состоялось. Последнее время он, правда, редко бывал дома, но, когда и бывал, речь о Буйнак не заходила. Он упорно молчал,

я ни о чем не спрашивал, и все делали вид, будто ничего не произошло.

Порою я смотрел на отца и, чувствуя, как болезненно сжимается сердце, задавал себе вопрос: неужели он и в самом деле такой черствый, бессердечный человек? Я не мог, не хотел в это верить. Ждал, что отец вот-вот сам заговорит о Буйнак и ее детях, возьмет меня с собой, мы отправимся в тугай и привезем их обратно.

Но отец молчал, и я с ужасом убеждался в том, что судьба четвероногих изгнанников ему безразлична.

Бабушке вообще ни до чего, кроме пряжи, дела не было. Она заметно сдала за последнее время. Ни с кем не разговаривала. Пряла целыми днями да пила чай, настоянный на оленьей траве.

Мама хлопотала по хозяйству и бывала так занята, что таскать из кухни еду для собак мне не составляло особой трудности.

Так все и шло своим чередом. По утрам я уходил в школу, потом спешил к Буйнак в тугай, возвращался домой, готовил уроки и ложился спать. А утром все начиналось сначала.

Однажды в классе нам дали задание нарисовать, кто как провел лето. Я нарисовал Буйнак возле топольков с ободранной корой.

Учитель долго разглядывал мой рисунок, потом отложил в сторону и посмотрел на меня так, словно видел впервые. Я смутился, а он похлопал меня по плечу со словами:

— Очень хороший рисунок, Нарбута. Молодец. Пошлем его в журнал «Гунча», если не возражаешь.

Я удивился: рисунок как рисунок, могу нарисовать и лучше, но вслух ничего не сказал.

Прошла зима. Опять зазеленели горные склоны. На ветках деревьев в тугаях набухли и проклюнулись почки. Шенки у Буйнак выросли и стали совсем взрослые. Если бы я не видел их чуть ли не каждый день, я бы их теперь не узнал. Даже Карауз. Шерсть у нее стала густая, пушистая. И потемнела. Она была теперь серая, как волчица. Да и повадками напоминала волчицу — такая же поджарая, стремительная, ловкая. Ей ничего не стоило поймать зайца, подкараулить суслика или зазевавшуюся пичугу. Она даже за рыбой наловчилась охотиться на отмелях. Сестры от нее не отставали.

Они уже давно не нуждались в моей помощи, сами

себе добывали пропитание и Буйнак приносили ее долю.

А она, как и наша бабушка, сильно сдала за эту зиму, двигалась мало, ела неохотно, целыми днями грелась на солнышке.

Наверное, бабушка ошиблась, когда говорила, что собака за год два года проживает. Не два, а все пять. Бабушке семидесятый год пошел, ну и Буйнак по собачьему счету не меньше.

Как же я теперь без нее с Кадыркулом и заготовителями бороться буду? На Карауз с сестрами надежда маленькая, они совсем другие.

Карауз грызла кость, лежа рядом с матерью. Я посмотрел на ее грозные клыки, представил себе, как она рвет и треплет ими Насфуруша, и засмеялся. Да, с Караузом Кадыркулу ни за что не справиться, это ему не Буйнак! Карауз выросла в тугаях настоящей хищницей, жестокой, бесстрашной, не знающей жалости.

Однажды, когда я после школы пришел, как обычно, проведать Буйнак, они все вчетвером рвали зубами тушу какого-то крупного зверя.

— Ого! Вот так добыча!..— начал было я и вдруг осекся, чувствуя, как у меня от ужаса холодеют и сами собой подгибаются ноги: собаки терзали овцу:

«Неужели Карауз решила напасть на стадо? А может быть, баран сам заблудился и забрел в тугай? Но даже если и так, то...»

Мысли путались, тревожные, обжигающие, холодные. Ни слова не говоря, я отошел на несколько шагов и остановился возле самой воды. Собаки, не обращая на меня внимания, продолжали неторопливо раздирать свою страшную добычу.

«...Она нарушила древнейший закон чабанской жизни. Из века в век собака была чабану верным другом, помогала ему пасти, охранять овец от хищников и никогда не нападала на отары сама. И вот... Но, может быть, я ошибся? Может быть, мне только показалось, что это овца?..»

Я снова подошел к собакам, присмотрелся внимательнее. Нет, сомнений не оставалось: это овца из отары. Голова еще цела... Мертвая, в потеках грязи и запекшейся крови...

И вдруг ужасная догадка пригнула меня к земле. Я бросился на колени, растолкал глухо зарывавших собак, непослушными пальцами стер с клейма багровую слизь и увидел три знакомые тройки... Отчаянный вопль

рванулся из моего горла. Падая, я успел заметить, как шарахнулись в сторону косматые, зловещие тени четвероногих убийц...

Я очнулся от щекочущего прикосновения к лицу теплого шершавого языка Буйнак. Ее кажущаяся огромной голова четко вырисовывалась на фоне пронизанного весенним солнцем бездонного голубого неба. Глаза смотрели на меня жалобно и виновато.

— Как ты могла... — произнес я и заплакал. В горле першило, голос был какой-то чужой, хриплый. — Как же ты допустила, Буйнак?

Она склонила голову набок и чуть слышно заскулила.

«Не надо, — умоляли ее глаза. — Не говори об этом».

— Надо, — жестко сказал я и сел, подтянув колени к подбородку. — Что плохого сделала вам Сиротка? За чем вы убили ее?

«Ты не поймешь».

— Не пойму, — согласился я. — Наверно, никогда не пойму. Но ты все равно ответь.

«Я не убивала Сиротку».

— Карауз?

«Да».

— Какая разница?

«Разница есть. Карауз выросла в тугаях. Она почти не знает людей».

— Ну и что?

«Ничего. Просто она живет по другим законам».

— Она твоя дочь.

«Да, но...»

— Ты должна была ее научить.

«Я старалась. Не вышло. Тебе этого не понять! Ты не жил в тугаях. Здесь все по-другому. Здесь иначе нельзя».

Я осмотрелся по сторонам. Сестры Карауз лежали поодаль, греясь на солнце.

— Где Карауз?

«Я прогнала ее».

— Она не вернется?

«Вернется».

— И опять будет душить овец?

«Не знаю. Наверное, будет».

— И ничего нельзя изменить?

«Нет. Теперь уже ничего не изменишь, Поздно. Охо-

тяться на овец легче, чем на зайцев. Овцы не боятся собак. Не убегают».

— Они верят вам!

«Да. Верят. Мы так же верили людям».

— Мне пора.— Я встал.— Надо что-то делать, Буйнак. Это плохо кончится!

Теперь она смотрела на меня снизу вверх, и от этого взгляд ее казался еще жалобнее.

«Я попробую. Не осуждай ее... и нас не осуждай».

Я промолчал. Что я мог сказать?

«Ты больше не придешь?»

Я отвел глаза в сторону.

— Приду.

«Когда?»

— Не знаю. Может быть, завтра.

...Но я не пришел ни на другой день, ни на третий, ни через неделю. Возможно, больше не пошел бы к ним никогда — тень Сиротки разделяла нас, и я не мог, не смел переступить через нее. Я много думал о том, что произошло тогда в тугаях, старался осмыслить случившееся, мучился, не находя ответа, кто ж виноват в том, что между мною и Буйнак с ее дочерьми пролегла бездонная пропасть.

Однажды, возвращаясь из школы, я увидел, как на дорогу, которая вела к тугаям, свернули два пса. Сам еще не зная почему, я побежал за ними и скоро догнал их. Это были старшие сыновья Буйнак Сиртлан и Коктай. Куда они направлялись? Неужели к матери? Но откуда им известно, где она?

Не замечая меня, псы трусили по пыльной дороге. Я следовал за ними на некотором расстоянии и вскоре понял, что не ошибся: добежав до озера, Коктай и Сиртлан отыскивали нужную тропинку и скрылись в зарослях. Я подождал немного и пошел следом. Не выбираясь на открытое место, я из зарослей наблюдал за тем, что происходит на поляне.

Буйнак и ее сыновья стояли друг против друга и настороженно принюхивались. Потом она вильнула хвостом и, подойдя к Коктаю, потерлась мордой о его морду. То же повторилось с Сиртланом. Затем Буйнак вдруг отскочила назад и, продолжая вилять хвостом, побежала по кругу. Сыновья, словно маленькие щенята, с лаем и визгом бросились за ней в погоню, и началась веселая кутерьма.

У меня защемило в груди. Еще совсем недавно мы с Буйнак точно так же резвились на горных лужайках. Недавно? Как давно это было! Я почувствовал, что еще немного,— и я не выдержу, кинусь к ним и, забыв обо всем, присоединюсь к их игре.

Наверное, я бы так и сделал, но как раз в это мгновение мимо меня промелькнули три серые бесшумные тени и грозное рычание разом положило конец веселой возне. Я выглянул из-за куста.

Посреди поляны, оцетинившись и угрожающе оскалив клыки, стояли Карауз и ее сестры. Коктай и Сиртлан на мгновение растерялись, но тотчас же яростно зарычали, и шерсть у них на загривках поднялась дыбом.

На Буйнак больно было смотреть: она как-то сразу сникла, и, низко опустив голову, понуро поплелась прочь.

Я со страхом ожидал, что собаки бросятся друг на друга и начнется грызня, но все кончилось мирно. Сиртлан с Коктаем, продолжая рычать, обошли стороной сестер и скрылись в зарослях.

«А ведь они родные,— с горечью подумал я.— Но еще чуть-чуть — и вцепились бы друг другу в горло».

И всю дорогу до дома я мучительно пытался придумать что-нибудь такое, чтобы Буйнак с дочерьми могла вернуться домой, пока наконец не понял, что стараюсь напрасно и ничего уже изменить нельзя. Буйнак еще, может быть, и вернулась бы, хотя тоже вряд ли: она обидчивая и предательства ни за что не простит. Ну, а те трое никогда не станут домашними собаками. Буйнак права, теперь уже ничего не изменишь.

Вечером отец пришел из конторы совхоза раздраженный и злой. Отказался от ужина. Снял со стены ружье, патронташ, достал коробку с патронами.

— Картечь где-то у нас была...

— Откуда я знаю? Картечь, картечь... Время овец в горы гнать, а он на охоту собирается,— заворчала мама.— Добро бы хоть охотник был, а то!.. Только пугать умеете.

— Что верно, то верно,— согласился отец, роясь на полке.— Душа у меня не лежит к охоте. А в этот раз, видимо, придется... Вот она где, оказывается.— Он открыл коробку, вынул из нее патроны и стал засовывать в патронташ.— Обнаглели волки. Шесть овец за две

недели, и все из нашей отары. Никогда такого не бывало. А у бухгалтера разговор короткий: не уберег — плати из своего кармана. Я ему и так объяснял, и этак, ничего слушать не хочет. Плати и все. Или волков сюда подавай. Тогда спишут.— Он налил в пиалу остывший чай, отхлебнул.— Собери поесть, чего-нибудь. Завтракать не буду, чуть свет в тугай пойду.

Я еле удержался, чтобы не закричать. Изо всех сил стискивал зубы, но меня так трясло, что зуб на зуб не попадал.

— Ты что это? — удивился отец.— Трясешься весь и лицо бледное. Иди, мать, посмотри, уж не заболел ли парень.

Мама потрогала мне лоб, заставила выпить чаю с медом, заботливо укутала одеялом.

Всю ночь я не сомкнул глаз. А едва забрезжило за окном, встал, тихонько оделся и выскользнул за дверь.

Я мчался по дороге, смутно белеющей в предрассветных сумерках, сам еще толком не зная, что буду делать. «Спасти...— билось у меня в голове.— Предупредить... Пусть уйдут куда-нибудь подальше...»

Уже возле самого озера, услышав, как где-то позади на дороге затарахтел, приближаясь, отцовский мотоцикл, я пригнулся и, обдирая лицо и руки о нависшие ветки, побежал по знакомой тропе.

Вот наконец и поляна. Я бросился к тому месту, где на камышовой подстилке обычно спала Буйнак, и остановился как вкопанный: собак не было!

Я обшарил всю поляну, окрестные заросли, звал вполголоса, чтобы не услышал отец. А в ушах раскатами грома отдавался грохот мотоциклетного мотора. Обессиленный, я опустился на землю и только тогда понял, что это стучит, пытаясь вырваться из грудной клеточки, мое сердце.

А вокруг было тихо. Где-то плескалась вода, как обычно шуршало и потрескивало в тугаях, птицы перекликались неуверенными со сна голосами. Озеро было бирюзово-синим, и небо над озером наливалось светлеющей с каждой минутой бездонной синевой.

Я поднялся и, не думая, куда и зачем иду, пошел вдоль берега, машинально обходя высокие кусты и деревья.

Заросли поредели и кончились. Впереди зеленел просторный выгон, подернутый легкой дымкой испарений, которая исчезнет с первыми же лучами солнца. На

выгоне паслась отара. Уже рассвело, но солнце еще не поднялось из-за дальних гор, и овцы казались просто темными точками, неторопливо передвигающимися с места на место. И навстречу мне шел, огибая отару, человек с палкой наперевес.

Из-за гор выглянул краешек солнца, в его лучах палка в руках человека сверкнула холодным металлическим блеском, и я вдруг понял, что человек этот — мой отец, и палка у него в руках — вовсе не палка, а ружье. И в то же мгновение я увидел, что впереди меня, на одной линии с отцом, крадется к отаре собака. И по тому, как она кралась, а не шла открыто, я понял, что это не сторожевой пес, и, все еще не веря, наугад громко позвал:

— Карауз!

Собака вздрогнула и оглянулась.

Отец вскинул ружье. Он не видел меня, не мог видеть, я стоял в тени.

— Беги, Карауз! — крикнул я, но было уже поздно. Отец выстрелил...

Карауз метнулась в заросли. А ты...

Ты еще стоял несколько мгновений, прежде чем упасть лицом вниз.

Захлопав крыльями, взмыли в небо потревоженные выстрелом птицы. Но они возвратятся на землю, а тебе не вернуться уже никогда.

Опираясь на руки, ты приподнялся, чтобы в последний раз взглянуть на небо, которое так любил, и увидел отца. Отшвырнув ружье, он бежал к тебе, широко раскрыв рот в безумном рыдающем вопле. Но ни голоса его, ни слов безысходной тоски и горя ты уже не услышал...

Я слышал их много раз. И одиннадцать лет спустя написал о тебе эту повесть. Я — твой старший брат, которого ты ждал когда-то из армии, но так и не смог дожждаться.



НУРАЛИ КАБУЛ ДЕНЬ ПЕРВОГО СНЕГА

Перевод А. Атакузиева

Того, кто обидит Ойкор,
родная земля не примет!

Народная поговорка

Глава первая

— На совести моей кровь невинных рабов божьих. Выражение их лиц, когда они отдавали богу душу, не дает мне ночами покоя. Едва сомкну глаза — и появляются они передо мною, — говорил он моей бабушке неприятным, надтреснутым голосом.

Человек этот, приходившийся бабушке каким-то дальним родственником — в нашем кишлаке все звали его Суюнбай Лопоухий, — захаживал к нам время от времени, чаще всего по вечерам. И я становился невольным слушателем его рассказов о необычайных, захватывающих, но в то же время леденящих кровь происшествиях, приключившихся с ним в жизни. В доме у нас он разговаривал только с бабушкой. С родителями же моими, по его собственному выражению, у него

«кеклики не спелись». И вообще он считал бабушку единственным разумным существом в кишлаке, кто его понимает: все прочие же, пусть даже образованные, в глазах его были невеждами и тупицами. Помнится, он однажды заверял бабушку, что из нашего кишлака не вышло ни одного путного человека и впредь не выйдет.

А вот бабушка моя ладила со всеми. По ее мнению, люди есть люди и, хотя они не все одинаковы, ко всем нужно относиться одинаково. Ибо всякий человек — раб божий. Человеку никогда не быть ангелом: совершенен один всевышний. Однако, отчитывая меня за какие-либо проступки, она мне с укоризной говорила:

— Да будь же ты человеком!

— А я что, не человек? — однажды спросил я ее, искренне обидевшись.

— Ежели бы все рождались настоящими людьми, разве упрятал бы всевышний рай за семью пластами земли? Вот когда ты сможешь всем пожертвовать для людей, тогда и появится у тебя право называться человеком! Понял? — молвила мне бабушка, перестав вертеть веретено.

Не зная, что ответить, я умолк. А бабушка, уверившись, что слова ее возымели на меня действие, вновь с привычной ловкостью принялась за пряжу.

Подобные беседы между нами происходили обычно на небольшом плоском холмике Яссикире, возвышавшемся с восточной стороны нашего дома. Как только солнце клонилось к западу, бабушка поднималась на Яссикир, где всегда было светло, пока над горами не угасал последний луч, и принималась за пряжу. А я вертелся тут же, подле ее ног, и упрашивал рассказать какую-нибудь сказку или легенду. Мне особенно запомнились услышанные от нее предания из жизни пророка Магомета и его четырех халифов; я всегда слушал их с удовольствием, ибо каждый день они обрастали все новыми и новыми подробностями, которые я пропустил мимо ушей в прошлый раз или просто запомнила сама бабушка.

Семья наша обитала в небольшом домике с двором, окруженным изгородью; мы с бабушкой занимали крохотную пристройку с отдельным входом, обращенным к саю, протекавшему неподалеку. День и ночь до нас доносился ровный шум его бурливой воды. Бабушка нянчилась со мною со дня моего рождения. Баюкала меня по ночам, накрывала одеяльцем, если я раскрывался во

сне. Я любил ее, как и маму, а может, и еще больше. Она в шутку говорила, что я — ее сынок, а моя сестричка и братишки — это дети папы с мамой.

Как-то раз, когда все в нашем доме уже готовились ко сну, выцветшая на солнце двустворчатая калитка со скрипом отворилась.

— Суюнбая опять нелегкая принесла,— проворчала бабушка, припустив фитиль в стоявшей в нише керосиновой лампе, и закуталась в шерстяной платок.— Ни одна живая душа, кроме него, не шляется в столь поздний час. Словно сыч, непутевый, оставляет гнездо, когда все уже спят.

Суюнбай вошел во двор и поздоровался с папой, который только что закончил поливку огорода и помыл в арыке ноги.

— Присаживайтесь, Суюнбай, поешьте чего-нибудь, чайку выпейте,— предложил папа из вежливости, приглашая его на сури, стоявшую посреди двора.

— Сыт я, а чаю полью. Но только попрошу у тети,— буркнул он, указав рукой на нашу каморку.

— Ладно, как знаете,— сказал папа не слишком настаивая.

Заложив за поясницу пастуший посох, с которым никогда не расставался, Суюнбай двинулся в нашу сторону.

— Ас-салом алейку-у-ум! — поздоровался он с бабушкой, по обыкновению растягивая слова.

— А, Суюнбайджан, проходи! — приветливо сказала бабушка, бросив на пол овечью шкуру возле железной печки, стоявшей и зимой и летом на одном и том же месте. Она всегда Суюнбая усаживала там, потому что он никогда не снимал сапог.

— Вот, спустился со своих гор в кишлак. Дай, думаю, проведаю вас,—сказал он, устраиваясь поудобнее на шкуре.

— Как твои дела, здоров ли? — осведомилась бабушка.

— Отара наша в Кошкоре, волки, чтоб им подохнуть, совсем житья не дают. Недавно застрелил двух, так Халбек-егерь акт состряпал и в милицию передал. Теперь, оказывается, даже волков стрелять нельзя. Надо ж, чего выдумали, грамотен. Ну, явились милиционеры. Разругался я с ними и выпроводил вон,—сказал он, сняв заношенную тубетейку, и с наслаждением почесал голову.

— Да ты, должно быть, не волков, а сайгака либо архара застрелил! А не то зачем бы ему в милицию-то писать? Ежели же ты милицию бранил, почитай, деньки твои сочтены! — проговорила бабушка, поглядев на него так, словно сказать желала: дескать, от тебя всего можно ожидать.

— Если разозлят меня, то могу за одну ночь все живое на Ойкоре истребить! И чего этот Халбек становится мне поперек дороги? Или ему жить надоело? В один прекрасный денек сожрут медведи его разложившийся труп, — зло сказал он. — Пусть спасибо скажет, что я не стреляю дичи, как прежде! Надоедает баранина! Подумаешь, велика важность, если стрельну всего раз в неделю сайгака там или архара. Да и самому-то разве все мне съесть? Беру себе маленько, а остальное мясо раздаю лесорубам или пастухам. От этого поубавится ли зверья на Ойкоре? А ежели и поубавится, ему-то что за дело? Все равно сайгаков ни за что не приручить, какая же от них польза? Начальнички-то Халбековы приезжают — стреляют сколько душе угодно. Собственными глазами видал! А этот подлец выслуживался перед ними, водил их в те места, где самая охота на сайгаков. А однажды, перед их приездом, он уложил двух архаров. Когда те, изрядно поднабрввшись, стали охотиться, приволок им туши: мол, вот ваша добыча, почтеннейшие. Подхалим! Хотел я тогда осрамить его, да подумал: стоит ли связываться!

— Обижать все живое — это болезнь твоя с пеленок! Родители твои, царство им небесное, так и померли, не дождавшись от тебя радости! — попрекнула его бабушка. — Да ты ведь и сам отец пятерых детей, а творишь дела неслыханные! Ты, сказывают, медведей-то убиваешь только затем, чтоб желчь их продать! Еще скажи спасибо, что людям не про все твои делишки ведомо. Не то спустили бы с тебя шкуру!

— Эг-ге! Где тот удалец, который спустил бы с меня шкуру? Люди про все знают... Только никому не хочется иметь лишние хлопоты на свою голову. Чтоб дьяволом быть, тоже умишко нужен, иначе помрешь раньше времени. Вы меня не браните понапрасну, тетя. Я не такой человек, чтоб за деньги веру и совесть продавать. Когда Пирим-коротышка из Джарбулака явился ко мне и умолял достать для него медвежьей желчи, я ему сам принес и не взял ни гроша. Сами скажите, разве я хоть раз нажился за чей-то счет? Наговаривают

на меня... К кому идет пастух, оставшийся без пропитания? Ко мне. Потому что знает: я всегда накормлю досыта.

Заметив, что и я слушаю этот странный разговор, Суюнбай жестом указал мне на чайник: мол, чаю принеси. Я тихонько взял чайник и вышел во двор.

На кишлак опустилась густая темнота. Привязанная к деревянному колу корова жевала жвачку, а запертые в загоне у изгороди козы, чем-то обеспокоенные, гонялись друг за дружкой с противным блеянием. Мама все еще возилась у тандыра, а братишка, разметавшись на сури, давно уже видел сладкие сны.

Когда я вернулся к нашей двери с заваренным чаем, разговор между бабушкой и Лопоухим продолжался. Я остановился и прислушался.

— Ногти от мяса не отделить. Ты ведь единственная память о двоюродном брате моем. Бедняга говорил мне в предсмертный час: «Вы уж присмотрите за Суюнбаем, кроме вас, никто о нем не позаботится». Вот я и хочу, чтоб ты стал хорошим человеком, настоящим отцом своих детей,— говорила бабушка дрожащим голосом.

— Потому-то я только к вам и прихожу за советом. Вы же знаете, я ни с кем, кроме вас, в кишлаке не вожусь. Вы единственный мудрый человек тут,— пробормотал Суюнбай.

— Отбившуюся от стада овцу волк съедает. Если даже от своей земли оторвешься, от людей не отрываешься. Горе человеческое человек лечит, гроб человека человек несет...

— А-а, когда помрешь, все едино. Пусть похоронят, пусть изжарят — все едино.

— Не богохульствуй! Доброе намерение — половина богатства! Лучше выпрашивал бы у всевышнего хлеба насущного, счастья детям! Язык человеку не для того дан, чтоб молоть чепуху!..

Бабушкины слова, видимо, проняли Суюнбая, и он умолк. В этот момент я тихонько отворил дверь и вошел в комнату. Зная, что Суюнбай всегда предпочитает сам наливать себе чай, я поставил чайник перед ним.

Он вообще никогда ничего не ел и не пил у чужих. Как-то раз бабушка спросила его, отчего это он так делает, ведь люди всякое думают, обижаются. Он ответил, нахмурившись: «Разве теперь можно доверять кому? А что, как подсыпят снадобье какое? Чего сейчас в достатке, так это всяких лекарств...»

Суюнбай принялся услаждать себя чаем, а я тихонько лег в постель и накрылся одеялом.

Вдруг лицо его посерело, бегающие маленькие глазки сузились.

— Двух людей загубил я ни за что ни про что!.. Кровь их не дает мне покоя! — глухо пробормотал он и глубоко вздохнул.

— Оставь все это! Не вороши сгоревшие угли! — проговорила бабушка.

— Если все таить в себе, недолго и с ума спятить. Особенно ежели содеянное тобою — злодейство! Такая тоска — места себе найти не могу. Кажется, даже камни оживают и хотят раздавить... Вот и прихожу к вам... Ах, эти лица... И глаза. Глаза, молящие о пощаде...

— Да неужто ты тогда греха не убоялся? — спросила бабушка дрожащим голосом.

— Если уж я за всю жизнь, сколько помню себя, не сделал ни одного благого дела, где там мне было испугаться греха.

— Ты и сейчас не отличаешь доброго дела от греха. Тебе что люди, что бараны, что деревья — все одно, — сердито заметила бабушка.

— Может, и так. Сейчас никому ни до кого нет дела. И я живу на земле никому не нужный. Словно меня уже нет на земле. Ведь человек помирает не тогда, когда никому не нужен, когда всем безразлично, жив он или нет. От мысли этой хочется иной раз броситься в пропасть, да боюсь, дух из меня разом не выйдет, мучений боюсь.

— Оставь никчемные разговоры! Только детей сиротами сделаешь!

Затем, не обращая внимания на то, что бабушка не желает его больше слушать, он принялся рассказывать о своем ужасном злодеянии. При этом невозможно было смотреть ему в глаза — холодные, сузившиеся на посеревшем, словно у мертвеца, лице. Когда случайно я встретился с ним взглядом, у меня мурашки побежали по телу и я от страха натянул на глаза одеяло.

— Истинную цену мне определил пастух Саидмурад, — продолжал свой жуткий рассказ Суюнбай. — Однажды, оставив отару в Арчалисае, он со своим младшим братом Абдумурадом поднялся на вершину Каршиучган, где я пас стадо. Сама смерть их туда пригнала, иначе какого дьявола карабкались они две версты до Каршиучгана! Ведь знали, что я, богом проклятый

человек, духа человеческого не выношу! Сперва они сидели и оживленно болтали между собой. Я же не вымолвил ни слова. Все, о чем бы они ни говорили, не нравилось мне. Да я уже и не помню, о чем они тогда вели беседу. Надоело мне слушать их болтовню, и я им сказал:

— Эй, Саидмурад! Чего ты словно сыч разухался, делать, что ли, нечего? А ну, проваливай отсюда! Говорят, тысяча слов уже человека губит, а ты и от десяти тысяч не подохнешь!

Задело Саидмурада, видать, что я оскорбил его перед братишкой... А был бы один, не пикнул бы, хоть покототи его, я же знаю.

— Дьявол ты, род людской позорящий! Когда вижу тебя, веру в человека теряю! Как был подлецом, так им и остался, и как только земля тебя носит? Вставай, Абдумурад, пошли отсюда! — говорит он сквозь зубы, поднимаясь с места.

Я промолчал. Да и не любил я лишней болтовни. Человек со здравым умом много не говорит. В руках у меня была тяжелая палка, я и огрел его ею по шее. Он пошатнулся и стал медленно валиться, но тут его подхватил брат. Осторожно положил его на землю. А я стоял и смотрел в каком-то оцепенении. Из рта Саидмурада кровь пошла, а он все на меня пялится. Лицо его я до сих пор вижу... Абдумурад сел на землю около брата и заплакал. А меня вдруг охватил ужас: вот пойдет он сейчас, расскажет людям, и они забросают меня камнями. Недолго думая, я и его ударил тоже. Он повалился на землю как куль... Пришел я в себя и чувствую, будто тело мое избавилось от жуткого недуга. До сих пор не могу уразуметь, что на меня тогда нашло. Ведь я же должен был трепетать от страха, ведь убить сразу двоих — не шуточки. Но в тот момент я ни о чем таком не думал. Тогда я вообще не желал ни о чем думать. Я просто сметал с пути все, что мешало мне. А размышления лишь доставляли лишнее беспокойство.

Правда, в тот момент на горе я некоторое время думал, что теперь делать с телами пастухов. Вокруг ни души, спешить, конечно, некуда. Я вспомнил о пещере Имама в Кизилташе, где обитали медведи. Солнце уже село, и горы окутались сумерками. В такое время обычно медведи вылезали из пещеры в поисках добычи. Я не отважился идти туда на ночь глядя. Лишь оттащил тела туда поближе, откуда удобно добраться до пе-

щеры. В голове мелькнула радостная мысль: может, медведи сами набредут на них ночью и уташат в логово?

Ночью в горах прошел сильный дождь и смыл на камнях кровь...

Утром я, к огромному своему огорчению, нашел тела на том же месте, где оставил. Опасаясь медведей, я вынул из-за пазухи обрез и засунул за пояс. Внимательно осмотрелся и потащил сначала одно тело, потом другое. На макушке горы была расщелина, похожая на колодец. Я и сбросил тела в нее. Оттуда послышался рев потревоженных медведей. В страхе я пустился наутек... Знаете, тетя, меня на Ойкоре всякая живая тварь ненавидит,—неожиданно со вздохом заключил Суюнбай.

— Оставь, откуда зверям знать, каков ты? — провормотала бабушка и тихонько вздохнула.

— Нет, тетя, вы не знаете,—не унимался Суюнбай.—Зверь еще как разбирается в людях. Расскажу-ка я вам, что случилось потом. Я думал, медведи закопают трупы в землю дня на три-четыре, как это обычно делают, а потом сожрут. Насмотрелся я на такое во время войны. Скрывался я тогда еще с тремя дезертирами в пещере в Говкутане. В те времена и горы опустели; бывало, не встретишь никого, кроме подыхающего с голоду волка. Пришлось нам тогда и волчатины отведать. А как-то у подножия Кизилташа прирезали мы двух медвежат и целую неделю готовили из них тандыркебаб. Знаете, медвежатина на вкус напоминает конину. Так вот, ежели помните, в те годы пропал невесть где сын дяди Сулеймана, Сайфиддин.

— Да-да, припоминаю, конечно,—сказала бабушка.

— Пошел он в горы за дровами, а на него напали медведи и утащили в пещеру Имама. Медведей было много, мы все видели, но не могли ничем помочь ему.

— Так что же вы не рассказали его родителям? Ведь сколько времени, бедняги, все искали сына, — сердито заметила бабушка.

— А ежели бы и сказали, нам бы не поверили. А, чего доброго, еще свалили бы вину на нас!.. А вот послушайте, еще какой случай был!..

— Чтоб у тебя язык отсох! От каждого слова твоего исходит запах смерти! Довольно, замолчи! — осердилась бабушка.

— Как бы то ни было, а меня в горах все твари знают. Помнят, сколько загубил я ихнего брата. Боюсь,

в один из моих черных дней разорвут они меня на куски.

— Ну, довольно, Суюнбайджан! Сжался ты надо мной, ради бога! — взмолилась бабушка.

— Позвольте, я все-таки доскажу о том случае... В тот самый день я глаз не сводил с пещеры Имама. И вдруг что вижу? Медведи вытащили тела пастухов на ровную площадку перед пещерой. Это со склона Каршиучгана увидел и пастух Абдусалам, который разыскивал Саидмурада с Абдумурадом и собирал их разбредшуюся отару. Завопил он во всю мочь и натравил на медведей собак. Те, огрызаясь и сердито рыча, отступили в пещеру. А мне казалось, они со злостью в мою сторону поглядывают. Ежели могли бы говорить, указали бы на меня: «Не мы убили пастухов, а он!»

«Слава всевышнему, что не дал вам речи!» — думаю про себя и радуюсь.

Абдусалам наконец собрал отару и пришел ко мне. «Беда-то какая, пастухов моих медведи убили!» — говорит.

С той поры весь кишлак и возненавидел медведей.

Бабушка стала стелить себе постель, давая понять ему, что не желает больше его слушать. А ему наплевать, слушают его или нет. С выпученными глазами продолжает рассказывать. Бабушка была единственным человеком, кто осмеливался бранить его, но иногда и она, страшась этих холодных глаз, не могла вымолвить ни слова. А я в такие минуты просто не находил себе места от страха. Чтобы не встретиться взглядом с Суюнбаем, с головой залезал под одеяло. Но едва закрывал глаза, из темноты надвигались на меня его страшные глаза. И я поспешно опять высовывал голову. Не оставалось ничего другого, как слушать.

— Однако мне все время казалось, что пастуху Абдусаламу известно, что в тот день, когда пропали Абдумурад с Саидмурадом, поблизости никого, кроме меня, не было. «Догадывается, что их гибель — моих рук дело, да помалкивает, опасаясь за свою шкуру, — думал я. — И сказал, что пастухов загрызли медведи, только для того, чтобы меня успокоить...»

— Голова у меня разболелась из-за тебя, Суюнбайджан! Ну, довольно, время позднее, того и гляди рассветет. Мучаешь ты меня, старуху. Я ведь одной ногой в могиле и не желаю быть свидетельницей твоих темных дел. Если всегда только такие разговоры и будешь

вести, лучше вовсе не приходи! — в сердцах зачастила бабушка, вытирая слезы рукавами.

Лицо Суюнбая потемнело, и он замолк. Морщины на лбу углубились от напряжения. Он уставился взглядом в пол.

— Я ведь болью своею делюсь. В горах по месяцам слова ни с кем не вымолвлю. А говорю с вами — получаю удовольствие... Других чем дольше не вижу, тем спокойнее на душе...

Бабушка, собираясь лечь, расправила постель. А Лопухий взял в руки посох, холодно попрощался и направился к двери. Когда я поднял голову и глянул ему вслед, то увидел лишь два большущих, величиной с блюдце, оттопыренных уха. Как только дверь за ним затворилась, бабушка облегченно вздохнула.

— Бедняга. Покрыл себя позором, а теперь мается. Как сбегал во время войны с несколькими мерзавцами в горы — с тех пор и пошло. Стоит человеку однажды ославить себя, будет всю жизнь ходить с запятнанным именем. О горе. Как бы то ни было, хоть бы детям своим отцом был,— бормотала себе под нос бабушка.

Я лежал затаив дыхание. Не хотелось мне, чтобы он еще приходил в наш дом. Да и бабушка не знала, как избавиться от него. Она долго еще лежала без сна, шепча молитвы.

Глава вторая

Услышав, что часть жителей нашего кишлака переезжает в Мирзачуль осваивать новые земли, а папу назначили старшим над ними, я очень обрадовался. Мне тут же пришла мысль: «Туда-то Лопухий поехать не сможет». Папа съездил на новое место и вернулся полный удивительных рассказов про степь. Мне даже приснился сон о нашем переезде и о том, что ожидает меня в степи. Я смастерил себе флажок из кумача, чтобы ехать с ним в машине, которая повезет нас в степь. Увидев его, сестренка моя Айхан раскапризничалась: «Я тоже хочу такой». Пришлось сделать и ей.

Теперь с утра до вечера ожидал я с нетерпением большой голубой грузовик, который иногда привозил нам сено. А однажды к нашему дому подъехал самосвал. Когда кузов его вздыбился и из него посыпалась пшеница, бабушка воскликнула с изумлением:

— Гляди-ка! Сама груз выгружает, а! Вот сила божья!

— Папа,—спросил я тогда у отца,—разве бог сотворил машину?

— Это бабушка так считает, что все на свете бог сотворил. На самом-то деле и машины, и самолеты, и многое другое люди сотворили. Только, гляди, бабушке не скажи об этом, не то обидится,—шепнул мне с улыбкой папа.

В доме нашем известие о предстоящем переезде обрадовало всех. Всех, кроме бабушки. Как только новость эта дошла до нее, она опечалилась, глаза ее потускнели. Тем временем сборы шли полным ходом. Папа говорил, что в нашем кишлаке работа по большей части сезонная, люди из-за этого зря теряют драгоценное время. А от вынужденного безделья немало жалобщиков и склочников. На новом месте работы будет невпроворот. Когда люди освоят степь, в горах построят водохранилища, чтобы напоить водой горные пастбища и богару*. Тогда-то и можно будет вернуться в родные края.

Наконец папа объявил: мы едем в Мирзачуль завтра. А бабушка вдруг сказала:

— Не могу я поехать в степь, сынок!

— Отчего же, матушка? Если мы оставим вас здесь, то кто ж будет главенствовать в нашей семье? Да и не будет худо, если подышите немножко степным воздухом,—сказал папа.

— Покойному отцу твоему обещала, что схоронят меня непременно подле него, на родном Ойкоре,—бабушка была не в силах сдержать слез.

— О чем это вы думаете, матушка! Бог даст, до ста лет жить будете!

— Оставь меня здесь, сынок. За домом присматривать буду. А вы станете время от времени меня проведывать. Как же ты можешь бросить безлюдным отчий дом? Если можно, оставь со мной и Данабая, а если нет...

— Ни о чем не беспокойтесь! Как скажете, так и поступим. Мы и соринки не передвинем с места, не посоветовавшись с вами! — проговорил папа, пытаясь успокоить ее.

* Богара — предгорье, засеваемое яровой пшеницей.

— Пусть дети твои принесут тебе радость, сынок! — растроганно прошептала бабушка.

Я тоже был согласен с папой. Случайно оказавшись у окна, я слышал весь их разговор. Мне отчего-то так стало жалко бабушку, что захотелось кинуться к ней, обнять и сказать: «Бабушка, любимая наша бабушка, не горюй, я никогда не брошу тебя одну, я останусь с тобой, мы вместе будем ухаживать за садом, и ты будешь рассказывать мне новые сказки на холмике Яссикире!»

Между тем столь неожиданное предложение бабушки привело папу в замешательство. Он пошел посоветоваться с мамой, которая уже увязывала узлы. Через некоторое время ко мне подбежала Айхан и сказала, что меня зовет папа.

Папа стоял посреди комнаты и не знал, как начать: ведь я каждый день приставал к нему с расспросами, когда же мы наконец поедem в степь, спешил увидеть, какая она. Мне хотелось помочь ему, самому сказать, что я согласен остаться с бабушкой, но в горле у меня застрял ком, и я молчал.

— Данабай уже не маленький, все понимает. Он не ослушается вас, — нарушила тишину мама, желая облегчить папе его нелегкую задачу.

— В самом деле, говорят ведь, что человек мужает, когда становится кому-то поддержкой, — начал папа издалека.

— Бабушка остается в кишлаке и просит, чтобы ты остался с ней, Данабай, — не выдержала мама.

— Ладно, — согласился я без лишних слов.

Обрадовавшись, что все так легко обернулось, папа с мамой наперебой стали хвалить меня.

— Побудешь здесь до конца учебного года, а там подумаем, как быть дальше. Когда приеду навестить вас, заеду в Джизак и куплю тебе велосипед, — пообещал папа.

— Что ж я без тебя делать-то буду? Кто же будет присматривать за сестричкой? — льстила мне мама.

Я ничего не сказал. Когда бабушка услышала, что я согласился остаться с ней, то очень обрадовалась. А мне почему-то захотелось плакать.

На следующий день рано утром к нашему дому подъехал голубой грузовик, который я ждал с таким нетерпением. Все сразу засуетились, стали грузить вещи. Я тоже помогал, как мог. Наконец все было готово к

отъезду. Мама обняла меня, расцеловала, а отец крепко пожал мне руку. Мама с сестренкой сели в кабину рядом с шофером, а папа залез в кузов, где лежали вещи. Заурчал мотор, машина тронулась, папа поднялся и, держась одной рукой за борт, второй махал нам с бабушкой. Мы стояли, тоже махали руками им вслед до тех пор, пока от машины осталось лишь облако пыли. Бабушка смахнула рукавом слезу. У меня тоже глаза повлажнели. Меня охватило противоречивое чувство: я ведь так мечтал об этой минуте, так хотел поехать в степь, но разве я мог бросить бабушку одну. Да, мы с ней очень любили друг друга. По словам папы, бабушка сроду не сказала никому ни одного грубого слова. Даже если я или сестренка озорничали, она, журия нас, всегда добавляла: «Дай бог вам благополучия».

— Бабушка, а почему ты никогда никого не braniшь? — спросил я ее однажды.

— Эх, сыночек! К чему приумножать грехи свои. Хватит и тех, что совершила, пока набралась ума-разума. У всякого человека на плечах сидит по ангелу. Ангел на плече — грехи. Самый страшный грех на свете — причинять боль другому человеку. Сказывают, будто господь вначале сотворил человека бессмертным. Думал он, люди на земле будут жить в мире и спокойствии. Но и бог ошибся. Люди размножились, заселили всю землю и стали ссориться, убивать друг дружку, обижать прочие божьи твари и растения. Вот потому бог и решил сделать людей смертными. А они все равно продолжают творить зло. Ежели не одумаются, миру придет конец, — проговорила бабушка, задумчиво глядя вдаль.

Бабушка говорила, что от лживого человека всего можно ожидать. Поэтому я всегда старался говорить правду. Если человек солжет или оскорбит кого-то, ангел на левом плече запишет этот грех. Совершив дурной поступок нечаянно, немедленно следует сотворить благое дело, чтобы перекрыть грех; тогда ангел его зачеркнет. Но как бы ни жил человек, обыкновенным рождается он, обыкновенным и помирает...

Эти бабушкины слова вспомнились мне, когда через несколько дней после переезда родителей мы с ребятами таскали дыни на бахче у старенькой Заргуль-момы*. Мне вовсе не хотелось участвовать в этом деле. Да Рад-

* М о м а — бабушка.

жаб-коротышка уговорил: «Ну какое это воровство? Стоит только попросить хандаляков* у Заргуль-момы, она и сама нам даст. Только это неинтересно. Ты просто посиди немного с ней, поговори. Она ведь скучает, не знает, с кем бы словом перемолвиться».

Когда я подошел к бахче, в нос ударил приятный аромат спелых хандаляков вперемешку с едким запахом полыни. На западной окраине бахчи стоял шалаш, из которого доносилось негромкое пение. Это пела Заргуль-мома, сидя со своей пряжей, помогавшей старухе коротать одиночество. Я остановился возле шалаша, очарованный ее проникновенным пением, и совсем забыл, зачем пришел. А когда вспомнил, что пришел-то я к ней с дурным намерением, то невольно покраснел. Но дело сделано, и пути к отступлению не было. Чтобы дать знать о себе, я кашлянул.

— Кто та-а-ам? — протяжным голосом спросила Заргуль-мома, не вылезая из шалаша.

— Да-да-набай, — отозвался я, начав вдруг заикаться.

— А, это ты, Данабай! Заходи! Здорова ли бабушка? Прежде она частенько навещала меня, а теперь что-то не показывается! — сказала Заргуль-мома, жестом приглашая присесть рядом с ней на край овечьей шкуры. — Небось скучаете по своим? А тебя, стало быть, с бабушкой оставили? Да и нечего тебе делать в этой пересохшей степи. Сказывают, там в тугаях полно шакалов, воют, как бешеные, по ночам людям спать не дают. Удивилась я, когда твои сломя голову кинулись в степь. Только увидишь, осточертеет она им, воротятся назад.

Я сидел молча.

— А скажи-ка, после отъезда родителей Лопоухий, наверно, зачастил к вам? — спросила вдруг Заргуль-мома, свивая нить из трепаной шерсти.

— Да нет, — солгал я, не поднимая глаз от земли.

— Передай бабушке, чтоб она поменьше пускала его в дом! От него одни только несчастья!

При одной мысли о нем у меня мурашки по телу побежали. Хотел было я сказать Заргуль-мومه, что и сам ненавижу Суюнбая, да не сказал: ведь ей ничего не стоило намекнуть ему при встрече, — мол, брось, Суюнбай-джан, не ходи больше к тетушке Шахзаде, там

* Хандаляк — сорт скороспелой дыни.

тебя не любят. Была у Заргуль-момы привычка хвалить человека в глаза, а за глаза хулить.

Только все и в самом деле было так, как считала Заргуль-мома.

На второй же день после того, как родители мои переехали в степь, зашел к нам Суюнбай, держа на плече посох, с которым не расставался. Впервые видел я на его лице довольную ухмылку. Когда он вошел во двор, бабушка дубила шкуру барана, зарезанного по случаю папиного отъезда.

— А, Суюнбайджан, проходи, — как обычно, приветливо встретила его бабушка, однако не взглянула в его сторону.

— Ну, что, уехали? — спросил он, посмеиваясь.

— Уехали. А тебе что за радость?

— Много народу поуждало, вот и захирел наш кишлак. Сбивали, сбивали друг дружку с пути, друг другу в глаза глядеть стыдно, вот и разбегаются. А то ли еще будет!..

— Не говори так, Суюнбайджан. Они по велению собственной совести подались туда. А ты кроме того, что оскверняешь наши райские места, еще и злословишь о людях. Стыдись!

— Пусть хоть все переезжают! Мне-то что. Только я вам говорю, вовсе не по своей воле они переехали. Ведь их государство насильно туда переселило. Это те, кто прежде друг на дружку жалобы строчили, написали от имени жителей нескольких кишлаков: дескать, поедем работать в степь. Из-за них теперь целый кишлак снялся с насиженного места.

— Вздор несешь! Не хули людей, а то останешься в одиночестве, словно сыч. Помни, умереть среди людей — тоже благо. Кто же иначе понесет гроб твой?

— Кто желает смерти, тот не умирает. Умирают обычно люди, о которых и не подумаешь, что они могут умереть. А я долго буду жить, ибо мне жизнь надоела...

Бабушка промолчала. Лопухий сидел и чистил кончик палочки для понукания ослов о голенище сапога. Бабушка продолжала молчать, и Суюнбай, заметив ее холодность, собрался уходить.

— Ладно, тетя, пойду я. Будет время, загляну еще.

— Ступай, с миром, хорошо относись к детям своим. Эй, Суюнбай, погоди. Слыхала я, что ты в прошлое

воскресенье жену побил. С плачем, сказывают, на улице выбежала. До каких пор будешь колотить жену? — спросила бабушка, сердито взглянув на него.

— Вы так говорите, тетя, будто ваш покойный Тиловберды никогда вас пальчиком не тронул, — усмехнулся Суюнбай. — На то и муж, чтоб учить жену уморазуму.

— Тиловберды, да пребудет он в раю, к твоему сведению, ни разу руки на меня не поднял. А если бывала я в чем-то виновата, только ущипнет за нос и скажет: «Тысяча благодарностей богу за то, что он дал тебе нос», — да пребудет в радости душа его.

— Я вам скажу, тетя, какая бы ни была жена, умница ли, дура ли, все равно муж — хозяин. И должен время от времени напоминать об этом. Если б от тумачков умирали, то в нашем кишлаке давно не осталось бы ни одной женщины.

— Да сжался ты, в конце концов, над бедняжкой. Что она видела в жизни, выйдя за тебя? Да ничего, кроме горестей. Она ведь тоже человек. Вспомни, никто не хотел отдавать за тебя дочь, и лишь из сострадания к тебе я упростила тогда дядю этой сиротки. Теперь-то хоть, на старости лет, устыдись. Хватит с нее и тех побоев, что терпела от тебя в молодости. А будешь ее бить, бедняжку, гляди, как бы руки твои не отсохли в один прекрасный день. Людей не боишься, бойся хоть бога.

Он кивнул, как бы сказав «ладно», взял в руку посох и вышел со двора...

Вот об этом и напомнили мне слова Заргуль-момы.

— Заговорила я, и из головы вылетело, надобно бы тебя дынькой угостить, — спохватилась Заргуль-мома и, положив веретено на овечью шкуру, поднялась с места.

— Спасибо, мне не хочется. Просто бабушка сказала, пойди проведай бабушку Заргуль, здорова ли она, вот я и пришел, — соврал я, покраснев до ушей.

— Дай бог здоровья твоей бабушке. Погоди, дам-ка я тебе два хандаляка: один тебе, другой бабушке. В этом году хандаляки уродились на славу, на весь кишлак хватит.

Заргуль-мома зашла на бахчу и долго ходила между грядками, раздвигая ботву; наконец выбрала два спелых хандаляка и сунула мне под мышки.

Презирая себя, я шел и ругал на чем свет стоит Раджаба-коротышку, который подослал меня к Заргуль-моне, а сам тем временем воровал дыни. А добрая старушка такому негодяю, как я, еще и дала два хандаляка.

Когда я подошел к условленному месту, ребята сидели на траве и с наслаждением уплетали хандаляки. Они уже почти разделались с добычей: осталось всего три-четыре дыньки.

— Эге! Да здравствует поистине мудрый Данабай*! Глядите, он заодно и свою долю прихватил! Наворачивайте, не стесняйтесь! — воскликнул Раджаб-коротышка, с жадностью, до самой кожуры вгрызаясь в кусок дыни. Другой рукой он собирался разбить о колено еще одну дыню.

— Стой, Раджаб! Не надо! Возьми лучше мой хандаляк! — сказал я.

Ребята с изумлением уставились на меня.

— Мы поступили дурно, — проговорил я срывающимся от волнения голосом. — Мы совершили грех. Теперь мы все попадем в ад. Надо вернуть украденные дыни Заргуль-моне и попросить у нее прощения. Этим, конечно, мы греха еще не смоем. Мы должны совершить еще какое-нибудь доброе дело!

Ребята вытаращили на меня глаза. Только наглец Раджаб, не обращая никакого внимания, продолжал, сопя, уплетать свой кусок.

— Я же тебе говорю, обжора! — закричал я и выбил у него из рук кусок дыни.

Он вскочил и хотел было наброситься на меня, но ребята тоже поднялись и встали между нами. Почувствовав, что все против него, он опять уселся на землю и злость свою выместил на оставшихся дынях...

Держа под мышкой хандаляк, который Заргуль-мона передала для бабушки, я отправился домой. А по дороге все думал, что бы совершить такое, чтоб смыть с себя грех. Когда я принес дыню домой, бабушка очень обрадовалась. Она нарезала дыню ломтиками, и мы съели ее с хлебом. Потом бабушка принялась за пряжу. Вскоре она утомилась и прилегла на сури под тенью густого карагача. Я на цыпочках вошел в дом, открыл большой бабушкин сундук и вынул пару почти новых, всего несколько раз одеванных папиных сапог.

* Дана — мудрый.

Не долго думая, я отправился к одинокому Ербеку-бобо. Иногда бабушка посылала меня к нему или другим, похожим на Ербека-бобо, неимущим односельчанам, передать им что-нибудь из приготовленной ею еды или кое-какую одежду. Чаше она так поступала во время праздников, курбан-хаита или уразы. Но ведь не обязательно, чтобы сделать человеку приятное, ожидать праздника.

— Вот, бабушка вам прислала, дедушка Ербек, надевайте! — сказал я, протягивая сапоги старику.

Ербек-бобо, который зарабатывал себе на жизнь тем, что шил упряжь и обтягивал кожей седла для лошадей и ослов, обрадовался такому подношению, как мальчишка, и тут же примерил сапоги. Они пришлись ему в самую пору. Глаза его увлажнились, я в смущении отвел взгляд.

— Мои чарыки* как раз износились, в горы за дровами сходить не в чем. А ежели сейчас не запастись несколькими вязанками, то мерзнуть мне всю зиму. Не добраться мне до Ойкора, когда снег выпадет! — проговорил Ербек-бобо и посмотрел в сторону гор, на вершинах которых уже белел снег.

Стариковской шаркающей походкой пошел он в дом и вынес пригоршню хранившихся от праздника до праздника конфет в выцветших обертках. Я взял их, не желая обидеть старика. И мне подумалось, что я смыл с себя сегодняшний грех...

Народу в нашем кишлаке заметно поубавилось. По вечерам улицы становились пустынными. Остававшиеся еще в кишлаке ребята разбрелись по домам, и воцарялась тишина. Слышалось только клокотанье Каттасая.

Я тоже, почти всегда последним, бежал домой, словно за мной по пятам кто-то гнался. С наступлением темноты бабушка обычно всходила на Яссикир и поджидала меня там.

Глава третья

Наступила осень. В школе начались занятия. И вот однажды вечно наполненный всяческими слухами Раджаб-коротышка принес невеселую весть: охотник Гаф-

* Чарыки — грубая обувь из сыромятной кожи.

фар отправился в горы пострелять сайгаков и сорвался с вершины Учкул. Лишь два дня спустя люди обнаружили его бездыханное тело у подножия вершины...

В тот день я, конечно, вернулся из школы расстроенный и рассказал обо всем бабушке. Она сходила в дом к Гаффару-охотнику, где собрались люди читать заупокойную молитву. Бабушка вернулась к вечеру и принялась готовить ужин. А я отправился встречать корову и коз, которых пригнали с пастбища пастухи.

На Ойкоре в нескольких местах мерцали костры. Их далеко было видно. Вершины гор постепенно темнели, а костры становились все ярче и ярче.

Я загнал скотину во двор, а сам поднялся на Ясси-кир и все смотрел на ночные костры...

Вечером при тусклом свете керосиновой лампы бабушка пряла, а я готовил уроки. Вдруг калитка со скрипом отворилась. Мы с бабушкой вздрогнули.

— Кто там? — громко спросила бабушка и обернулась ко мне: — Ты разве не закрыл дверь на цепочку?

— Я это, Суюнбай! — донесся со двора знакомый голос.

— Тебе что, постучать трудно? Бродишь по ночам, будто привидение! — отчитала его бабушка.

Когда он приблизился к лампе, в глаза мне опять первым делом бросились его большущие оттопыренные уши с красными прожилками; приплюснутый нос побелел, будто с мороза, а толстые губы потрескались, словно он три дня не пил воды. Мной овладело непонятное волнение. Я смотрел в книжку, буквы плясали перед глазами, принимая обличья то Суюнбая, то Гаффара-охотника.

— Вымер кишлак, вымер. Прошелся вдоль всей улицы — и ни одного человека не встретил, — проговорил Суюнбай, присаживаясь на край сури. — Ну прямо как во время войны. Или мор прошел будто бы...

— Типун тебе на язык! Можешь ли ты хоть раз произнести теплые человеческие слова? — рассердилась бабушка.

— Э-э, тетя, откуда мне взять такие слова? Меня им не обучали. В школу мы не ходили, книг не читали.

— В старые времена никто не учился, а все были в здравом уме.

— Зачем читаете мне нравоучения? Каким уродился, таким и помру. Никому до меня дела нет, и у меня ни о ком голова не болит. Родители мои померли, так и не

дождавшись от меня радости, вот и дети мои не почитают меня, обыкновенного надгробия мне, должно быть, не поставят. Только об одном все думаю: помру ли я своей смертью, как человек, тихо, мирно?..

— Скажи на милость! А коль думаешь об этом, детей своих и жену беззащитную не обижай! Хоронить тебя им! Человек что сеет, то и жнет. Ты вон седой уж. Ежели бороду отпустишь, за год до пояса вырастет. Чалму не носишь, так хоть бельбагом* голову обвяжи, молитвы аллаху вознеси, на людях чаще бывай. Глядишь, и станешь правоверным мусульманином. Во чреве матери никто умным не бывает. Иной раз такие, как ты, лишь к старости праведниками становятся.

— Ведь вы меня знаете, тетя. Если меня никто не трогает, на нервы не действует, мне и ладно.

— Черти в тебе гнездо свили, вот что я тебе скажу! Будешь измываться над семьей — заплатишься. Аллах накажет.

— Сказать по правде, вы тоже странный человек, тетя,— усмехнулся Лопоухий, качая головой.— Испугать меня, что ли, хотите? Я и смерти не боюсь! А что на свете страшней?.. Не Гаффару-охотнику, а мне бы в пропасть сорваться! Ведь все живое в горах терпело от меня всякое зло... Быть мне наказанным когда-нибудь. Вот Гаффар-охотник... тоже стрелял ведь все подряд. А нынче, сказывают, ему кто-то правый бок отгрыз...

— Знать, сочтены были дни его, бедняги, сегодня схоронили,— сказала бабушка, не отрываясь от работы.

— Я спускался с гор и повстречал похоронную процессию. Пришлось присоединиться... Самое скверное, тетя, что похоронили его с согнутыми ногами. А что вы хотите, если тело пролежало в горах несколько дней? По поверью же, человек, похороненный с согнутыми ногами, призывает за собой другого. Наверное, мой черед наступил...

— И впрямь нехорошо получилось. А верно ли, что ноги у него остались согнутыми? Ты это своими глазами видел?

— Да могу ли я лгать в такую светлую лунную ночь? Все видели: из гроба торчали его колени. Поэтому-то многие вернулись, не дойдя до кладбища. Лишь несколько родственников и несли носилки с гробом.

* Бельбаг — поясной платок, кушак.

Я дошел только до дома Отаджана-бобо... Интересно, кого же он первым позовет к себе, а? Может, правда меня?

— Не каркал бы ты! — рассердилась бабушка.— Ангел и плохому и хорошему слову может сказать «аминь». Тот, кто искренне замаливает грехи, и после светопреставления останется живым-здоровым.

— Вы правы, тетя. Если даже сорок лет будет резня, умрет лишь тот, кому суждено... А все-таки следовало, прежде чем похоронить, ноги ему выпрямить,— пробормотал Суюнбай.

— Твоя правда... Не начались бы в нашем кишлаке ссоры. Стоит теперь умереть кому, родственники покойного станут цепляться к родственникам Гаффара...

— И сейчас еще не поздно, надо вскрыть могилу и выпрямить ноги ему, будь он неладен.

— Да кто ж за такое возьмется? Сердце каменное надо иметь для такого дела.

— А ежели дать сотню рублей могильщику Бектуре и обмывальщику Сувону, так они не только могилу вскроют — кладбище перепахать не откажутся.

Бабушка промолчала. Я сидел ни жив ни мертв. Бабушка, видимо, заметила, что я побледнел от страха, стала выпроваживать Суюнбая:

— Поздно уже. Шел бы ты домой, Суюнбай.

Суюнбай молча поднялся и направился к двери. Когда калитка за ним захлопнулась, бабушка проворчала:

— Ни разу не пришел поговорить по-человечески, чтоб пусто ему было!

Я лег в постель, расстеленную на сури. Бабушка, все еще бормоча что-то себе под нос, пряла. Я долго не мог заснуть. Едва закрываю глаза, на меня надвигаются покачивающиеся носилки с гробом и выглядывающий из-за них Суюнбай.

Наконец улеглась и бабушка и погасила лампу.

— Бабушка, пусть Суюнбай больше к нам не приходит!

— Почему, сынок?

— Он плохой человек! Никого он не любит. Даже вас не любит. Заргуль-мома говорит, что он приносит одни несчастья...

— Заргуль-мома верно сказала! Бедняга Суюнбай что-то больно забеспокоился, все о смерти да о смерти... Видать, долго не протянет... Ладно, пусть уж в конце жизни своей не обижается на нас... А ежели при-

дет к нам, а тебе не захочется его видеть, можешь пойти к Наркулу.

— Почему вы так думаете, бабушка? Он вон какой здоровый...— сказал я.

— Когда смерть подкрадывается к человеку, его охватывает беспокойство.

— Значит, Суюнбай скоро умрет?

— Ой, что это я? Господи, прости рабу свою!

В этот момент и бабушка показалась мне какой-то странной. Не знаю, как я и уснул в ту ночь. А когда проснулся, бабушка уже доила козу.

Я умылся и погнал коз в стадо.

После того разговора Суюнбай еще дважды заходил к нам.

Как-то раз, заигравшись с ребятами до темноты на Уртакире, я спешил домой и лицом к лицу столкнулся с ним, когда он выходил из нашей комнатки.

— Гм-м-м,— произнес он, скользнув по мне холодным взглядом.

Я юркнул в дом. А он стал медленно подниматься на Яссикир.

В те дни по кишлаку прошел слух, будто кто-то вскрыл могилу охотника Гаффара. Как только я вошел во двор, то услышал, как бабушка кляла Суюнбая на чем свет стоит:

— Ну, помер кто-то, тебе-то что за дело? Что я, бог, что ли, людям приказывать, дескать, вскройте могилу Гаффара. Э-э, чтоб этот Гаффар позвал тебя к себе!..

Я понял, что они опять говорили об охотнике Гаффаре. Бабушка была так взволнована, что я не стал ни о чем ее спрашивать, чтобы не добавлять масла в огонь. Тихонько пошел и лег на сури под карагачем. Небо было усыпано звездами... Смотрел я на них, смотрел, и внезапно перед глазами возникла бескрайняя степь, белые от хлопка, словно снегом покрытые, поля и плывущие по ним голубые хлопкоуборочные машины. И маму увидел, и папу, и сестренку... Видение было настолько ясным, что от тоски у меня сжалось сердце, на глаза навернулись слезы. Мне очень, и поскорее, захотелось в степь. Папа обещал скоро приехать, но почему-то все не едет и не едет.

В последнее время и бабушка стала частенько расхваливать степь. Говорила, что люди, наработавшись там вдоволь, станут здоровыми и сильными. Говорила,

что все самые трудолюбивые люди нашего кишлака переехали в степь...

Спустя два дня Суюнбай опять зашел к нам. Мы с бабушкой как раз вязали гибкими стеблями мяты снопы скошенного клевера. Он взглянул в мою сторону, но я не поднял головы. Бабушка как-то сказала, что глаза его жалят человека. Странно, разве могут глаза жалить?..

Бабушка бросила работу, пошла ему навстречу — как-никак гость. Я не знаю, о чем он говорил с бабушкой. В этот раз пробыл у нас недолго. Стоял посреди двора, сжимая в руке посох и уставившись в пространство, а бабушка что-то с чувством растолковывала ему. Когда он выходил со двора, я заметил, что рукавом он вытирал слезы. И мне невольно стало жаль его. Отчего, я и сам не знаю...

...Известие это я воспринял почти равнодушно. Как только сын Суюнбая, вылитый отец, такой же лопоухий, плача, вошел во двор, я сразу все понял... Кто-то убил его отца на Джидалинском пастбище. Об этом только что сообщили люди из Джарбулака, которые собирали хворост неподалеку.

Однако бабушку эта весть ошеломила.

— Ай, бедняга, ай, бедняга! Помер-таки, не дожив до старости! — причитала бабушка со слезами на глазах, в спешке кутаясь в большой ситцевый платок.

Она отослала меня к нашему соседу Бахраму-бобо. Услышав этакую новость, Бахрам-бобо вместе с двумя оказавшимися у него гостями пришли к нам. Поручив что-то Бахраму-бобо, бабушка взяла сына Суюнбая за руку, и они отправились к ним домой.

— Никуда из дому не отлучайся, — наказала она мне, уже выходя из калитки.

Я кивнул, хотя знал, что вряд ли это удастся.

Бахрам-бобо и его гости, позвав с собой еще несколько человек, пошли на Джидалинское пастбище. Ноги сами понесли меня вслед за ними. По дороге ко мне присоединился и сын Бахрама-бобо, Наркул, смуглолицый крепыш, озорник, каких свет не видывал. Следуя по пятам за мужчинами, мы приблизились к горам.

К Джидалинскому пастбищу примыкало пшеничное поле. Мы увидели отару, которая разбрелась во все сто-

роны. А сидевший на осле пастух гнал отару почему-то в глубь пшеничного поля.

— Чья бы это могла быть отара, а? И почему она пасется на пшеничном поле? — спросил Наркул.

Я пожал плечами.

— Наверное, это отара Суюнбая! — еле слышно вымолвил он.

Подойдя к отаре поближе, люди застыли от ужаса. На осле, с зажатым в руке посохом и раззявленным ртом, сидел Суюнбай. Приученный к отаре осел сам следовал за встревоженными овцами, а Суюнбай был накрепко приторочен к седлу и, по всему, находился в таком положении уже несколько дней.

Мы с Наркулом, схоронившись в высокой пшенице, затаив дыхание, следили за происходящим. Не зная, что делать, люди некоторое время стояли в замешательстве.

— Ну что теперь поделаешь? Раз так случилось, надо везти его домой. Сегодня же надо хоронить, — сказал Бахрам-бобо.

— Следует положить его ничком на осла и накрыть чекменем*, — заметил пастух Мамарахим.

Мы продолжали лежать в траве до тех пор, пока Суюнбая не увезли. Пастух Мамарахим отогнал отару с пшеничного поля на выпас.

В кишлаке воцарилась гнетущая тишина. Никто не плакал. Всего несколько человек собралось на заупокойную молитву. Никто даже не завел разговора, кто и за что убил Суюнбая.

Несмотря на бабушкины хлопоты, обмывальщик отказывался обмывать покойника, а могильщик — копать могилу. Насилу уговорили их аксакалы. Я, Пардабай и Раджаб, взобравшись на крышу дома Заргуль-момы, следили за происходящим.

Когда носилки с гробом подняли и понесли, я вспомнил рассказ Суюнбая о том, как хоронили охотника Гаффара. Немногие пошли на кладбище. А мы, взобравшись на вершину холма Дуньятепе, наблюдали за похоронной процессией. Обычно болтающий без умолку Раджаб-коротышка на этот раз сидел тихо, а Пардабай со вздохами жалобно поглядывал на меня.

— Когда люди прочитают заупокойную молитву и отойдут от могилы на семь шагов, к нему подойдут

* Чекмень — верхняя одежда типа кафтана.

Мункар с Накаром*, — прошептал Раджаб испуганным голосом.

Мы с Пардабаем от страха и слова не могли вымолвить. Я невольно представил себе встречу Суюнбая с Мункаром и Накаром...

Вот Мункар с Накаром, огромного роста, с отросшими ногтями, покрытыми шерстью лицами, входят в могилу и, увидев Суюнбая, на мгновение замирают от изумления. Миллионы людей спровадили они и в рай, и в ад, но никогда еще не видели столь неприглядно умершего человека. Они оживляют Суюнбая заклинаниями. Согнутые ноги его с хрустом распрямляются.

— Встань, презренный раб! — велит Мункар.

— Что вам от меня нужно? — возмущается Суюнбай.

— При появлении Мункара и Накара все встают с места! — гневно говорит Накар.

— На земле меня не обучали, как встречать Мункара с Накаром! Или имеется такая школа? — цедит сквозь зубы Суюнбай, выходя из себя.

— Следуй за нами, место твое в аду! — приказывают Мункар с Накаром в один голос.

— Хотите напугать меня? Я за вами не пойду! Погибшим за веру не место в аду!

— Это тебя-то за веру убили?! Ха-ха-ха... Тебя наказал Азраил за грехи твои! Будешь продолжать гневить нас, разорвем тебя на куски!

— Не Азраил — люди убили меня, — пробормотал растерявшийся Суюнбай.

— Людей тех послал Азраил!

— Попался бы он мне в руки!

— Ого! Судя по словам твоим, ты и в самом деле жестокосердный! Нам это нравится. А что, если нам договориться? Сделаешь, что мы тебе велим — в долгу не останемся.

— Выкладывайте! Что у вас?

— Так вот, слушай. Погубивший тебя Азраил — и наш враг. Мы хотим отомстить ему, но душа Азраила покоится под тронем самого всевышнего. Когда вступишь в молельню, в нише, что справа, лежит его душа, а слева — наши. Гляди не спутай. Душу Азраила надо украсть и расчленить на кусочки. А на место Азраила мы назначим своего человека.

* Мункар и Накар — имена двух ангелов, якобы подвергающих допросу покойников в могиле.

— Сможете ли вы после этого вернуть меня на землю хоть на денек! Посчитаюсь с теми, кто убил меня, и вернусь!

— Сперва покончи с Азраилом,— говорят Мункар с Накаром, опасаясь, как бы Суюнбай не обвел их вокруг пальца...

...Дрожь пробежала по моему телу, и я очнулся. Оказывается, я так устал, что уснул там, где сидел. Видимо, я побледнел от страха: Раджаб и Пардабай с удивлением уставились на меня.

Люди предали Суюнбая земле и уже возвращались с кладбища. Мы тоже вернулись в кишлак. Мне казалось, Суюнбай воскреснет через пару дней.

Когда я пришел домой, бабушки еще не было. С поминок она вернулась лишь вечером, когда пастухи пригнали стадо. Она принесла в узелке лепешку, сахару и холодного мяса.

— Ах, чтоб твоей бабке пусто было! Ты, наверное, проголодался? Вон бледный какой,— сказала она, хлопывая меня по спине.

...С того дня мы с бабушкой больше о Суюнбае не разговаривали. Бабушка частенько навещала его детей, а иногда посылала меня к ним с ведром персиков или винограда. Прежде я совсем не бывал у них. Теперь жалел этих кое-как одетых сирот. Мне хотелось сделать для них что-нибудь хорошее. А что я мог, кроме как исполнять бабушкины поручения? Но верил, что, когда вырасту, обязательно буду помогать им.

Жена Суюнбая Энай никуда не ходила и никому не жаловалась. Даже не заявила, что ее мужа убили. Приходили из милиции, что-то записали и ушли. После этого пересуды о смерти Суюнбая и вовсе прекратились в кишлаке.

Но вот из Педжикента приехал младший брат Суюнбая Исрофил, похожий на него как две капли воды, тоже пастух. И стал Исрофил дознаваться, кто убил брата. Как только приехал, сразу набросился на невестку, обвиняя ее, будто это она подсыпала яду мужу, а на другой день грозился отдать под суд совхозного сторожа Асадуллу Карлика. Затем он стал строчить в милицию обвинения на каждого, кто был ему не по душе в нашем кишлаке.

И разразился в кишлаке по делу Суюнбая Лопухого настоящий скандал. Не было человека, которого бы не вызывали в районную милицию. Запыхавшись,

кляня на чем свет стоит Исрофила, бабушка тоже два раза пешком ходила туда для дачи показаний.

...А однажды прибежали ко мне Раджаб с Пардабаем и говорят, что ходят слухи, будто врачи собираются вскрыть могилу Суюнбая. Вроде узнать хотят, как да отчего помер он...

— Пошли посмотрим. Мать моя говорит, что Суюнбай пребывает в аду. Только, по-моему, если б и взаправду существовал ад, то он бы давным-давно должен был туда отправиться. Я и говорю матери — мол, ни ада, нирая никакого нет, нам учителька говорила. А она мне — подзатыльник, — скороговоркой выпалил Раджаб-коротышка.

— Нас туда близко не подпустят, — сказал я. По правде говоря, не было у меня ни малейшего желания наблюдать за этим печальным мероприятием.

— А мы придем туда до приезда докторов и спрячемся где-нибудь.

Пардабай поддержал его. Когда мы играли с ребятами в прятки, то часто прятались на кладбище в старых пустых могилах: место удобное, и тот, кто ищет, не всегда осмелится пойти туда в одиночку. Чтоб не отстать от друзей, я согласился. Я отвел корову и коз в стадо, и мы отправились на кладбище. Шли вдоль Кошачьего оврага, получившего свое название оттого, что в нем нашли себе приют дикие кошки. Для того, чтоб на кладбище не заходил скот, оно было обнесено изгородью из колючек. С одной стороны к нему вплотную подступал Кошачий овраг, а с другой — скошенное пшеничное поле. Несколько одичалых собак, рыскавших по кладбищу, завидев нас, кинулись в овраг и скрылись в густых зарослях.

Поджидая приезда врачей, мы взобрались на небольшой холмик. Когда солнце поднялось из-за Ойкора и повисло над вершиной Заманара, к кладбищу со стороны кишлака Барлос подъехала зеленоватая машина с красным крестом на дверце кабины.

Мы мигом скатились с холма и спрятались во рву. Из машины вышли трое в белых халатах, два милиционера, Исрофил и еще какой-то человек в сером костюме. Все, кроме Исрофила, надели противогазы. Затем и Исрофил пошел к машине и вернулся с противогазом. Мы лежали, прижавшись к земле, затаив дыхание.

Наконец они принялись вскрывать могилу. Исрофил,

видимо, расплакался и, сдернув рукой противогаз, вытер глаза.

— Бежим отсюда, не то помрем,— взмолился Пардабай, чуть не плача.

Первым рванул Раджаб, одетый в белую бязевую рубаху и такие же штаны. Мы — за ним. Кто-то из людей, столпившихся у могилы, заметил нас и поднял крик.

Мы пересекли Кошачий овраг и, не оглядываясь, бежали до холма Дуньятепе. Поднявшись на его макушку, без сил упали на траву и опять принялись наблюдать за кладбищем. Исрофил с каким-то человеком уже сбрасывали землю в могилу, остальные столпились у машины...

Мы отправились по домам. Едва я переступил порог, бабушка стала говорить, что напрасно мы не поехали в степь.

— Как только приедет твой отец, чтобы нас проведать, и мы с ним в степь поедем. Только там, где люди от безделья маются, такие неслыханные дела творятся, как у нас. Вот степь — дело другое: работой всласть, отдыхай всласть, а что еще надо? — говорила бабушка, завязывая большой узел; как видно, она уже собрала вещи, которые готовилась взять с собой. Однако, поразмыслив, после паузы добавила: — Однако помни, сынок, скажи своему отцу: ежели вдруг я помру, пусть непременно схоронит меня на нашем кладбище!..

...А в это время на Ойкор падал первый снег. Черневший на фоне гор кишлак наш тоже побелел: белый чистый снег как бы слил его с нашим любимым Ойкором... Снежные вершины сверкали на солнце, осылая светом изумрудные долины, те, что пониже, а с подножия их прохладный ветерок разносил запахи влажных диких трав...



НУРАЛИ КАБУЛ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОРЫ!

Перевод Д. Рубиной Восходит солнце — тебя напоминает,
Восходит луна — тебя напоминает,
Чашобы, скалы, родники.
Я у твоего подножья преклонил колени.

Из народной песни

Глава первая

— Зулайхо, очнешься ты от своих мыслей или нет? Ребята уже за дровами пошли, а ты все не торопишься!

Это мать. С самого утра она возится во дворе, поэтому в голосе ее слышатся усталость и раздражение.

— Иди собери немного дров, хватит у окна сидеть!

Ну вот, так всегда... Мать прерывает ее мысли на самом интересном. Конечно, можно было бы все додумать ночью, но Зулайхо засыпает, едва коснется головой подушки. И в школе нельзя помечтать о своем: там есть над чем ломать голову на уроках. А если задуматься, когда дрова в горах собираешь, то недолго и отстать от всех.

— Гаибназар с ними ушел, Зулайхо!

— Сейча-ас!

Гаибназар — сын Ташбуви-холы, он в этом году заканчивает седьмой класс. Для Зулайхо Гаибназар совсем как старший брат, ведь они выросли вместе и судьбы у них схожи: Гаибназар тоже сирота. Их дома стоят рядышком, на берегу веселого сая — резвой прозрачной речушки, которая начинается на Ойкоре и делит кишлак на две почти равные части. В обоих дворах протекает арык. Сначала он вьется по двору Гаибназара, потом сворачивает влево, во двор Зулайхо. В каждом дворе над арыком растет по карагачу с толстым стволом, с густой, раскидистой кроной. Во дворе Гаибназара под карагачем стоит старая деревянная сури, в жаркие дни соседи любят посидеть на ней, в тени дерева. Во дворе Зулайхо тоже есть низенькая ветхая сури, но, после того как на нее с карагача сползла змея, сидеть там никто не хочет. Только ее мать Энакиз ничего не боится — летом она часами стегает одеяла на сури, и солнечные блики скачут по яркой материи, по цветастому платку на голове матери...

— Не забудь веревку, слышишь, Зулайхо?

— Слышу-у!

Гаибназар старше Зулайхо на два года. Он совсем взрослый и очень сильный, поэтому никто из ребят никогда не посмеет обидеть Зулайхо. И дрова в горах они всегда собирают вместе. Гаибназар не успокоится, пока не наберет для Зулайхо целую вязанку.

— Долго эта девчонка будет возиться?! Горе мне, твои друзья уже до Ойкор дошли!

— Иду, иду! — крикнула Зулайхо и, схватив платок, выбежала во двор, на ходу весело махнув рукой рассерженной Энакиз. — Иду, мамочка!

Она надела платок, чтобы не напекло голову, и помчалась догонять ребят. Зулайхо любила этот скроенный из маминого старого платья платок. Любила, потому что от него всегда пахло матерью. Обычно, когда набиралось прилично дров, она, сложив платок вчетверо и подстелив его под вязанку, несла дрова на голове, не прикасаясь к ним руками. Это очень просто, надо только научиться держать ровно спину и голову. Однажды Гаибназар, утащив из дома платок Ташбуви-холы, попробовал проделать то же, что и Зулайхо. Можно было лопнуть от смеха, глядя, как он тщетно пытался водрузить на голову вязанку дров. Так он смешно балансировал руками и тарасил глаза, пока

наконец дрова не посыпались на землю. Здорово ему, бедняге, тогда влетело от матери за платок...

Странная эта тетя Ташбуви. То она ласковая и приветливая; в такие минуты позовет Зулайхо, сунет ей в руку два-три катышка курта — высушенного соленого творога — и долго смотрит в смущенное лицо девочки. Однажды она сказала ей:

— Аллах даст, станешь моей невесткой...

От стыда Зулайхо чуть сквозь землю не провалилась... Но чаще всего тетя Ташбуви сердится и кричит-причитает, жалуется на судьбу свою, проклинает сына, так что слышно во дворе Зулайхо. Иногда девочка приникнет к щели в заборе и наблюдает, как Ташбуви-хола хлопочет по хозяйству. Громкий раздраженный голос женщины разносится в полуденном воздухе над домами кишлака:

— Гну спину с утра до ночи, а ты растешь бездельником и шалопаем! Посмотрел бы отец, каким вырос его сынок, накажи тебя аллах!

Ну, разве можно говорить такие слова своему родному сыну?! Конечно, тете Ташбуви трудно приходится. После гибели отца Гаибназара она вышла замуж за мельника из соседнего кишлака. Но, видно, судьба у нее такая — вдовья. И второй муж скончался от какой-то болезни, не прожив с тетей Ташбуви и полгода. С тех пор никто ее замуж не брал, за глаза называя Ташбуви Несчастливницей. Казалось, она и сама уверовала в свой тайный злой рок и, находясь в постоянном напряженном ожидании несчастий, не скрывала обиды на жизнь, на соседей, на собственного сына.

Прошлым летом теленок, которого Гаибназар привязал в саду к яблоне, сорвался с веревки и высосал молоко у коровы. Что тут было! Какие только проклятия не сыпались на голову бедного Гаибназара! Зулайхо стояла за забором, и сердце ее сжималось от жалости к другу. Он, молча слушая причитания матери, привязывал теленка под навесом. А тетю Ташбуви его угрюмое молчание лишь сильнее распяляло, и в конце концов она схватила веник с явным намерением проучить мальчика...

Тогда Гаибназар метнулся к калитке и убежал во двор к Зулайхо. Он пробыл у них весь день, потому что боялся возвращаться домой. Вечером Энакиз усадила детей ужинать, Гаибназару налили мучной похлебки в большую деревянную пиалу. Он, оказывается, даже не

обедал в тот день и съел похлебку в один миг, не поднимая от пиалы головы, заедая все кукурузной лепешкой. Он ел, а Зулайхо разглядывала его, потому что в другое время не могла этого делать. Глаза у Гаибназара совсем не похожи ни на чьи другие — по его глазам можно все прочесть. И брови какие-то... необыкновенные. Длинные и густые. Так вот, когда Зулайхо медленно ела, рассматривая Гаибназара, она собственными глазами увидела, как по его лицу скатились две слезинки и капнули прямо в пиалу. Мать за разговором не заметила этого, а Зулайхо поспешно отвела взгляд от лица Гаибназара. Впервые он плакал при ней.

Потом Энакиз постелила курпачи — ватные стеганные одеяла — и уложила детей спать: Гаибназара справа от себя, Зулайхо — слева. Мальчик, сняв с головы тюрбетейку и сунув ее под подушку, бесшумно лег. Зулайхо знала, что он лежит с открытыми глазами. Его тоскливый взгляд был устремлен в окошко, где за мутным стеклом тусклыми светлячками мерцали звезды. Им дела не было до двух детей в маленьком, аллахом забытом горном кишлаке.

— Эх, Гаибджан, мальчик мой... — вздохнув, тихо проговорила Энакиз. — Ты не сердись на маму свою. Бедная она, бедная... Недаром в народе говорят: жена без мужа — что камень, на дороге брошенный. — Мальчик промолчал, но кивнул согласно. — Думаешь, легко ей одной управляться? — продолжала Энакиз. — Сам видишь: из сил она выбивается. Никакой радости в жизни. — В ее сдавленном, дрожащем от слез голосе чувствовалась тоска и горечь и своей одинокой доли. — Постылая, постылая жизнь...

Гаибназар слушал по-прежнему молча, и Энакиз ласково гладила его по голове, убирая со лба густые вьющиеся волосы.

На открытом его лбу стал виден небольшой шрам, тот самый, с прошлого года. Это Гаибназару память о драке с Касымом Бузотером, председателевым сынком. Несносный этот Касым драчлив и заносчив, никогда не упустит случая съязвить, крикнуть какую-нибудь обидную глупость. Вот и тогда весной... Гаибназар и Зулайхо позже обычного погнали скот на пастбище: Энакиз замешкалась, не успела подоить коз, и девочке пришлось ждать, пока мать управится. А Гаибназар никогда без Зулайхо не уходил. Он стоял возле ее калитки и, сдвинув тюрбетейку на затылок, шурясь от

весеннего, но жаркого уже солнца, вычерчивал опущенным кнутовищем замысловатые узоры в пыли. Мимо гнал баранов Касым.

— Э-эй, дрыхнешь, безотцовщина? — крикнул он, щелкая кнутом.— Другие, которые порядочные, шесть раз уже свои стада накормили!

— Придержи язык, Касым! — бледнея, ответил Гаибназар.

— Ты моему языку не хозяин, безотцовщина голоштанная! — еще громче крикнул тот.

Зулайхо видела как они сцепились, как в пыли катался клубок из двух мальчишеских тел. Кнуты валялись тут же, переплетаясь веревками. Девочка с визгом помчалась на улицу разнимать дерущихся, но Касым успел вскочить на ноги и, подобрав небольшой острый камень, бросил его в голову Гаибназара. С лицом, залитым кровью, взбешенный Гаибназар догнал удирающего Касыма, опрокинул его на землю и несколько раз ударил кулаком по лицу. Неизвестно, чем бы кончилась эта драка, если бы со двора, громко ругаясь, с толстым прутом в руках к ним не выбежала Энакиз...

Что творилось, когда Гаибназар домой вернулся,— страшно сказать! Оказывается, прибежала мать Касыма, председательша, и заходила в крике, и сыпала угрозами, и припоминала всех предков Гаибназара, так что те, наверное, на том свете на другой бок перевернулись. Бедная тетя Ташбуви, чего ей только не пришлось выслушать! Понятно, едва Гаибназар появился во дворе, на него обрушились проклятия, которые мать с горечью копила весь день. Не умолкая ни на минуту, Ташбуви-хола достала сажу из казана и, смешав ее с маслом, приложила ко лбу сына. Гаибназар тогда целую неделю ходил с завязанной материнским платком головой. А сейчас вот лишь шрам остался, небольшой, белый, чуть выше левой брови...

Гаибназар говорит: «Сердце без огня, что безжизненная почка на ветке». И кто его таким словам научил? Смешной, он никогда не зовет Зулайхо по имени. Он зовет ее Каракоз — Черноглазая. Каракоз да Каракоз... Ну, разве это имя? А все потому, что глаза у Зулайхо черные-пречерные. Прозвище словно приклеилось к ней. Сначала в школе ей стали кричать «Каракоз!», а теперь уже во всем кишлаке так зовут. Даже мать нет-нет да скажет:

— Каракоз, дочка...— И спохватится и долго потом,

улыбаясь, качает головой.— Вот уж дал имя, негодник! Само на язык просится...

И почему она все время думает о Гаибназаре? Конечно, он добрый и столько хорошего сделал для нее, но все равно — разве можно о нем все время думать?!

...На луну в окне напоззло легкое рваное облачко, и она стала похожа на головку козьего сыра, прогрызенную мышами... Спит мама, спит Гаибназар, на сельском кладбище вечно спит отец. Только Каракоз никак не заснет. В детстве мама убаюкивала ее песнями. Негромко, размеренно звучал ее голос, и песни все были тихие да печальные. Мамин голос — так чудилось девочке — просачивался на свободу сквозь дверные щели, и улетал на кладбище, и вился, вился маленькой птицей над отцовской могилой...

Мать еще в детстве показала ей могилу отца. Небольшой убогий холм виден из мутного окошка их дома. Каракоз могла часами сидеть у этого окна и смотреть на могилы. Иногда она разговаривала с отцом о своих делах, шепотом, конечно, чтоб не слышала мать. Подоконник, гладко отполированный локтями Каракоз, был для нее родным. В скучные зимние вечера, в свободное от домашней работы время она думала об отце, разглядывая замысловатые снежные лапы на стекле. Отец, как рассказывала мать, тоже любил сидеть у окна и смотреть на кладбище и часто с грустью повторял: «Смерть права. Всем нам суждено вернуться в эту землю...»

Мать считает, что Каракоз очень похожа на отца, особенно брови и глаза. Больше всего сходство заметно, когда Каракоз сердится... Ах, как бы она хотела взглянуть на живого отца — хоть на минуточку, хоть краешком глаза! А о нем и не с кем поговорить. Соседи прячут глаза, вздыхают, молчат. Да и мать запретила ей спрашивать об отце.

Каракоз, как ни старалась, так и не смогла вникнуть в смысл этих холодных жестких слов: «Чуждый элемент». Отец никогда не занимал высокой должности, он был просто очень трудолюбив, всегда был занят работой, поэтому даже в самое тяжелое время у них на дастархане хватало хлеба.

Мама говорит, что во всем виноват этот человек — Юсуф-Дум*, председатель кишлачного Совета. Он еще

* Дум — прихвостень, лакей.

в молодости на отца злобу затаил. Верно, острый отцовский язык не давал ему спать спокойно. Рассказывают, что однажды на поминках отец, задетый за живое грубостью Юсуфа-Дума, сказал ему при всех: «Мулла Юсуф, а вы, видать, позабыли, как при царе были начальником налоговщиков? Как русских приставов по кишлаком возили, как охотились с ними в горах на кекликов? Теперь вы главный борец за бедняцкую правду, а? Видать, у Советов грудь широкая, всех вместит?»

Юсуф-Дум промолчал, лишь взгляд его маленьких, глубоко посаженных лисьих глаз жег отца ненавистью. Юсуф-Дум ушел с поминок, ни с кем не прощаясь. Люди качали головами, переговаривались между собой: «Удивляемся мы на Шодмонкула! И охота ему связываться с этим негодяем! Ведь Юсуф и подлость может подстроить бедняге...»

Люди как в воду глядели. Не прошло и месяца — отца забрали, обвинив его в том, что он «возглавил кампанию борьбы против колхозного строя, подрывая авторитет коммунистов-руководителей».

...Вернулся отец иссохший, харкающий кровью, с больными легкими. Он вернулся умирать. Возможно, отцу суждено было умереть молодым. Если так, то все-таки хорошо, говорит мать, что он умер дома, а не в чужих холодных краях, что лежит в родной земле и из окна собственного дома видна его могила...

Прежде Каракоз часто думала: «Если б не родился на свет этот проклятый Юсуф, не была б я сиротой. И как это аллах позволяет ходить по земле таким извергам?.. — Она облакачивалась на подоконник и мысленно укоряла отца: — Ну зачем, зачем вы сказали ему те слова? Почему не сдержались? Ведь знали же вы, отец, что это за человек! Нозик-мома говорила о нем: «Юсуфу-Думу и духовный отец не станет другом, никто не угадает, что затевает он в своем черном сердце...»

Сидишь так, сидишь у окна и не заметишь, как уснешь. А мама шьет что-то и напевает. И ее негромкий голос ласково овеивает склоненную во сне голову Каракоз, ее пушистые ресницы. То ли наяву звучит мамин голос, то ли во сне. И представляется он маленькой тоскливой птицей, что вьется без устали над отцовской могилой.

Даст ли тень в знойный полдень
высохшее дерево!

Приласкает ли прохожий
одинокую сироту!
Пусть я буду тенью
от высохшего дерева,
Пусть я буду лаской
для одинокой сироты.

Глава вторая

Тетушка Энакиз порой вздохнет тихонько: «У кого нет сына, у того нет счастья». А Мать Гаибназара частенько ворчит: «Нет дочери — нет близкого человека...» Обе они, наверное, правы.

Гаибназар любит мать, хоть ему нередко от нее попадает в пылу раздражения. Но даже в такие минуты душа его наполняется жалостью к ней. Поскорей бы стать совсем взрослым, зарабатывать на жизнь, так чтобы мать ни в чем не нуждалась и успокоилась наконец, рассталась со своей вечной тоской о несбывшемся счастье. Он бы помогал и тете Энакиз с Каракоз. Ведь ближе у него никого нет.

Недавно бригадир Сулайман-ака пообещал:

— Поговорю-ка я с председателем колхоза, пусть поставит тебя учетчиком в мою бригаду.

Вот будет здорово, если это получится! В счетном деле Гаибназар понимает хорошо, он бы справился.

По вечерам его мать исподволь заводит разговоры, от которых замирает сердце и пьянящее тепло разливается по телу.

— Тебе сейчас надо подыскать работу получше,— говорит мать,— скоро деньги понадобятся. Не сегодня завтра женишься. Калым, да свадебные расходы, да приданое для невесты — ох, деньги, деньги...— Она качает головой и бормочет что-то про себя, еле слышно.

В этом году Каракоз заканчивает седьмой класс. Она постарше своих одноклассников, и, когда все ребята гурьбой возвращаются из школы, Каракоз можно узнать издали: она и ростом повыше, и походка у нее иная, чем у других девочек,— походка взрослеющей девушки.

Перед началом учебного года Гаибназар, как всегда, отдал свои учебники Каракоз. «В последний раз,— подумал он,— вот и выросли...» И твердый комок застрял у него в горле, и почему-то он долго не мог сглотнуть его.

В тот день Гаибназар волновался так потому, что впервые принес Каракоз подарок. За этим маково-алым платком он ездил специально в район. Но дело было не в самом платке. В один из четырех уголков он завязал небольшой клочок бумаги, над которым просидел полночи. И теперь Гаибназара волновало единственное: заметит Каракоз узелок на память или придется показать ей на него самому?

Когда Каракоз взяла в руки подарок, щеки ее заалели поярче, чем сам платочек. Впервые в жизни она приняла подарок. Смущенно-радостно улыбаясь, Каракоз развернула платок, раскинула его на коленях, разгладила.

— Ой, смотри! — она заметила узелок.

Гаибназар вспыхнул и, не зная, куда деваться, забормотал:

— Как бы там... теленок... не отвязался... — и пулей выскочил во двор.

Чернее черного твои глаза,
Мучают мое сердце.
Пушистые твои ресницы
Не скроют этих глаз...

Еще не до конца понимая смысл бесхитростных строк, она почувствовала, что они гораздо дороже для нее, чем платочек. Несколько минут Каракоз в оцепенении смотрела на четверостишие, написанное рукой Гаибназара, и вдруг вскочила и поспешно спрятала бесценный клочок бумаги среди книг.

С чего это он решил написать стихи? Неужели сам сочинил? Неужели... влюбился?! Любвы! Нет, даже думать неловко. Интересно, у всех ли она бывает? И сколько раз за всю жизнь может любить человек? Вот, например, покойный мулла Намаз-бай женился четыре раза. Значит, его бедное сердце в ожиревшем туловище было переполнено любовью ко всем женщинам!..

Бедняга Гаибназар, ведь это нелегко: любить кого-нибудь. Недаром он красный, как первый весенний мак, выбежал за калитку — якобы на теленка взглянуть. Какие могут быть телята в голове у влюбленного человека?..

А она сама? Почему она так часто думает о Гаибназаре? Конечно, он нравится ей, нравится больше других. Но можно ли это назвать любовью? Конечно, нет!

Любовь, наверное, совсем не такая. Во всех сказках, во всех легендах влюбленные гуляют в весенних садах, среди цветов, они побеждают чары злых волшебниц, им напевают райские песни звонкоголосые птицы... А Каракоз с Гаибназаром что? Дрова собирают, овец пасут — ну, какая это любовь!..

Но в горах тоже здорово. Если подняться на Коккутан и громко крикнуть: «Здравствуйте, го-о-ры! Мы пришли-и-и!», то горы в ответ прогрохочут: «Добро пожалова-ать!»

— Эй, Каракоз! Держи его, держи! Полюбуйся на этого беспризорного, он с привязи сорвался! Да лови же его, проклятого!

Каракоз, размечтавшись, не сразу выбежала на крик матери. Козленок отвязался, нашел козу и вволю насосался молока. И теперь весело гонял по двору, не давая схватить себя.

— Проклятье, разрази тебя гром! Остались без вечернего молока...— Энакиз, измученная ловлей маленького преступника, тяжело дышавшая, с разлохмаченной седой головой, растерянно смотрела на дочь.— А я хотела отнести молочную кашу дочери Мехри-холы, она родила недавно... Как на грех, мука кончилась, а то бы приготовила мучную похлебку...

— Может, попробовать подоить? — сказала Каракоз.— Авось хватит на кашу. Где посуда?

Она не доила козу с прошлого года, и руки ее отвыкли от сосков. Тот год был засушливый, жаркий. Однажды утром Каракоз, как всегда, подоила козу и, перед тем как погнать ее на пастбище, крепко завязала вымя. Вечером коза примчалась домой. Рогами распахнув на бегу ветхую калитку, она то бросалась в арык, стараясь погрузить вымя в воду, то судорожно выскакивала и терлась им о землю. Когда встревоженная девочка подбежала к козе, сердце ее замерло в испуге: два варана величиной с ладонь присосались к вымени козы.

— Неси скорее щипцы для углей и положи их на очаг! — крикнула мать.— Тысячу раз говорила тебе: завязывай крепче вымя!

Коза каталась по земле, жалобно бляя. Раскаленными щипцами мать отодрала присосавшихся к вымени варанов. Изо рта у ящериц брызнуло молоко. Каракоз

поспешно отвернулась, чтобы не стошнило. После этого случая они чуть ли не месяц выливали надоенное молоко, а для козленка брали молоко у козы тети Ташбуви.

С тех пор Каракоз никак не могла заставить себя подойти к козе. Но сейчас мать выглядела такой расстроенной и уставшей, что девушка пересилила себя и принялась доить.

Соски козы стали крепкими — так всегда бывает после того, как вараны сосут молоко. Коза стояла покорно и глядела на Каракоз совсем человеческими добрыми глазами, будто извиняясь за то, что не смогла уберечь молоко от собственного козленка. Соски ее покраснели, молоко из вымени даже не капало. Вздохнув, Каракоз покачала головой и, сполоснув холодной водой вымя козы, бросила ей в кормушку очистки...

С тех пор как Гаибназара взяли учетчиком в зерноводческую бригаду, дела обеих семей стали поправляться. В этот сезон он выписал Энакиз-хола заработок сполна. Обрадованная женщина взяла у колхоза десять пудов пшеницы. Да еще пуда два зерна осталось от прошлого урожая. Аллах даст, со всем этим они дотянут до будущей жатвы. К тому же Энакиз продавала на базаре кислое молоко, и тогда у них появились деньги на полкилограмма, а то и килограмм мяса и на сахар.

Каракоз не любила ходить на базар. Стеснялась. Бывало, возвращаясь из школы и увидев мать, идущую с базара, она замедляла шаги и отставала. Ей было стыдно. Казалось, кто-нибудь из сверстников-забияк назовет сейчас ее мать торговкой.

Все чаще Ташбуви-хола заговаривала о том, что заработки у Гаибназара стали приличными, что он совсем взрослый и серьезный парень, что пора его, должно быть, женить. Каждый раз, едва Ташбуви-хола заводила об этом разговор, Каракоз внутренне напрягалась, лицо ее делалось непроницаемым, глаза прятались под опущенными ресницами. Она быстро и неслышно выходила из комнаты и потом несколько дней избегала встреч с Гаибназаром... Дни шли, а четыре строки его стихотворения оставались без ответа. Каракоз была в смятении. Все валилось у нее из рук, все чаще она задумывалась так, что не отзывалась на оклики матери.

— Каракоз, проснись! На ходу засыпаешь! — сердилась мать. Она не знала, что творилось в душе дочери.

Сколько ни придумывала Каракоз, как ответить на стихи Гаибназара, ничего не получалось. Наверное, она такая глупая и совсем еще маленькая, раз не может достойно ответить парню. Конечно, Гаибназар окончил семилетку, он взрослый и уже самостоятельный. Даже Ташбуви-хола стала относиться к сыну иначе — не кричит, не проклиняет судьбу. А что Каракоз? Школьница...

Самым неприятным было то, что с недавнего времени к ним в дом зачастила Мастон-хола, жена маминного брата Самандара. За высокомерный и вздорный характер в кишлаке его звали Самандар Холодный. Каракоз опасалась, что Мастон-хола повадилась к ним неспроста: уже давно она подыскивала невесту своему сыну Камариддину. Заговаривала тетя Мастон издали, похваливала сына, расписывала, как хорошо и сытно будет ее будущей невестке в доме Камариддина. Наконец в один прекрасный день она выложила все начистоту.

— У вас единственная дочь, Энакиз! — Полное лицо Мастон-холы расплылось в лучезарной улыбке так, что глаза превратились в щелки. Такие щелки-бойницы на сторожевой башне, бойницы, за которыми затаилась опасность.— Общими руками мы берем ее у вас. Захотите — отдадите и не захотите — отдадите. Лучше нам провалиться, чем искать невест по чужим дворам, когда в своем же роду такая красавица подросла!

Каракоз в это время в прихожей снимала с гвоздя под потолком связку сушеного перца для мясного супа. Услышав эти слова, она едва не свалилась с сундука, на который встала, чтобы дотянуться до перца. Ей захотелось выбежать во двор, броситься в дом Гаибназара, спрятаться там, но девушка пересилила себя и замерла, прислушиваясь к ответу матери.

— Что вы, милая Мастоной, Каракоз совсем еще девочка,— донесся из комнаты сдержанный голос матери.— Пусть школу окончит, а там видно будет...

— Я надеюсь, это не отказ, милая Энакиз, а только отсрочка? У вас единственный брат, не годится портить с ним отношения. Единственный дядя у Каракоз. Недаром говорят: один дядька семерых отцов заменит... Не отказывайте нам. Да не радуются наши враги!

— Каракоз еще слишком молода, — повторила мать.— А женихи... Что ж, женихов много, но мужа надо выбирать одного. Пусть у сердца своего спрашивает. У меня одна дочь, я хочу ей счастья...

В комнате повисла напряженная пауза. Потом ста-

до слышно, как зевнула Мастоно-хола и небрежно, словно невзначай, заметила:

— Говорят, сын Ташбуви Несчастливицы поглядывает на вашу дочь? Как бы чего не случилось, милая. Знаете, как оно бывает... А потом приходится пенять на себя...

— Что вы, Мастоной! — воскликнула мать возмущенно.— Если кто-то и болтает глупости, то вам уж такие слова не к лицу! Сын моей соседки смиренный как барашек!

— Как барашек смиренный или как козел, мне нет до этого дела... Я говорю: пеняйте потом на себя. Проморгаете, а кому будет нужен подержанный товар?

Каракоз, глотая слезы, выскочила во двор и забежала в ветхий сарай, где у них хранились дрова. Опустившись на чурбан для колки дров, она зарыдала уже открыто. И, как это часто бывало, в горьком тумане заплаканных глаз сначала смутно, потом все ясней проступило лицо отца, каким она его себе представляла.

«Вот видите, отец, каково нам живется... Нет в доме мужчины — и любой может обидеть нас. Если бы тогда вы сдержали себя и промолчали, не вывел бы вас в «чуждые элементы» этот проклятый Юсуф-Дум...»

И по обыкновению, отец вначале молчит, грустно опустив голову, потом негромко и ласково отвечает ей:

«Что поделаешь, дочка, говорить правду — у нас в крови».

«И вы не пожалели нас с мамой?.. Были бы вы живы, разве посмела бы эта Мастоно обидеть маму? Прежде она и по праздникам к нам не заглядывала, а теперь явилась: отдайте дочь за нашего распрекрасного сына. За дубину эту, за Камариддина!»

«Не огорчайся, дитя мое. Будь терпелива. Если вначале судьба немилостива к человеку, то в конце обязательно ниспошлет удачу...»

Зыбкое лицо отца печально, вот-вот растает, исчезнет, и Зулайхо ловит каждое его слово, жадно вглядываясь в дорогое видение.

«Я ведь тоже рос сиротой, дитя мое. Наверное, на роду у нас это написано... Не печалься. Кто поднимает руку на безвинного, не остается безнаказанным в этом мире».

«А знаете, отец, на наше счастье, соседи очень помогают нам. Тетушка Ташбуви и... у нее сын... Гаибназар, мы друзья...»

«Что ж, солома из рук близкого лучше, чем зерно из чужих рук. Лучше хороший сосед, чем плохой родственник».

«Мама говорит, что мои глаза похожи на ваши, отец. Поэтому если я иду по улице, то широко-широко открываю их: пусть видят все — я ваша дочь! А однажды на мельнице, когда относила мешок с зерном, я слышала, что бригадир Сулайман сказал своему спутнику: «Посмотри, как дочь Шодмонкула похожа на него!» А тот вздохнул в ответ: «Хорошие люди долго не живут. Пропал, бедняга, ни за что». Я ждала, чтобы они еще что-нибудь сказали о вас, отец, но они взвалили на спины мешки с мукой и ушли...»

«Пусть всю мою жизнь аллах отдаст тебе и твоим детям, дитя мое».

«Но неужели правда, что хорошие люди долго не живут?»

«Хорошие люди всегда бывают безоружными, поэтому быстро находит их пуля, поэтому быстро ранит их душу каждое горькое слово, доченька. Что бы там ни было, от плохого человека остается плохая память, от хорошего — хорошая. Старайся быть достойным человеком».

«Я верю, что обязательно встречу с вами, отец! И бабушка Нозик мне говорила об этом. Еще она сказала, что каждый человек родится снова через семь или четырнадцать поколений. И если в первой жизни он жил мало, то во второй непременно доживет до старости, и если в первой жизни был несчастлив, то во второй ему обязательно посчастливится. Бабушка Нозик сказала, что во втором рождении я не буду сиротой. А у вас, отец, родится много детей! Так она сказала, Нозик-мама, и я ей верю, потому что за свою долгую жизнь она никогда не обманывала».

«Правда, дитя мое, правда, я знал Нозик-мому еще мальчишкой, и мне она рассказывала все это...»

...Пронзительно-визгливый голос Мاستон-холы проник в сарай:

— Да провались ты вместе со своей строптивой дочерью! Нищему бродяге отдай, прокаженному отдай — делай, что хочешь! Чтоб ты светлого дня не видела, чтоб твоя неблагодарность против тебя и обернулась! Самандар тебе не брат, ты ему не сестра! Попробуй еще прийти к нам с какой-нибудь просьбой!

Хлопнула калитка, и некоторое время, пока Мастон-

хола шла вдоль их забора, проклятья еще слышны были во дворе.

Энакиз, сидя на пороге, плакала. У ее ног лежал вечно голодный, но неунывающий пес Олапар и, поминутно поднимая голову, смотрел в сторону сарая.

Каракоз вышла, медленно опустилась возле матери и обняла ее за шею... Тихо было во дворе, лишь на сломанной ветке старого абрикоса поддакивал чему-то угод. Мать плакала безутешно, и столько было в ее слезах горькой обиды — не на скандальную Мастоу, а на свою судьбу, — что успокаивать ее казалось делом бесполезным. Каракоз только прижалась к матери крепче и тоже заплакала.

Они просидели так долго, пока солнце не скрылось за вершинами Ойкора. С гор стали возвращаться сборщики дров. Вот за жердями изгороди появился серенький ослик Гаибназара. Энакиз поспешно поднялась и, взяв кувшин, подошла к арычку. Калитка открылась, и во двор, приветливо улыбаясь, шагнул Гаибназар с большой вязанкой дров.

Но, увидев тетушку Энакиз, умывающую над арыком заплаканное лицо, взглянув на застывшую на пороге Каракоз, он остановился как вкопанный. Каракоз вскочила и бросилась в дом. Гаибназар, свалив на землю дрова, пошел за ней. Тихо сел рядом, осторожно повернул к себе ее заплаканное лицо.

— Что случилось, Каракоз? Кто обидел вас?

Она молча ткнулась лицом в его рубашку, пахнущую полевыми травами и потом.

— Я никому не дам тебя в обиду. Скажи мне, Каракоз, кто посмел? Скажи!

Но она лишь покачала головой и тихо утирала слезы краешком платка, подаренного ей Гаибназаром. И не было у него слов, чтоб утешить ее, успокоить, а было только сердце, нежно любящее ее, и руки, готовые заслонить ее от всех горестей на свете...

Глава третья

Перед новым сезоном Гаибназара сняли с должности учетчика. Может, провинился в чем-то — говорят, кто не работает, тот не ошибается... Бригадир Сулайман-ака вначале плечами пожимал, но после того как

поговорил с председателем колхоза, объяснил Гаибназару хмуро, нехотя:

— Что за люди, ей-богу! Не спится им спокойно, если у кого-то дела идут на лад... Ну, Юсуф-Дум, этот — понятно! Он свой поганый нос в каждый дом сунет, где плов готовят. Но Самандар Холодный-то чего на тебя взъелся?.. — Он еще раз пожал плечами и добавил: — И тот и другой в один голос: «Сопляк он еще, молоко у него на губах не обсохло — людям зарботки подсчитывать. Поговорите с каждым — люди недовольны им». А председатель что! Он к аксакалам прислушивается.

Дома Гаибназар сказал матери:

— Ничего, так даже лучше. Теперь примусь за настоящее дело.

Ташбуви вздохнула, нагнулась над шитьем, перекусила нитку и проговорила невесело:

— Из кожи вон не лезь. Люди найдут за что выбрать. Все равно никто спасибо не скажет.

Сулайман-ака, который относился к парню с симпатией, взял его в свою бригаду косарем. И Гаибназар вздохнул свободно. Ему нравилось выходить из дому еще затемно и приходить поздно, нравилось даже, что к вечеру тело, налитое усталостью, казалось многопудовым, и плохо слушались руки, и разламывалась спина. Любовь ко всему, что связано с зерном, с хлебом, с тяжелым трудом, жила в нем давно, может, с детства, с того жаркого, иссушающего все живое лета...

Мальчику шел тогда одиннадцатый год. Время было голодное: второе неурожайное лето свело на нет все запасы в каждой семье. Гаибназар с матерью голодали. Через день Ташбуви плелась на базар продавать свежее или кислое молоко и на вырученные гроши покупала немного ячменной муки, которой хватало лишь на жидкую похлебку. В тот год не было дня, чтобы они наелись досыта. Мать вообще чудом дотянула до весны, ведь часто она почти насильно заставляла сына съесть ее долю. Гаибназар глотал куски грубой, жесткой лепешки, давясь слезами, боясь поднять глаза на мать. В те жуткие месяцы она ни разу не крикнула на сына: то ли сил не было, то ли, страшась смерти, не хотела оставлять о себе плохую память.

Вечерами, чтобы хоть немного развеселить голодного сына, она рассказывала ему сказки. Сказок мать

знала немного, поэтому каждая повторялась в неделю по несколько раз. Особенно волновала воображение мальчика сказка о богатыре Эрдан-чукки. И когда мать заплетающимся от слабости языком, еле слышно напевала песню колдуньи, Гаибназар, в ужасе зажмурившись, представлял себе жуткую старуху — одноглазую, с зубами как пила, с жуткими руками-крючьями. Ослабевшая от недоедания мать путала слова, умолкала, снова начинала рассказывать, забыв, на каком месте остановилась. И тогда, не желая мучить ее, мальчик притворялся спящим. Мать тоже вскоре засыпала, бормоча молитвы бесцветным, однообразным шепотом, а перед его взором, необыкновенно живая и зловещая, вращая красным воспаленным глазом, лязгая зубами-пилами, вставала колдунья и, похохатывая, потирая руки, принималась петь:

Дома ли Эрдан-чукки?
Сосновая палка в руках ли?
Алмазный меч на поясе?

Они с трудом дожили до весны. Перед жатвой мать пошла кланяться бригадиру Маткабилу.

Дома у Маткабила застала его жену Барчин. Она встретила Ташбуви неожиданно приветливо:

— Заходите, Ташбуви, давно не видела вас! Как сынок, как поживаете?

Может, чуяла хваткая Барчин: Ташбуви отдаст все, что у нее осталось, и саму себя в придачу, лишь бы ее мальчик больше не голодал.

— Плохо, милая, едва не умерли мы зимой от голода,— поделилась Ташбуви, пытаясь разжалобить жену бригадира.— Если сейчас, летом, не накопим хоть немного зерна, положение наше совсем будет плачевным. Я слышала, детей берут на молотьбу?

— Как сказать...— замялась Барчин.— Знаете, каждый хочет своего сунуть.

— Милочка Барчиной, моему двенадцать исполняется,— горячо заговорила Ташбуви, прибавив сыну на всякий случай год.— Вот пришла я просить Маткабилджана, чтоб взял моего. Замолвите словечко, родная.

— Ох, Ташбуви, не знаю, что и сказать вам. У моего хозяина голова кругом идет. Вчера четверым отказал. У всех подсушил силы этот проклятый голод. Каждый бы хотел, чтоб и дети подработали на зиму.

Отчаявшаяся Ташбуви готова была встать на колени перед женой Маткабила.

— Все ваши болезни пусть станут моими, Барчиной! Одно ваше слово! Сколько слез я пролила, прежде чем прийти к вашему порогу! Скажите мужу: на любую работу согласна. А я для вас все сделаю, что ни скажете.

— Ладно, — вздохнула Барчин, сдаваясь. — Попрошу. Может, не откажет. В этом мире нужно помогать друг другу.

Правда, это «может, не откажет» обошлось недешево. Пять месяцев Ташбуви сучила нитки для Барчин. Как говорится, за все на этом свете надо платить. Ташбуви сучила нитки и благословляла судьбу.

Рано утром бригадир Маткабил, посадив Гаибназара на свою лошадь позади себя, повез его на поле. Главный на току Шербута-ака, приземистый плотный мужчина с крючковатым носом и маленькими юркими глазами, подвел мальчика к худой кляче грязно-гнедой масти и велел садиться.

Радости Гаибназара не было предела. Солнце весело палило с синего-пресинего неба, вдали вздымались бело-голубые вершины Ойкора, пахло травами, лошадиным потом, близкой речной водой... Но ближе к полудню радость мальчика стала меркнуть. Голову напекло, и она кружилась, пот стекал со лба и пощипывал веки, спина болела. Взрослые мужчины, сдвинув арбы, сели обедать в тени деревьев. Дети же без разрешения Шербуты-ака не имели права слезать с лошади. Гаибназару уже хотелось соскочить скорее с этой гнедой клячи, которая плохо слушалась, и бежать без оглядки в кишлак, к матери, но, вспомнив мать и ее взгляд, каким утром она провожала его на работу, мальчик сдержался.

Наконец Шербута-ака встал и, вытирая ладонью измазанные жиром и айраном губы, крикнул ребятам:

— Выводите лошадей на водопо-ой!

Перед тем как напоить лошадей, измученные, опаленные до черноты солнцем дети выстроились цепочкой за своей долей: повар давал каждому по половине кукурузной лепешки и куску мяса. Гаибназар пристроился сзади, последним — он работал здесь первый день и сильно робел и перед взрослыми, и перед ребятами постарше. Голодный, с блестящим от пота лицом, он стоял и, облизывая шершавым языком сухие, потрескавшиеся губы, жадно следил за сноровистыми руками повара: раз! — пол-лепешки и на ней, сверху, кусок мяса;

два! — пол-лепешки, кусок мяса; три! — пол-лепешки, кусок мяса...

— Вай, беда, не хватило тебе мяса...— Дородный повар Саттар-ака разводил руками и сокрушенно тряс головой. Гаибназар поднял на него глаза и увидел только темное пятно полного лица и покачивание — туда-сюда — тюбетейки, обвязанной выцветшим поясным платком.— Не повезло, пострел! Ну, не расстраивайся, завтра получишь побольше.—И протянул ему горсть нарезанного лука, оставшегося от обеда взрослых. — Напоите лошадей и заодно сами напейтесь! — крикнул он детям.— Наша вода нагрелась на солнце!

Некоторые ребята съели свою долю еще на полпути к речке. Гаибназар достал из-за пазухи кусок лепешки, вдохнул ее сытный кукурузный запах и, сглотив слюну, откусил первый кусок.

И тут он опять вспомнил лицо матери — худое, с резко выпирающими скулами, с отвисающими морщинистыми мешками под глазами,— вспомнил ее слова: «Сынок, бережно относись к хлебу. Дадут побольше — спрячь лишний кусочек...»

Он быстро разжевал и проглотил кусок. Что и говорить, эта половина лепешки совсем не казалась ему лишней. И даже если к ней прибавить еще половину... Гаибназар вздохнул, отломил от своей доли небольшой кусок и быстро, плохо разжевывая, съел его. Остальное он сунул за пазуху, чтобы не видеть. Потому что, когда видишь хлеб, совершенно невозможно удержаться и не откусить кусочек.

Речка, к которой они пришли, извиваясь и обегая большие черно-серые валуны, текла, почти скрытая от глаз густыми зарослями камыша. Называлась она Сирлисай — Таинственная река. Нозик-мома рассказывала, будто в древности семь дочерей падишаха как-то отправились на прогулку. Дело было весной. Дочери падишаха восседали на паланкинах и сверху взирали на бело-лиловые сады предгорных селений, на багрово цветущие маковые поля, на согнутые плечи рабов, несущих паланкины. Путь им преградила эта речка — Сирлисай. Впрочем, в те незапамятные времена это, может, и не речка была, а настоящая река — широкая, быстрая, с ревом подмывающая глинистые берега. Надо было повернуть назад, но дочери падишаха в один голос повелели перебраться на противоположный берег. Время давнее, дело темное — то ли рабы виновато

ты, то ли слишком быстрое течение коварной речки, только утонули все дочери падишаха, все семь, как одна. Так легенда говорит, а в этих краях легенда — сушая правда. С тех пор и называли люди речку Сир-лисаем. Днем-то она безобидная, прозрачно-бирюзовая, а вот ночью мало кто отважится прийти к этим камышам. Вдруг схватит за халат какая-нибудь дочь падишаха да утащит к себе под воду, хохоча и лаская утопленника...

Ребята с громкими криками, играя, переругиваясь, завели лошадей в реку. Гаибназар пошел с гнедым подалее, чуть выше по течению, где еще не успели замутить чистую холодную ледниковую воду. Здесь было тихо, только посвиркивали в камышинках крошечные юркие птички, названия которых не знал никто. Шагах в тридцати от мальчика, прижавшись к земле, внимательно следила за птичками лиса. Она и не пыталась броситься за какой-нибудь — видно, по опыту знала, что обречена на неудачу, — слишком проворны были серые крохи, — но не уходила, лежала в камышах неподвижно, напряженно. Так безмятежно и ровно шумела речная вода, так беззаботно чирикали речные птички, что мальчик совсем забыл о кабанах, которые часто появлялись здесь, отпугивая проходящих на водопой животных, взбаламучивая воду.

Гнедой пил медленно, спокойно, мерными глотками. Гаибназар напился тоже. Он еще не поднялся с колен, только повернул голову, проверяя, здесь ли утренняя рыжуха или удрала, разочарованная, прищурился и оцепенел: прямо на него угрюмо уставился серыми глазками большой кабан на другом берегу речки. Еще секунда — и он ринулся тяжело и мощно прямо наперерез лошади. Не помня себя от страха, Гаибназар кинулся в сторону, откуда были слышны голоса мальчишек. Он взбежал на пригорок, увидел купающихся ребят и упал обессиленный. Гаибназар уже понял, что кабан вовсе и не преследовал его, но от пережитого ужаса колотило в горячке его маленькое тело и он не мог подняться. Ребята окружили его, помогли встать и посадили на чью-то лошадь. Гнедой исчез.

— Ничего, он на ток вернется, — сказал один из мальчишек. — Этот гнедой однажды уже сбросил Мурадилло. Его всегда подсовывают тому, кто в первый раз приходит.

— А ты счастливчик, Гаибджан, — заметил другой. —

От верной смерти спасся. Будешь теперь жить до ста лет. Интересно, что бы ты делал, если б кабан на тебя напал?

Все удивлялись везучести Гаибназара, а он вдруг вспомнил про оставшийся кусок лепешки, хлопнул себя ладонью по рубашке на животе и понял, что потерял хлеб. Он слез с лошади, огляделся вокруг, думая, что обронил его, когда упал. Но тщетно — хлеба нигде не было. Ребята молчали, отворачиваясь от Гаибназара, пряча глаза.

Подъезжая к току, он увидел гнедого. Тот жадно и сосредоточенно поедал еще не обмолоченное зерно.

— Чья лошадь?! Заберите! — крикнул кто-то из взрослых. Это был Бердимурад, рослый и широкоплечий богатырь — его мускулами восхищалась вся киш-лачная детвора.

Гаибназар, поспешно соскочив с лошади, бросился к гнедому.

— Так это твоя лошадь, бездельник?! Не успел начать работать, как уже отличился! — продолжал шуметь Бердимурад.

— Гнедой испугался кабана, там, у речки... и... убежал,— торопясь, запинаясь, объяснил мальчик.

— Молчал бы, не оправдывался! Взятся работать — работай, а то скажу Шербуте, выгонят тебя отсюда в три шеи! — И добавил сварливо: — В отца пошел, такой же простофиля...

Гаибназар онемел на миг от жгучей обиды, от ярости и желания немедленно ударить этого человека, посмеявшего оскорбить память отца. А Бердимурад как ни в чем не бывало играючи орудовал лопатой, перебрасывая зерно. На солнце блестели его литые мускулистые руки и великолепная спина.

— Что вам сделал мой отец?! — выдавил мальчик, побелев.

— Ах, да у тебя язычок подрос! — возмутился Бердимурад.

— Э-э, Бердимурад, зачем говорить об умершем? Разговаривай о живых, если голова у тебя на месте,— подал голос работающий тут же Дустмурад-бобо*. Он скручивал солому, его проворные сухие старческие руки двигались, как заведенные, и казалось, что Дустмурад-бобо сам по себе, а его руки скручивают солому сами

* Бобо — дедушка.

по себе, независимо от хозяина.— Зачем обижать сироту? Добра тебе за это не будет...

Бердимурад промолчал на слова старика. Вот интересно: никто не может возразить этому человеку или отказать ему в чем-то. И бригадир, и председатель колхоза поддакивают ему и слушают его совета...

Вечерело. Гаибназар, уставший от всех происшествий, двигался почти машинально и даже не обрадовался по-настоящему, когда кончили работу. Он сидел на нагретой за день земле и смотрел на спящие под снегом вершины Ойкора. Никогда он не тает, этот снег. Даже в саратан — самую жаркую пору лета. Гаибназар знал это хорошо, потому что не раз, когда приходил в горы за дровами, видел, как бушевал здесь снежный буран. Старики говорят: если на Ойкоре растает весь снег, то плохо придется людям — наступит засуха и голод.

Ночь опустилась быстро и неожиданно — солнце окунулось за вершины Ойкора, стремительно стало меркнуть небо, и вскоре совсем потемнело, как давно нечищенный медный кумган. Почти все работники ушли домой в кишлак. А Гаибназар решил остаться вместе с братьями-близнецами Хасаном и Хусаном. Они потеряли родителей давно, еще в младенчестве, и жили у дальних родственников, где их, видно, особенно не ждали.

Взошла круглая ленивая луна — повелительница ночного неба, поплыла в облачной сизой дымке неторопливо, осторожно, словно боялась напороться на острые пики Ойкора. Несколько человек на току уже заканчивали просеивать зерно. Движения их уставших за день рук были замедленны, как движения луны навстречу вершинам гор, и от этого фигуры людей казались призрачными.

Поужинав, все вскоре уснули, завернувшись в халаты. У кого халатов не было — устраивались в солеме.

— Эй, Гаибназар, пойдем, у нас вырыты норы,— предложил Хасан.

— Норы?! — удивился, не поняв, Гаибназар.

— Ну да, вон там,— и он кивнул в сторону стогов. Действительно, в одном стогу были вырыты две норы, в них и устраивались на ночлег ребята.

— А я, — сказал Гаибназар,— вырою себе нору наверху, чтоб видеть горы...

— Замерзнешь,— заметил Хасан. Они с братом похожи как две капли воды, только у Хасана была привычка беспрестанно быстро-быстро моргать глазами.— Ты лучше ложись с нами. Если эти норы рыть без конца, весь стог развалится.

— Верно,— поддержал его Хусан,— ложись у нас в ногах, под голову подложи седло...

Наработавшись за день, мальчики быстро уснули. Но посреди ночи Гаибназар вдруг открыл глаза, словно его окликнули или потянули за руку. Совсем рядом за стогом кто-то шептался. Гаибназар замер и с трудом удержался от того, чтобы не дернуть за ногу лежащего рядом Хусана. Три черные фигуры возились у стога с чем-то большим, тяжелым. «Мешок,— подумал Гаибназар,— они вырыли его из стога. Вот еще один...»

Он узнал всех троих. Это были Бердимурад, двигавшийся мягко и бесшумно, как рысь, дядя Маткабил и любимый Гаибназаром Дустмурад-бобо.

«Вот те на, тоже ворует государственное?»

Дядя Маткабил, чувствовалось, здорово боялся. Он командовал отрывистым истерическим шепотом и нервничал, злясь, что его товарищи так неповоротливы. Наконец мешки взвалили на двух ишаков, безразлично стоявших неподалеку, и погнали животных в сторону дороги. Это была дорога на кишлак.

Гаибназар долго пытался заснуть и не мог: перед глазами все маячили эти трое. Лишь когда предрассветная сырость стала забираться в самое, казалось, нутро, он зарылся еще глубже в сено, поверочался немного и задремал.

Все утро за работой он думал о том, что нечаянно увидел ночью. Он старался не смотреть на Дустмурада-бобо и, когда тот спрашивал о чем-то, отвечал коротко, неохотно, опустив голову. Наверное, поэтому тот заподозрил неладное. Он отозвал Гаибназара в сторону и, ласково потрепав по плечу, спросил:

— Ты почему такой хмурый сегодня? Не заболел?

— Нет, ничего...— пожал плечами Гаибназар, глядя себе под ноги.

Тогда старик, положив на голову мальчугана большую, выдубленную солнцем руку со вздутыми суставами, осторожно повернул к себе его лицо.

— Ты видел?...— тихо спросил он, и Гаибназар ощутил, как на его бритой колючей голове подрагивает рука Дустмурада-бобо.

Мальчик молча кивнул и заставил себя взглянуть в глаза старика. Стыд, мучительный стыд, смешанный с паническим страхом перед разоблачением, был в этих старческих, выцветших, когда-то, должно быть, карих, а теперь неопределенного цвета глазах.

— Не смог отказаться...— с трудом сказал он сдавленным голосом. — Они пообещали, что и мне дадут мешок...— И умоляюще, словно этот мальчуган, стоящий перед ним, сирота, бедняк, был его судьей и обвинителем, воскликнул: — Что мне оставалось, Гаибджан? Двое детей у меня умерли зимой, ты же знаешь. Не могу смотреть, как дети мучаются! Ну, что делать, что делать?!

— Успокойтесь, Дустмурад-бобо... — выдавил Гаибназар, чувствуя жалость к старику.— Я никому не расскажу...

— Дай аллах тебе счастья, сынок,— горячо, с облегчением заговорил старик.— Вернемся в кишлак — заходи ко мне, отсыплю тебе зерна немного. Вы ведь тоже перебиваетесь, бедняги.

— Спасибо, бабушка, не нужно. Лишь бы здесь выдали, что причитается.

— Дадут, не волнуйся, все сполна дадут, я заставлю! — пообещал старик.

В это время на дороге со стороны кишлака показался всадник. Он погнал лошадь изо всех сил. Когда он приблизился, стало ясно, что это Маткабил. Соскочив с лошади, утирая рукавом пот с красного, взволнованного лица, он торопливо проговорил:

— Сегодня в полдень приедет лектир!

— Зачем? Работу проверять? — спросил один из взрослых.

— Кто знает, может, и проверять...— с тревогой ответил Маткабил, оглядывая всех.— Может, кто-то написал...

— Во-первых, не лектир, а лектор,— вмешался высокий худой человек, голова которого была обвязана поясным платком.— Во-вторых, лектор не проверяет жалобы, а рассказывает о событиях, происшедших в мире.

Это был Абдурайим Солдат. Так его звали потому, что он никогда не снимал солдатскую форму. Давно закончилась война, уже несколько лет не было слышно о басмачах, а он, когда ни встретить его, все ходил в сол-

датской форме. Поэтому люди говорили: «Абдурайим родился солдатом».

— Ах, вот оно что...—протянул Маткабил, успокаиваясь.— А я-то гнал лошады! Едва председатель колхоза сказал мне, я в седло — и ну погонять. Даже домой не заехал.

Весть о лекторе разнеслась мгновенно. Все пожимали плечами, озадаченные, гадали о причине приезда лектора. Гаибназар тоже думал об этом. Все-таки государственный человек придет — может, рассказать ему о тех, кто ворует зерно? Но если он расскажет о Бердимураде и Маткабиле, придется упомянуть и о Дустмураде-бобо. Нет, нельзя, ведь Гаибназар слово дал. Да и жаль старика. У него одиннадцать детей. Было тринадцать, но двое умерли прошлой зимой от голода. Люди говорили, что тогда Дустмурад-бобо спятил: как-то зимним вечером он подстерег Юсуфа-Дума возле его дома и, приперев председателя Совета к высокому, внушительному забору, держа увесистый камень у его виска, потребовал зерна из колхозного амбара. И что же? Получил Дустмурад-бобо немного продовольствия для своих голодающих детей — видно, здорово перепугался Юсуф-Дум.

Нет, нельзя рассказывать лектору о старике. Вот если бы только о Маткабиле и Бердимураде. Особенно отвратителен Бердимурад — прекрасно сложенный, с красивыми, будто вылепленными руками и торсом, с непропорционально маленькой головой, с глубоко спрятаннами, как у рыси, глазами. Его отец в свое время удрал в Афганистан. А Маткабил? Мать говорит: он и с покойника умудрится взятку содрать.

Вообще-то, наверно, нет на свете совсем плохих людей. Плохих с самого рождения. Это жизнь гнет и скручивает, каждого по-своему. А может, оттого и начинаются эти разговоры: «Плохой — хороший», что люди не хотят понять друг друга, в чем-то друг другу уступить. Те же Бердимурад и Маткабил для кого-то самые дорогие, самые любимые... Как разобраться во всем этом?

К полудню приехал лектор — статный, хоть и небольшого роста, в военной форме, с маленькой, аккуратно подстриженной черной бородкой. Маткабил, едва заметил на дороге двух всадников (лектора сопровождал человек из района), поспешил навстречу, улыбаясь, пытаясь скрыть страх и тревогу. Ребята, приостановив лошадей, с любопытством глазели на приехавших.

В тень под двумя молодыми карагачами подкатили арбу, усадили на нее гостей, и вскоре их тесной толпой окружили люди. Среди них был и Дустмурад-бобо. Он не полез вперед, а остался стоять за чьей-то спиной, лишь изредка осторожно выглядывая, стараясь понять, что за человек лектор. Гаибназар нарочно не смотрел в его сторону, чтобы старик не сомневался в нем.

— Почему на лошадях только дети? — спросил лектор у Маткабила.

— Чтобы лошадям было легче, товарищ лектор, — быстро объяснил Маткабил.

— Смените детей. Вы же знаете, как изматывают лошади.

— Так ведь не сегодня-завтра работа на току кончится, и мы переведем ребят на другую, полегче.

— Полегче? А именно?

— Будут возить зерно в район.

— Выходит, самую ответственную работу вы поручите детям?

— Какая же это работа, товарищ лектор! Покатаются на арбах...

— Не покатаются! — отрубил лектор, сведя прямые властные брови. — Пусть зерно возят взрослые. Время беспокойное, голод. Немало всякой дряни по горам шатается.

— Хорошо, товарищ лектор, хорошо, — поспешно ответил Маткабил. Он махнул ребятам рукой, приказывая слезть с лошадей. Впервые работа на току остановилась.

Что-то записав в своем блокноте, лектор спрятал его в нагрудный карман и повернулся к ребятам. Те стояли, испуганно и настороженно глядя на приехавших. Этот лектор в военной форме, его отрывистый негромкий голос, его властные интонации, когда он обращался к Маткабилу, — все говорило о том, что человек он важный и, по-видимому, опасный.

— Хорманг*, ребята, — сказал он, улыбаясь.

И эта неожиданная улыбка, и то, что он обратился к ним, как ко взрослым, совсем сбило с толку детей. Они молчали, переглядывались.

— Здравствуйте, товарищ лектор, — наконец нерешительно произнес кто-то из ребят постарше.

* Хорманг — «Не уставать вам!» — приветствие, употребляемое обычно при встрече с работающими; соответствует русскому «Бог в помощь!»

— Здравствуйте! — говорили друг за другом дети. Они оживились.

— Устали, наверное? — спросил лектор, по-прежнему улыбаясь.

— Нет! Спасибо! — зашумели ребята.

— В детстве я тоже помогал отцу молотить зерно. Весь день, бывало, на лошади, с утра до вечера. Скажу вам откровенно, ребята, уж очень доставалось заднице от этой молотьбы...

Раздался дружный смех. Смеялись все — от маленького десятилетнего Шавката до старика Дустмурада, который всего пять минут назад не знал, куда деваться от страха и растерянности.

— Теперь перейдем к основному вопросу, — уже серьезно сказал лектор. — Я прибыл к вам по заданию райкома. Партия и правительство делают очень многое для укрепления колхозного строя. Но есть люди, которые пытаются помешать становлению колхозов. Они организуют покушения на жизнь видных деятелей колхозного движения, прячут пшеницу, крадут зерно. Особенно опасно то, что такие люди попадают в члены коллективного хозяйства...

Тут Гаибназар, сам того не желая, взглянул на Дустмурада-бобо. Как назло, и тот повернул голову в сторону мальчика. Их взгляды встретились, и Гаибназар тут же опустил глаза, как будто это не старик, а он сам ночью тайно погонял ишаков с мешками зерна по дороге в кишлак. Он уже проклинал себя за то, что стал невольным свидетелем греха Дустмурада-бобо, и поклялся себе еще раз ни за что, никому не выдавать эту позорную тайну...

После приезда лектора на току все чаще стали слышны голоса детей. Маткабил перестал кричать на них своим надрывно-тягучим басом, и даже, когда кто-нибудь из ребят начинал переговариваться чересчур громко, он молчал, награждая их лишь угрюмыми взглядами.

Наконец закончилась работа на току. Маткабил в присутствии председателя ревкома распределял зерно. Взрослому полагалось восемь пудов, ребенку — четыре. Все долгие три часа, пока длинная очередь измотанных, запыленных работников тянулась к весам Маткабила, Дустмурад-бобо стоял возле Гаибназара, придерживая его за худенькое острое плечо. И когда подошла очередь мальчугана, старик негромко и твердо бросил Маткабилу:

— Добавь сыну Ташбуви еще пуд! Тяжело им без отца.

Маткабил возмущенно вытаращил глаза и хотел гаркнуть что-то, но под взглядом старика молча отвесил добавочный пуд.

На следующий же день поле заполнилось сборщиками колосьев. Среди них были Ташбуви с сыном, осунувшимся, не успевшим еще смыть пот от вчерашней тяжелой работы, и Энакиз со своей мечтательной дочерью...

Работая косарем в бригаде Сулаймана-ака, Гаибназар почти не видел Каракоз: уходил рано — Ойкор сумрачно громоздился в рассветном небе, — возвращался поздно, в сумерках, смертельно уставший. Лишь изредка они сталкивались перед калиткой Гаибназара, когда уже вечером, в темноте, Каракоз пригоняла с пастбища стадо коров. Щелкая кнутом, покрикивая, она успевала только кивнуть Гаибназару, а он провожал ее долгим влюбленным взглядом.

Весна в этом году выдалась недождливой, приветливой. Семьи животноводов, все лето жившие в горах, уже ранней весной отправились на Ойкор. И, как это бывало всегда весной, Ойкор ожил: вечерней порой на Коккутане, Говкутане, Майликутане загорались огоньки — костры чабанов. И тогда сжималось сердце в какой-то сладкой тоске, и хотелось туда, в горы, где прохладный ветерок разносил запахи пахучей горной растительности, где возле костра чудилось, что кишлак с маленькими глинобитными домишками, с кладбищем и пыльной дорогой навсегда остался внизу, а ты живешь в ином, прекрасном, сказочном мире...

Глава четвертая

Ташбуви не решалась заговорить с соседкой о свадьбе: думала, что та захочет сделать все по-мусульмански, с традициями, со сватами. И с Гаибназаром не торопилась советоваться, хотя сын — она видела — с каждым днем становился все нетерпеливее. Он не понимал, почему мать откладывает разговор с Энакиз-холой.

Иногда к ним заходили его одноклассники — насмешник Садык, щуплый, сутулый, но неизменно жизнерадостный, и молчаливый Джура. Они помогали Га-

ибназару подправлять его хибару, которая, казалось, могла рассыпаться от громкого смеха. За обедом ребята затевали разговор.

— Когда вы прибавите этому дурню еще одну голову*? — спрашивал Джура, кивая в сторону Гаибназара.

— Чтобы вы не мучились в поисках невесты, он согласен взять дочь вашей соседки, — продолжал насмешливо Садык. — Хватайтесь за это предложение, тетя Ташбуви, пока он не раздумал!

Ташбуви терялась от шуток парней, на глаза почему-то наворачивались слезы радости: вот и вырос ее Гаибназар.

Наконец она решилась. Надела праздничный бархатный жилет, голову повязала ярким цветастым платком — подарок сына — и, взяв с собой кое-какие гостинцы, вышла за калитку, словно ей предстоял долгий путь в соседний кишлак, а не пять шагов до калитки соседей.

Энакиз, увидев приедетую Ташбуви, ее напряженное, торжественное лицо, все поняла, и не успела Ташбуви сказать и двух слов из приготовленной ею длинной речи, как обе женщины уже дружно плакали, обнявшись. Простодушная Энакиз не ставила будущей сватье никаких условий, не просила калыма. Она считала, что достаточно добра сделали эти люди для нее и дочери...

После того как по кишлаку распространился слух, будто Каракоз выходит замуж за Гаибназара, мать, по обычаю, стала редко отпускать ее на улицу. Да и сама Каракоз избегала людей. Вскоре должна была быть помолвка. Энакиз совсем покой потеряла. Целыми ночами она ворочалась с боку на бок, прикидывая, сколько понадобится на угощение муки, сколько мяса, рису и как все устроить, чтобы и гости были сыты и чтоб недорого обошлась помолвка. За три дня до нее, тяжело отдуваясь, Энакиз вытащила из ниши в прихожей мешок с зерном, которое они с дочерью насобирали в прошлом году. Тогда она шутя сказала Каракоз: «Намелем из этого зерна муки, напечем, господь даст, лепешек к твоей свадьбе». Теперь Энакиз говорила, что, видно, услышал тогда эти слова всевышний. Повязавшись выцветшим на солнце платком, Энакиз поволокла мешок на мельницу. Обычно они брали лошадь у соседа слева,

* Иными словами: «Когда вы жените своего сына?»

у Яманкула-бобо, но на этот раз мать почему-то решила обойтись своими силами. Хотела этот мешок, который мысленно называла «свадебным», донести на своих собственных плечах.

В один из волнующих сердце весенних вечеров Энакиз разожгла в старом очаге дрова, собранные накануне Гаибназаром. В большом котле варилось мясо старого, но жирного козла. И вот, негромко переговариваясь, торжественно-немногословные, в дом вошли приглашенные аксакалы, пять-шесть самых уважаемых в кишлаке людей. Степенно усаживались они на курпачах, важно кивали головами. Потом приступили к угощению и долго, неторопливо ели, смакуя вкусную шурпу. Наконец, умиротворенные, сытые и угощением и почетом, ублаженные благоговейными взглядами Ташбуви и Энакиз, они торжественно и громко сотворили фатиху*...

Каракоз пряталась от гостей в сарае. Помолвка вовсе не требовала присутствия невесты, и Каракоз была рада этому. Втайне она ждала этого дня, но сегодня, когда наконец свершилось то, чего она так ждала, когда она и Гаибназар во всеуслышание были объявлены женихом и невестой, ей стало тревожно и грустно. Она пыталась успокоить себя тем, что это еще не свадьба, а только помолвка, и что в конце концов ведь уходит она не в другой кишлак, а в соседний дом, который дорог ей не меньше, чем свой, но все равно нет-нет да и представляла себе одинокую Энакиз, сидящую в опустелом доме,—и на глаза ее набегали слезы. Она вглядывалась в полутьме сарая в каждое поленце, в каждую ветку, щедро источавшую запах арчи, словно силясь разгадать какую-то тайну, узнать, что ждет ее в будущем. Именно сегодня она почувствовала окончательно, что стала совсем взрослой.

Вдруг отворилась, скрипнув, дверь сарая, и Каракоз увидела дочь Яманкула-бобо, тринадцатилетнюю Гуландом.

— Мама велела передать, чтобы вы к нам шли,—запыхавшись, сказала она.

— Не пойду. Там люди во дворе, мне неловко.

— Нет, все давно в доме,—уверила ее девочка и, приблизившись, протянула Каракоз ладонь, на которой лежало несколько шариков курта.— Угощайтесь.

Берегом речки, по саду, растущему за домом, влаж-

* Ф а т и х а — молитва, читаемая при сватовстве.

но дышащему вечерней глубокой прохладой, Каракоз и Гуландом дошли до дома Яманкула-бобо.

— А я видела Гаибназара-ака,— сказала Гуландом словно невзначай.

Она радостно и застенчиво улыбалась, обнажая при этом маленькие некрасивые зубы, сидящие неровно в массивных деснах. Чувствовалось, что неказистой девочке страсть как хотелось поговорить о замужестве Каракоз.

— Видела Гаибназара? Ну и что? — с намеренно безразличным видом спросила Каракоз.— Рога у него выросли, что ли, или третий глаз во лбу загорелся?

— Ничего, просто видела, и все,— по-прежнему улыбаясь, ответила Гуландом.— Он новую тюбетейку надел. Как ему идет! Увидите— с ума сойдете!

— Да ну! — воскликнула Каракоз, покровительственно взглянув на девочку.

— Ох, если бы вы знали! Волосы он подстриг, и от этого брови кажутся еще чернее. И глаза у него такие большие-большие, посмотрит — не знаешь, куда деваться. Такой высокий Гаибназар-ака, сильный, плечи — во какие! Мама говорит, что вы будете вторыми Юсуфом и Зулайхо, такими же легендарными влюбленными!

— Хватит! Хватит! Ишь разговорилась, бесстыдница!

— Я сказала, что слышала, вы же сами спрашивали,— ухмыльнулась Гуландом.— А приятно невестой быть? — помолчав, поинтересовалась она.

— Будешь на моем месте — узнаешь. Наберись терпения,— ответила Каракоз.

...Поздно вечером за ней пришла замученная дневными хлопотами и переживаниями Энакиз. В кромешной тьме, крепко прижавшись друг к другу, они возвращались домой тем же ночным, влажным от росы садом.

— Все хорошо, доченька,— тихо рассказывала мать.— Все как у людей. Тебе люди счастья желали, разошлись поздно. Кажется, все сыты, довольны... Только дядя Самандар не пришел, даже Мастоной не прислал вместо себя.

— Подумаешь! — беспечно возразила Каракоз.— Может, оно и лучше. Вам нужен был скандал на моей помолвке?

— Молода ты еще, доченька,— печально сказала мать,— повзрослеешь — поймешь. Люди удивлялись: «Единственный брат у Энакиз, и тот не пришел». Многие о нем спрашивали. Позор, позор... Правду говорят,

что родственники познаются на свадьбе или похоронах. Как он мог не прийти — родной мой брат!

Энакиз еще долго качала головой и устало бормотала что-то, вздыхая...

...Дом Гаибназара в эти дни был во всем похож на соседский. Мать и сын с ног сбились, хлопоча о свадьбе. С трудом решился самый важный вопрос — вопрос с рисом. Предстояло еще съездить в Самарканд, привезти два мешка парварды, белых, похожих на подушечки конфет, или раздобыть где-то сахару в головках. Один мешок оставляли у себя, другой должны были отправить сватье.

Долго ломали голову над тем, как добыть на свадьбу барана. Их ягненок, вскормленный молоком козы, вырос и стал довольно упитанным, но ни мать, ни сын и думать не могли о том, чтобы отдать его на мясо. Они выходили его с трехнедельного возраста, и ягненок этот давно уже стал для Гаибназара и Ташбуви как бы членом семьи. В прошлом году волк задрал в Иргайчинской степи их единственную овцу. Это была вина пастуха Исмаила, который, бросив стадо на младшего сына, ушел косить траву на Катарталсай. Вернувшись, он увидел растерзанную тушу овцы и в голос ревущего сына. Разъяренный Исмаил избил мальчика пастушеским своим посохом, но дела уже поправить было нельзя.

В тот вечер, обеспокоенные тем, что стада нет и нет, мать с Гаибназаром вышли ему навстречу. Вдалеке по дороге кто-то ехал на ишаке и громко плакал. Через спину ишака было перекинута что-то громоздкое.

— Наверное, волк чью-то овцу задрал, — с сочувствием к неизвестному пострадавшему сказала Ташбуви.

— А вдруг нашу? — сам не зная почему, спросил Гаибназар.

— Сплюнь сейчас же, типун тебе на язык! — воскликнула мать. — Тебе что, захотелось избавиться от единственной овцы?

Малолетний сын Исмаила, завидев Ташбуви-холу с Гаибназаром, заплакал еще громче. Гаибназар взгляделся пристальней и вдруг узнал свою овцу — окровавленную, с обвисшими ушами. Мать ахнула, как подстреленная, и запричитала:

— Натворил дел, а теперь реवेशь, проклятый! Чтоб тебе счастья в этой жизни не было! Не успокойтесь, пока последнюю скотину у бедняка не убьете!

— Что делать, тетечка, такое несчастье! — горько

всхлипывал мальчуган, перепуганный, виноватый, избитый палкой отца.— Собаки, как назло, за отцом увязались, а волк был голодным, чуть меня не задрал. Еле я спасся...

— А ягненок жив? — расстроено спросил Гаибназар.

— Жив, жив! Я не смог его поймать. Но я обязательно поймаю и принесу, акаджан*! — уверил его заплаканный мальчик.

...Так вот, это был ягненок той несчастной овцы, Смирный, пригожий, толстенький, он ел все, что дают. А какой ласковый! Ходил по двору за Гаибназаром, как собачонка. Ну разве можно зарезать, даже на свадьбу, такого славного ягненка?..

Глава пятая

Год змеи, как обычно, не принес ничего утешительного. Люди уже поговаривали, что на хороший урожай надежды нет, что уродятся яблоки, мало будет винограда, пшеницы, овса. Даже дрова — хворост и ветки — стали редко встречаться в горах.

А Энакиз как раз о дровах и беспокоилась. Те, что Гаибназар собрал перед помолвкой, уже кончились.

— Дитя мое, говорят, на Майликутане много сухих арчовых веток. Может, сходишь, принесешь вязанку? Будет стыдно, если на свадьбе не хватит дров,— сказала Энакиз дочери.— Только вот не знаю, удобно ли тебе идти, ведь ты помолвлена. У нас это не принято. Что люди скажут?

— Да кто за мной следит, мама! Возьму кого-нибудь в компанию — Фирузу, например,— и быстренько управимся,— возразила Каракоз.— Можно не заходить слишком далеко. Поищем дрова возле хижины Нурмана-бобо.

Мать все сомневалась.

— Боюсь послать тебя, доченька. Вчера на базаре молочница Мехри рассказывала, что Самандар с женой грязные слухи распускают про тебя, а Камариддин якобы грозился отомстить Гаибназару...

— Глупости, мама! Не надо слушать сплетни, мало ли что скажут злые языки! Ничего, за все им отпла-

* Акаджан — уважительное обращение к старшему брату.

тится. Бабушка Нозик всегда говорила, что людей с черной душой видно и на земле и с самого неба.

— Ну, иди, господь с тобой. Только возьми подругу.— Она накинула платок на голову дочери.— Жаль, не смогла я Нурману-бобо отправить гостинцев с твоей помолвки. Узнает — обидится. Постой, соберу-ка я для него что-нибудь.— И, вручая дочери маленький узелок для Нурмана-бобо, добавила: — Твой покойный отец очень любил его. Обязательно навести старика и получи его благословение.

Каракоз зашла за подругой, но та с матерью уехала в район. Домой возвращаться не хотелось, горные пастбища призывно зеленели на склонах, легкий теплый ветер ласково трепал ей мелкие кудряшки на лбу. Она решила идти за дровами одна.

На Майликутан люди навевывались в поисках сухих веток. Здесь стада необыкновенно быстро нагуливали жир, да и молоко у коров было словно сметана. Поэтому и называли это пастбище Майликутан — Масляное. Два пологих холма, поросших густой сочной травой, и между ними речка Сирлисай — это и есть пастбище. А у подножия одного из холмов, почти на берегу Сирлисай, притулилась низенькая хижина. Там жил девяностодвухлетний Нурман-бобо. Сколько помнила себя Каракоз, старик жил здесь один-одинешенек. Какие только легенды об этом человеке не ходили по окрестным кишлакам! Особенно одна, самая печальная, рассказанная бабушкой Нозик давно, когда Каракоз была совсем маленькой девочкой... Нет, лучше не вспоминать о ней, да еще если приближаешься к хижине старика! И как он может жить здесь один, неужели ему не страшно? Дорога на Майликутан вилась недалеко от его хижины, и не было путника, который прошел бы мимо, не попроветствовав старика, не угостив его чем-нибудь.

Стремительная вода, кружась в водоворотах, переплетаясь струями, мерно шумела. Если напрячься, можно было различить стрекотание кузнечиков и зудение каких-то насекомых. Лето входило в силу, скоро уже и саратан должен захватить в свои владения горы, небо, всю эту благодатную землю...

Хижина Нурмана-бобо — приземистая, без веранды, с дверью, обращенной в сторону гор, — выглядела издалека маленькой и одинокой. Она и в самом деле была маленькой и нехитрой — просто четыре стены, накры-

тые ветхой камышовой крышей. В задней стене вырезано окошко, зарешеченное камышом. Если потянуть эту циновку за веревочку, то камышинки раздвигаются — и в хижине становится светлее. Такое же окошко Каракоз видела в доме бабушки Чинни, у которой всех сыновей перерезали басмачи...

Дверь хижины вдруг открылась, и оттуда вышел старик, одетый в легкий выцветший, почти белый халат. В руках его был кувшин. Издали этот человек казался сказочным старцем из какой-нибудь древней легенды. Он спустился к реке, набрал в кувшин воды и присел на траву. Только тогда заметил приближавшуюся фигурку девушки. Заслонившись от солнца ладонью, старик долго, пристально глядел на Каракоз. Потом снял чалму, заново перевязал ею голову и поднялся, приглаживая рукой длинную белую серебристую бороду.

— Ассалом алейкум, Нурман-бобо! — Голос Каракоз дрожал от радости. Она всегда очень волновалась, когда говорила со стариком: ей чудилось, что он не обычный человек, а видение, дух из старой сказки.

— Ваалейкум ассалом, дитя мое. Рано ты вышла в дорогу... Как поживает Энакиз?

— Слава аллаху, хорошо, дедушка... Вот мама послала вам.— И она протянула старику узелок, собранный Энакиз.

Старик неторопливо взял подарок, сказал с достоинством:

— Аллах благословит твою мать, доченька, добрая она женщина. Пусть забота, обращенная ко мне, вернется к ней самой от добрых людей. Пусть увидит счастливыми своих детей.— Он пристально посмотрел на Каракоз.— Я слышал, на днях была помолвка, это правда, дитя мое?

— Правда, дедушка,— смущенно ответила Каракоз.

— Вы и раньше были неразлучны с сыном Эгамназара. Видно, сама судьба уготовила вас друг другу. Что ж, он хороший парень, голова на месте, дай аллах вам счастливо состариться.— Он легко нагнулся за кувшином и, подняв его, сказал: — Возьми узелок, доченька, и иди в дом. Чай поставь, поьем мы с тобой чаю. А захочешь сделать куртаву* — найдешь в нише курт... Я скоро приду, только совершу омовение...

* Куртава — растертый в воде курт; курт — овечий сыр, высушенный в виде шариков.

Каракоз взяла из рук Нурмана-бобо узелок и наполненный кувшин и пошла к хижине. Прямо у двери росла могучая, но совершенно высохшая арча. Эта мертвая арча, причудливо переплетая ветви, казалось, застыла в зимнем зловещем сне. Вот и весна кончилась и лето наступило, а заколдованная арча все не проснется, все не сбросит чары злых духов. Сказочное дерево, она чем-то была похожа на самого старика.

В единственной комнате Нурмана-бобо царил строгий, десятилетиями не нарушаемый порядок. Весь домик пропах душистым ароматом арчи, ее сухие ветки были в каждом углу, выкладывали из высоких, изящно выгнутых глиняных кувшинов, висели под потолком. Многочисленные ниши были уставлены посудой, там лежали камни самых диковинных форм, странные, замысловатые коренья. В нишах в стене напротив двери стояла деревянная и глиняная посуда, кувшинчики, выдолбленные из тыквы, самых разных размеров и форм — маленькие, продолговатые, круглые, большие и пузатые...

Возле хижины под навесом был очаг. Каракоз вынесла из дома медный кувшин для кипячения воды, поставила его на очаг и разожгла огонь. Ветки арчи загорелись, обдавая все вокруг жарким душистым дыханием. Девушка вспомнила, что старик попросил сделать куртаву, и вошла в дом за куртотом. Она снимала с ниш многочисленные тыквенные кувшинчики и искала в них шарики курта. Один такой кувшинчик оказался тяжелым, девушка сунула в него руку, но, наткнувшись на что-то мягкое, холодное и скользкое, в испуге отдернула ее. И сейчас же из горла кувшина, покачиваясь, поднялась белесая головка змеи. Постояла миг на стройном туловище и опять нырнула в кувшин. Взвизгнув, Каракоз выскочила из дома. Отбежала в сторону и посмотрела вниз на реку — не идет ли старик? Как страшно в его сказочном доме! Пусть разбирается сам со своими змеями... Но Нурман-бобо не показывался. Девушка постояла у двери еще немного, потом собралась с духом и осторожно прокралась в дом, к нишам, в стене напротив двери. К счастью, курт сразу же обнаружился в одном из маленьких глиняных кувшинов, и, взяв несколько белых шариков, Каракоз выбежала из дома.

Налив воды в медную мисочку, она мяла курт и думала о своем. Почему, например, ей обязательно нужно переходить в дом Гаибназара? Неужели нельзя жить

всем вместе? Получается, что ее мама остается одна-одинешенька. Не так, конечно, как Нурман-бобо, но все-таки...

Она заварила чай в стареньком чайнике, носик которого был припаян, и поставила его рядом с миской куртавы. А вскоре подошел и сам Нурман-бобо.

— Умница, доченька,— похвалил он расторопность Каракоз.— Вынеси из дома коврик, мы расстелим его в тени клена и будем пить чай,— продолжал он, вытирая мокрое лицо рукавом халата.— У человека, сидящего в тени клена, улучшается здоровье и настроение.

— Но, дедушка... я боюсь: там змея! — призналась Каракоз.

Старик рассмеялся.

— Ах, ты увидела мою красавицу! Не бойся, она никого не трогает. Это ручная змея, ночью она ложится поверх моей курпачи, а днем, чтобы люди не пугались, я кладу ее в тыквенный кувшинчик...— Он подмигнул удивленной девушке, погладив свою бороду.— Только не рассказывай никому, смотри!

Он, посмеиваясь, покачивал головой, вздергивая седые кустистые брови, и был похож на древнего мудрого волшебника, к которому тянется все живое — деревья, звери, люди...

Они сидели на расстеленном в тени клена коврике и ели куртаву с мягкими лепешками, испеченными Энакиз.

— Очень вкусно, дитя мое,— проговорил старик, подбирая кусочком лепешки остатки куртавы в глиняной миске.— Дай аллах, чтобы жизнь твоя была благополучной и щедрой к тебе. Мне, признаться, редко удается поесть свежих лепешек. Чаще я кормлюсь высушенными корнями. Но много есть их нельзя — опухнешь. Тогда аллах посылает мне гостинцы от добрых людей, вот от твоей матери, например...— Он задумчиво посмотрел вверх, на буйно зеленеющий бок горы с рыжими проплешинами камней, и закончил: — А вообще в этих щедрых горах сын человека не умрет с голоду.

— Дедушка, а вам не скучно одному? — осторожно спросила Каракоз, осмелев оттого, что Нурман-бобо был сегодня разговорчивей, чем всегда.— Спустились бы в кишлак, люди бы вам дом построили...

Старик помолчал, его голубые глаза, необычные для здешних мест, рассеянно глядели на дальние гряды гор.

— Раньше как-то не думал об этом,— произнес он

наконец.— Ну а сейчас уже поздно, поздно... Привык, да и... не могу оставить Ойкор в одиночестве.

И хотя девушка видела, что старик явно не желает продолжать этот разговор, она все-таки спросила:

— А как же случилось, что вы живете один на Ойкоре, дедушка?

— Не спрашивай, дитя мое,— вздохнул старик.— Незачем вспоминать об этом зря. Живу здесь оттого, что я горец, тут, в горах, мне спокойней, привычней... Сейчас жизнь стала лучше,— продолжал он.— Раньше горы были местом разграблений, а теперь их охраняет власть. Я слышал, что для животных и птиц будет завезено зерно, корм. Чудеса! Разве такое могло когда-нибудь присниться нам? — Он покачал головой, удивляясь.— Накормить людей и дать пищу птицам и животным!.. Честь и слава человеку по имени Ленин.

— Нозик-мома говорила, что вас изгнал русский царь. Это правда, дедушка? — робко проговорила Каракоз.

— Не изгнал, не смог! Кто посмел бы изгнать меня с родной земли? Белая собака... Он пустил за мной целую свору своих псов, но разве я попаду им в руки в родных горах, где знаю каждый камень? — Старик разволновался, руки его все время теребили бороду, и она растрепалась.— Умный человек на своей земле никогда не попадет в руки врагов. Меня охранял на своей груди Ойкор!

Голос Нурмана-бобо дрогнул, глаза заблестели влагой. Волнение старика передалось девушке. Каракоз понимала, что лучше не тревожить его расспросами сейчас, но в то же время что-то заставляло ее задавать все новые и новые вопросы — и не праздное любопытство, а потому, что она любила вот эти горы, легенды, рожденные среди этих камней, свой народ, жизнь которого тысячелетиями протекала здесь, на этой земле.

— В чем же была ваша вина? — спросила она.

— Какая вина! — воскликнул старик.— Что худого я мог сделать? Только праведное дело! Поняла! Только праведное дело! — Нурман-бобо в сердцах махнул рукой, сурово взглянул на оробевшую Каракоз.— Чувствую — не успокоишься, пока все не расскажу! — Он отряхнул с халата хлебные крошки, сплел свои сухие, будто выточенные из орехового дерева пальцы, и начал: — Когда человек, которого ты называешь царем, прислал своих людей в Самарканд, он, чтобы добыть

топливо для поездов, издал указ вырубить тысячулетнюю арчу в горах Бахмала, Заамина и Фариша. Узнав об этом, восстал весь народ. Сама понимаешь — какие горы без арчи? Разве не будут подобны они человеку без сердца? Людей, восставших на Бахмале, возглавил я. И ребенку ясно: выруби арчу в горах — высохнет вода. Реки обмелеют, наступит засуха. Людям придется бросить свои земли и уйти в другие края. Во многих местах так и получилось... Словом, никто из кишлаков не вышел на рубку... Почти никто. Тех двух негодяев, которые вызвались добровольно на это злодейство, мы вначале призывали одуматься, уговаривали. Когда же поняли, что уговоры напрасны, повесили предателей на арчах... Белый царь, убедившись, что местное население не выйдет на рубку, прислал войско. Царские солдаты вырубали арчу и сплавляли ее по рекам... Видишь Сирлисай? Прежде это была полноводная, широкая река, а теперь... Арчу вырубали, снизился уровень воды, родники сейчас на пальцах можно пересчитать. Раньше заросли арчи доходили до вашего дома, теперь она осталась только на склонах гор, ближе к вершинам... И все равно мы оказывали сопротивление солдатам! Все мои родные были убиты, но я и тогда не смирился... Говорят, белый царь обещал за мою голову много золота... — задумчиво произнес он. — Как видишь, она и по сей день сидит на моих плечах, довольно крепко сидит... Человек, причинивший зло природе, не проживет на свете долго, дитя мое... Ты же знаешь, что случилось с белым царем, — его и самого срубили, как арчу!

По смугло-коричневому лицу старика катилась маленькая слезинка. Сбежала по глубокому желобку морщины на щеке и застряла над верхней губой. Каракоз опустила голову. Она не могла смотреть в эти голубые глаза, столько видевшие на своем веку, вобравшие в себя ледниковый свет самых дальних вершин Ойкора. Глубоко вздохнув, Нурман-бобо вытер слезу рукавом выцветшего ветхого халата. А Каракоз завидовала ему. Несмотря на горькую и печальную судьбу, несмотря на все его одиночество, она завидовала его чистой, прекрасной жизни, слившейся с жизнью любимых гор.

Никогда и ни за что она бы не посмела просить Нурмана-бобо рассказать самое главное в его жизни — историю о Покизе. Ту страшную, гордую, ледящую кровь легенду, которую с детства они знали от бабушки Нозик...

Солнце поднялось уже довольно высоко над Ойкором. Своим яростным, испепеляющим сиянием оно выбелило небо, накалило неистовым жаром горы.

Каракоз вспомнила, зачем пришла сюда, засуеилась, начала собирать миски, пиалы, а потом спустилась к саю — вымыть посуду. Встал и Нурман-бобо.

— Если не испугаешься, дитя мое, поднимись на вершину, откуда упал Карши. Говорят, там видимо-невидимо хворосту. Люди редко поднимаются туда, с тех пор как погиб бедняга Карши. А ты иди, не бойся. Я отсюда буду смотреть в твою сторону. Если станет страшно—погляди вниз на мою хижину... Когда будешь возвращаться, обязательно сообщи мне. Я засыпаю только тогда, когда с гор возвращаются все, кто утром туда поднялся. А если кто-то припоздает, я всю ночь не сплю... Иди, доченька...

Уже отойдя шагов на сто, Каракоз обернулась и помахала рукой Нурману-бобо. Он стоял все так же, глядя ей вслед из-под руки, высокий, статный горец, и уже не человек даже, а живая легенда... Старик долго смотрел на тонкую фигурку девушки, потом пробормотал еле слышно, одними сухими, иссеченными морщинами губами:

— Иди.. дай аллах тебе состариться с твоим избранником...

Часа через два, когда Каракоз добралась до вершины, она поглядела вниз на хижину Нурмана-бобо. Отсюда, с огромной высоты, неказистый домик старика казался величиной с грецкий орех. И Каракоз подумала, что, может быть, совсем недалеко отсюда, в ледниках, лежит под тонким слоем льда прекрасная возлюбленная, и слышит каждое обращенное к ней слово, и чуть улыбается прелестными губами...

...Покиза — так звали ее, красивую девушку, в которую был влюблен юный Нурман. Глубокими черными ночами он тайно спускался с гор, чтобы увидеться с любимой. Она выходила к старой плакучей иве на берег сая и там ждала его, вздрагивая от шелеста листвы, от крика кеклика. Ее возлюбленный появлялся всегда бесшумно и неожиданно — гибкий, высокий, сильный. Он нежно обнимал ее, и казалось, это обнимает сама ночь — властно и горячо...

Но родители девушки боялись отдать дочь челове-

ку, за голову которого царь обещал столько золота. Дни бежали за днями, а Нурман и Покиза продолжали встречаться тайно, ночами, под старой плакучей ивой с мощным стволом и печальными ветвями.

Слух о любви Нурмана и Покизы облетел скоро все окрестные селения и дошел до губернатора. Царские солдаты схватили Покизу, связали ее и притащили к подножию гор. Они повесили связанную девушку вниз головой на арче и по очереди стали сечь ее. Покиза молчала. Ни единого стога не вырвалось из ее груди. Она молила аллаха только об одном: чтобы не оказалось поблизости Нурмана, чтобы не был он свидетелем ее страданий. Но Нурман видел все. Он скрывался за огромными валунами на одной из вершин Ойкора и видел связанную Покизу, ее прекрасные, длинные, густые волосы, свисающие до зеленой травы. Видел он, что солдат много и в руках у них ружья, а за спиной Нурмана затаилось только четверо преданных ему джигитов с луками и стрелами. И все-таки он не выдержал. С шумом посыпались камни с горы, и перед солдатами предстал разъяренный Нурман на громадном сером валуне. Завязалась ожесточенная перестрелка. Но джигиты родились в горах, были детьми этих вершин, этих камней, этих высоких зарослей арчи, а солдаты были чужими. И немало их погибло в схватке, а оставшиеся бросились бежать.

А Покиза... Покиза висела на арче, касаясь травы густыми черными волосами, и в груди ее торчала стрела — гордо оперенная, длинная, смертельно, звеняще разящая. Когда обезумевший от горя Нурман вынул ее из груди любимой, он увидел, что это была его стрела...

Бешеный крик разнесся по всему Ойкору. Такого крика не слышали еще эти камни.

Джигиты Нурмана отволокли трупы царских солдат на Красный Камень — Кизилташ, к медвежьим пещерам. Они решили, что люди, надругавшиеся над природой, должны стать кормом для детей ее.

А Нурман, подхватив на руки свою Покизу, ушел вверх, к далеким вечным ледникам. Говорят, он не похоронил любимую, а долго прятал в одной из пещер в ледниках, куда не ступала нога человека. Потом, выдолбив в леднике могилу, положил в нее Покизу. Тело ее сохранилось и донныне. Говорят, когда подтаивают снега, через тонкий, как стекло, лед, видна спящая Покиза...

Никто не заговаривал об этом с Нурманом. С людьми, которые спрашивали о Покизе, он переставал даже здороваться. Многие годы он не смотрел в сторону женщин, не говорил с ними, но к старости помягчел, стал более приветливым, да и то сказать — столько лет прошло! Лет семьдесят, должно быть...

На вершине, с которой упал Карши, действительно оказалось много хворосту. Каракоз быстро набрала большую вязанку. Когда она спустилась вниз, к подножию Майликутана, вечер уже скрыл горы за сумрачной завесой. Хижина Нурмана-бобо, маленькая, сиротливая, казалась в наступающих сумерках особенно одинокой.

— Вернулась, доченька? — крикнул ей старик. Он, наклонясь над очагом, заваривал чай в старом медном чайнике. — Молодец, проворная. Многие, кто поднялся сегодня в горы, еще не вернулись. Передай привет матери!

Его голос несколько раз повторило эхо, и вновь перед глазами Каракоз возникла спящая в вечных ледниках Покиза. Кто знает, может, эхо донесло голос старика и до его возлюбленной. Каракоз стало страшно, она, не в силах ответить, лишь кивнула Нурману-бобо и быстро пошла дальше. Вязанку дров она несла на голове, чуть придерживая ее руками.

Темнело с каждой минутой все больше, все гуще и синей. Вокруг стояла тишина, и слышно было лишь журчание сая и шлепанье старых калош на ногах девушки.

Впрочем, здесь, как и всюду в горах, звенел свой чарующий голос — звук гор. Стоило только напрячь слух, и можно было различить сотни голосов, перекликающихся, повторенных несчетное количество раз эхом. Этот волшебный голос создают все обитатели гор, даже их растительность. И по мере того как удаляешься, уходишь отсюда, кажется, что звук этот, этот звенящий, дрожащий голос мчится тебе вослед, окликает тебя.

Где-то крикнула куропатка, и сразу ей отозвался голос друга. И вновь — только журчание сая...

Вдруг раздался шум сыплющихся под ногами камней. Каракоз вздрогнула, руки ее от страха ослабели, и вязанка хвороста соскользнула с головы, упала и рассыпалась.

«Волки!» — мелькнуло в голове Каракоз. И мгно-

венно вспомнилось, что волки боятся огня. Она судорожно выхватила коробок спичек из кармашка жилетика, чиркнула одной и бросила ее на землю, где густо лежали прошлогодние листья.

Листья вспыхнули ярко, мгновенно. И сразу в стороне послышался ехидный смешок. В наступившей уже темноте Каракоз не сразу узнала Камариддина, сына дяди Самандара. Обнажив редкие, мелкие, пожелтевшие от постоянного курения зубы, он ухмылялся. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Каракоз — неприязненно и настороженно, Камариддин — с мольбой, страстью и ненавистью.

Наконец Каракоз отвела глаза и с ожесточением стала затаптывать огонь. Камариддин поспешно подбежал, суетливо бросился помогать ей. Так же молча, в сердцах позабыв, что хотела сказать, Каракоз принялась собирать рассыпавшиеся дрова.

— Каракоз! — глухо проговорил Камариддин, пытаясь взять вязанку из ее рук. — Подожди минутку!

— Мне некогда! — отрывисто, не глядя на него, ответила девушка.

— Минуту! Только одну минуту... Выслушай меня, разве я не человек? Выслушай лишь раз, но до конца, а потом поступай как знаешь...

Столько мольбы было в его дрогнувшем голосе, что Каракоз, поборов свою неприязнь к этому человеку, свой страх перед ним, быстро ответила:

— Ну, давай скорей. Уже темно. Мама, наверное, волнуется.

И тогда он заговорил горячо и торопливо, сбиваясь, начиная объяснение опять: то неприятно посмеиваясь — и было в этом смешке что-то от сдерживаемых рыданий, — то угрожая.

— Я не могу больше молчать, Каракоз. Я люблю тебя. Давно уже люблю и не знаю, что мне с этим делать. Для меня ты — вся жизнь, а ты и говорить со мной не желаешь, отворачиваешься, когда встречаешь. Неужели я не имею права на любовь? Что я, выродок? Что я, хуже этого Гаибназара?! Пожалей меня, любимая! Ты должна быть моей, Каракоз! И я верю, это будет. Ну скажи, ободрь меня, я ведь умру без тебя, Каракоз!

Он вдруг рухнул на колени, грузно, как подрубленный, и неожиданно проворно подполз к девушке, схватил за подол платья.

— Перестань! — в отчаянии крикнула Каракоз, пы-

таясь вырвать из его рук подол.— Встань сейчас же, не валяйся!

— Не встану! Пока не скажешь, что любишь. Скажешь?.. Послушай, Каракоз, но ведь любишь, да? Любишь? Просто не могла сказать раньше?

— Пусти!! — Она наконец выхватила платье из его цепких рук и отбежала в сторону.

Камариддин медленно поднялся, бессильно опустив руки. Лица его в темноте не было видно, слышалось только тяжелое, прерывистое дыхание.

— Смотри, Каракоз...— тихо, угрожающе проговорил он.— Подумай как следует... С огнем играешь...

— Оставь меня в покое! — раздельно, внятно, что-бы ее слова сразу дошли до Камариддина, произнесла Каракоз.— Мало досадила нам ваша семейка? Думаешь, не знаем, кто виноват, что Гаибназара сняли с должности учетчика? Думаешь, секрет, кто обо мне грязные сплетни по кишлаку распускает?

— Постой, Каракоз!

— Не ходи за мной! Тебе не видать меня, как своего затылка! У меня есть жених, которого я люблю! И скоро наша свадьба!

— Свадьба? — зловеще повторил Камариддин, подходя к ней.— Смотри-ка, как все у вас рассчитано... Как ты уверена в своем счастье... И тебе плевать на меня, да?.. Смотри, какая ты смелая... Ты ведь совсем не боишься меня, правда, детка? Ты просто топчешь ногами меня, мою любовь! — Он железными тисками схватил ее руки, зашипел прямо в лицо: — А если я изменю твои планы, а? Если твоя свадьба совершится сейчас, вот на этой траве?!

Он крепко обнял яростно сопротивляющуюся девушку и, дав ей подножку, повалил на землю. Молча, ожесточенно они боролись в кромешной тьме. Изловчившись, Каракоз сильно укусила Камариддина в плечо. Он вскрикнул, схватился за укушенное место. Тогда, взяв подвернувшийся под руку острый камень, Каракоз с силой, какой никогда в себе не знала, со всего размаху стала бить его куда придется — по лицу, по голове, в грудь. Видимо, сразу она повредила ему глаз, потому что Камариддин, одной рукой прикрыв лицо, другой только беспомощно отбивался.

Бросив камень, забыв о рассыпанной вязанке, Каракоз кинулась в сторону кишлака. Добежав до тока, она заметила две фигуры, спешащие навстречу. Это были

Гаибназар и Энакиз. Каракоз замедлила шаг, вытерла слезы, быстро, судорожно перевязала платок на голове. Мать, едва увидев Каракоз, радостно вскрикнула:

— Вай, девочка моя, что ж ты так припозднилась? Я все глаза проглядела, душа весь день не на месте. Вот Гаибназар предложил выйти тебе навстречу. — Она обняла дочь, прижала к груди ее голову. — Господи, что ты так вспотела, такая разгоряченная!

— Волки... волки напугали... — с трудом выговорила девушка. — Я бросилась... бежать... все дрова растеряла.

— Аллах с ними, с дровами! — взволнованно сказал Гаибназар. — Ты могла погибнуть. Где ты собирала ветки? На Майликутане?

— Нет, я ходила на вершину, откуда упал Карши, — ответила она, отворачивая лицо.

— Ты с ума сошла! — воскликнула испуганно мать. — Одна, без попутчиков! И зря ходила. Гаибназар принес сегодня дров достаточно.

Ни мать, ни Гаибназар не видели в темноте ее смертельно бледного лица, расширенных от ужаса зрачков. Молча шла Каракоз рядом с ними, и сердце ее постепенно успокаивалось, билось ровнее, дыхание становилось спокойнее. Мать шагала чуть впереди, не умолкая ни на минуту, Гаибназар с Каракоз отставали на шаг-другой, парень крепко держал любимую за руку, словно боясь, что она исчезнет, растворится в темноте.

— Выйдешь попозже? — спросил он шепотом, нагнувшись к ней.

— Завтра, — помедлив, ответила девушка.

— Когда?

— Как взойдет луна...

Он еще крепче сжал ладонь Каракоз и провел ею по своему лицу.

— Никогда больше не ходи в горы одна. Хорошо? Она молча кивнула.

— Что ты сейчас будешь делать?

— Спать лягу... — сказала Каракоз.

— Устала?

Так же молча она кивнула. Только сейчас, когда Каракоз начала отходить от испуга, она почувствовала, как подгибаются от слабости колени, как кружится голова, и страх от сознания того, что могло случиться, холодит грудь, и тошнота подкатывается к горлу.

— А я так редко вижу тебя во сне, — продолжал

Гаибназар.— Правду, наверное, говорят, что любимых во сне не видят...

Они поравнялись с домом Каракоз. Девушка отворила калитку, вошла во двор и, обернувшись, вяло махнула рукой любимому. Гаибназар смотрел ей вслед. И даже когда за Каракоз закрылась дверь дома, он стоял еще некоторое время, рассеянно глядя вверх, на скользящую в ветоши туч луну, на острые силуэты тополей вдали.

Глава шестая

День сегодня тянулся необыкновенно медленно. И солнце тащилось в зенит, как уставший дехканин на старом ишаке, потом бесконечно долго торчало там, на середине неба, и, наконец, стало сползать, словно не желая оставлять насиженного места.

У Гаибназара голова шла кругом: ведь они с Каракоз не договорились о месте свидания.

«Да не город же это! — успокаивал он себя.— Не потеряемся как-нибудь... Буду следить за калиткой. Как выйдет — я за ней...»

Уже с полудня, оставив дела, не слушая ворчания матери, он сидел у заднего окошка и наблюдал за домом Каракоз.

Отсюда видна была их кухня, кусок двора и старая, сбитая из двух ветхих досок калитка. Гаибназар и прежде любил сидеть здесь, посматривая на Каракоз. По воскресеньям на кухне она мыла голову. И в окне появлялась ее склоненная голова с густыми, напоминающими ветви плакучей ивы волосами. Вымыв голову, скрутив жгутом мокрые волосы, она выпрямлялась, и тогда в окне показывались ее белые хрупкие плечи. Ради этого момента Гаибназар готов был сидеть у окна часами.

Каракоз и сегодня мыла голову. Должно быть, к предстоящему свиданию. Потом она накинула платок и вышла из кухни.

Ожидая восхода луны, Гаибназар смотрел на Ойкор, на небо, усыпанное бесчисленными огоньками холодных звезд, и переживал, что над горами спустилась тьма туч и луна может совсем не выйти сегодня.

...За всю ее жизнь Каракоз впервые назначили свидание. И это было ново, неожиданно и ужасно волно-

вало. Прежде они с Гаибназаром всюду были вместе. Вместе ходили за дровами, вместе пригоняли стадо с пастбищ. Но тогда все было иначе. Тогда не придавалось значения, если кто-то опаздывал. А теперь... Ведь в доме Каракоз нет часов. Что же делать? Бывало, в дни поста Энакиз посылала дочь в дом учителя Абдураджаба — узнать, можно ли принимать пищу. А как быть теперь? Сидеть у окна и сторожить, когда вынырнет из-за туч новорожденный месяц?

Пришла с базара мать и принесла новость: вчера Камариддин, сын Самандара, был избит чабанами. Неизвестными чабанами, пришлыми, должно быть.

— Носит его черт-те где... — проговорила Энакиз, в душе жалея незадачливого племянника.

— Сам виноват, — хмуро пробормотала Каракоз, не сводя глаз с вершины Ойкора.

Часа через полтора тучи начали расползаться, небо из буро-черного стало бархатно-лиловым, вершины Ойкора посветлели, мягко засветились. И наконец, словно горделивая бровь красавицы, взошел над ледниками узкий серп молодого месяца, окутанный серебряной дымкой.

— Мама... я схожу к Яманкулу-бобо. Обещала его жене показать занавеску, которую начала шить... — сказала она уже из прихожей, стараясь не выдать волнения.

— Долго не сиди, — вслед ей бросила мать, — приходи скорее.

Каракоз выскользнула за калитку и неслышными шагами двинулась вдоль забора. И почти сразу открылась калитка соседнего двора — и худощавая высокая юношеская фигура так же торопливо и бесшумно поспешила за Каракоз. И никто на свете, кроме них двоих, не слышал, как оглушительно, на весь мир, горячими толчками бьются два сердца.

Минут через десять они уже добрались до холма Русского. Это и вправду был небольшой холм, где раньше, много лет назад, жил русский лесничий. Хмурый, неразговорчивый человек, трудившийся с утра до вечера, сразу полюбил здешним людям тем, что запретил стрелять в горах дичь и уничтожать растительность. Но когда царь приказал вырубить арчу на склонах гор, русский лесничий, как и Нурман-бобо, воспротивился преступному указу. Он ходил по кишлакам, разговаривал с дехканами, убеждал их не являться на рубку.

Узнав об этом, губернатор края арестовал лесничего и отправил его в Сибирь. Дом лесничего заколотили, люди из страха перед властями боялись приближаться к холму Русского. Здесь до сих пор сохранился пруд перед заброшенным домом, и в нем на все голоса вопили скандальные лягушки. Два старых карагача над прудом, посаженных еще русским лесничим, тоскливо перешептывались друг с другом под свежим ветерком, прилетевшим с гор, и казалось, они вспоминают что-то давно ушедшее, может, те времена, когда и они, деревья, и человек, который посадил их, были молоды и не думали о старости, о смерти, о человеческой несправедливости.

Каракоз с Гаибназаром долго сидели молча под старыми карагачами.

— Отчего у тебя глаза такие чернушие? — наконец спросил он, заглядывая ей в лицо и влюбленно улыбаясь.

Она усмехнулась, выдернула травинку из земли и прикусила ее зубами.

— Когда мама носила меня, один дехканин на базаре не угостил ее дыней, хотя она долго стояла перед ним и в горле у нее пересохло. Оттого глаза такие черные, как жажда.

— Какой скупой человек, неужели и кусочка не дал?

— А тебе плохо оттого, что не дал? — лукаво потупившись, спросила она.

— Старик, должно быть, в тот момент обо мне позаботился,— сказал Гаибназар, и они рассмеялись оба.

— А вот ты ответь: почему у тебя ухо проколото, как у девушки? — спросила Каракоз.

— Я в детстве был плаксой. А ты же знаешь эту примету. Мама отнесла меня к бабушке Нозик, и та иголкой проколола мне одно ухо.

— Поэтому сейчас ты никогда и не прослезисься...

— Наверное, в детстве вы выполнил план по плачу.

И опять они улыбнулись. Думая днем о свидании, представляя, что скажут друг другу, когда останутся наедине, оба совсем не предполагали, что будут вот так легко болтать о вещах, совсем для них несущественных. Над головой шумели кроны двух стариков карагачей, как будто осуждая их за пустяковый разговор.

— А я вчера с Нурманом-бобо разговаривала,— вдруг сказала Каракоз задумчиво.

— О чем вы говорили?

— Он рассказывал о том, как его преследовал белый царь.

— Любит тебя старик! Редко он об этом рассказывает. Может, и о Покизе рассказал?

— Нет...— Она даже плечами передернула, как от прохлады.— Я побоялась спрашивать.

— А я спросил однажды, в детстве.

— Правда?!

— Да.

— И что он сказал? — Девушка смотрела на Гаибназара широко открытыми от страха и любопытства глазами.

— Ничего не сказал. Поглядел так гневно, словно я враг какой-нибудь, поднялся и ушел в дом не попрощавшись...

— Гаибджан... А вот если... Если б ты тогда, много лет назад, оказался на его месте... Что бы ты делал? — серьезно и неожиданно спросила она.

Гаибназар задумался, долго смотрел на бледно-голубые под светом вершины гор и наконец проговорил:

— Да ну, Каракоз, с чего тебе пришло в голову? — И, обняв ее за плечи, притянул к себе, погладил по волосам.— У нас все иначе будет. Да и в другое время живем...— Он вдруг усмехнулся, вспомнил о чем-то и сказал: — Ты знаешь, говорят, Камариддина избили чабаны.

— Знаю,— коротко ответила она.

— Глаз чуть не вытек, синяки на лице, на голове шишки.

— Я знаю.

— А главное, неизвестно, кто это сделал.

— Известно,— хмуро обронила Каракоз.

— Да нет, он сам не знает, кто это!

— Это я... — спокойно сказала она.

Гаибназар вытаращил глаза и несколько мгновений как немой смотрел на девушку.

— Брось,— наконец проговорил он.— Как ты сумела?

— Очень просто,— неохотно ответила Каракоз.— Злая была очень. Побила, и все. Он преградил мне дорогу и... в общем, мерзавец.

— И ты молчала до сих пор?! — крикнул он и, вскочив на ноги, в волнении заходил вокруг деревьев.— Негодяй! Ну ладно, пусть живет до завтра! Я ему покажу...

— Перестань,— возразила Каракоз.— Ты хочешь,

чтобы весь кишлак говорил об этом? И так разговоров хоть отбавляй... И мама узнает... И потом, достаточно я его поколотила. Если бы ты видел! Я так разозлилась, так испугалась!

Гаибназар, все еще возмущенный и воинственно настроенный, пожал плечами.

— Девушка побила!.. Герой, ничего не скажешь. Вот уж правду говорят: от подлеца ожидай любого поступка... Времена не те, а то б я ему показал... Он свою голову с подбитым глазом за спиной в мешке таскал бы...

Каракоз, обняв колени, смотрела на горы и замечала каждый новый огонек — вот третий зажегся, вот еще один, еще... Это светились костры чабанов. И чем выше поднимался месяц, тем в больший мрак погружались горы и тем ярче горели крохотные огоньки костров.

— Отчего Нурман-бобо так долго не хоронил Покизу? — медленно спросила она, не отрывая взгляда от далеких костров, словно спрашивая не сидящего рядом с ней Гаибназара, а эти одинокие, разбросанные по горам огоньки.

— Говорят, пока не прочтешь заупокойной молитвы над телом умершего, он продолжает все слышать, — тихо ответил Гаибназар. — Нурман-бобо не мог себе представить, что тело его любимой будет зарыто в землю. Храня ее в ледниках, он рассказывал ей все, что было у него на душе. Ведь ему казалось, будто Покиза слышит его... И до сих пор не прочел над ней заупокойной молитвы. Верит, что однажды она проснется от тяжелого сна.

— Как все это прекрасно, правда, Гаибджан? Наверное, это и есть настоящая любовь?

— Наверное...

— Знаешь, а я завидую Покизе. Лучше прожить короткую жизнь и остаться вечно юной и прекрасной в памяти любимого, в памяти народа, чем состариться в этом кишлаке, думать о дровах, о мучной похлебке, видеть физиономии Камариддина и Самандара и умереть горбатой морщинистой старухой... Вот что бы я хотела: уйти в ледники, отыскать там ледяную постель спящей Покизы и крикнуть ей: «Здравствуй, Покиза!» Она обрадуется. Ты же сказал, что она все слышит.

— Не говори так, не надо! — воскликнул Гаибназар и схватил ее за руку. — Даже не по себе как-то стало... Хватит думать о Покизе, а то она приснится. У тебя будет совсем другая судьба.

Ветер доносил сюда запахи горных трав. Сзади

мрачно и печально высился заколоченный дом Русского. В прогнивших досках его ступеней цвиркали сверчки.

— Эта наша встреча никогда больше не повторится, да, Гаибджан?

— Почему ты так говоришь, любимая? Мы всегда будем вместе! — взволнованно возразил он.

— Но через год в это время я уже буду на год старше.

Он засмеялся ласково.

— Ты не постареешь, Каракоз.

— Почему?

— Не знаю. Просто никогда не постареешь...

На Ойкоре погас последний костер, и снега на вершинах заблестели, будто слюда, под желтым призрачным светом месяца.

— Пора, — сказала Каракоз, как зачарованная, не отрывая взгляда от чернеющей на склоне горы тополиной рощи. — Костры погасли...

В кишлаке вяло, нехотя перекликались по дворам собаки. Перед калиткой Гаибназар удержал девушку за руку.

— Каракоз... А ты так и не ответила на мои стихи... Помнишь?

Она смутилась, пожала плечами.

— Я не умею сочинять стихов, Гаибджан... — Но, увидев его растерянное лицо, улыбнулась: — Напишу... Попробую...

Калитка открылась со скрипучим стоном и захлопнулась. Минуту они стояли, молча глядя друг на друга, по разные стороны изгороди. Потом Каракоз пошла в дом.

Провожая ее глазами, Гаибназар отчего-то вспомнил слова бабушки Нозик о том, что человек рождается заново через семь или четырнадцать поколений. Каракоз очень верила в эту легенду, как и во все, что говорила когда-то бабушка Нозик. И сейчас Гаибназару очень захотелось, чтобы это было правдой, чтобы когда-нибудь, через много десятилетий, юная Каракоз так же молча смотрела на него из-за изгороди, а он, такой же молодой и сильный, глядел ей вслед и любил бы ее, любил, любил, как жизнь свою...

Лукавый желтый месяц все дальше уплывал вверх, словно оттолкнувшись от вершин самых высоких гор, и Ойкор казался прозрачным и хрупким в его нереальном, сказочном свете...

Глава седьмая

Пришел наконец и день свадьбы. С самого утра, по обычаю, Каракоз сидела в доме Яманкула-бобо в задней крохотной комнатке без окон и ждала, когда придут за ней, за невестой. Сейчас она жалела, что Гаибназар живет так близко — за забором; значит, за ней не придут, как за другими невестами, на белой лошади. Придется идти пешком, а это не так красиво, как могло быть... Впрочем, больше всего на свете она сейчас хотела, чтобы день свадьбы пролетел поскорее. Обряды, связанные с ними хлопоты действовали на Каракоз удручающе. Время от времени в комнатку вбегала раскрасневшаяся, возбужденная Гуландом и сообщала новости:

— Пришла тетя Масто́н, ничего не принесла, сидит надувшись. А до нее приходил пьяный Камариддин, всех обругал, опрокинул на себя миску с мукой... Ой, потеха! Мужчины выволокли его на улицу: морда белая, вся в муке, рот как черная дыра!..

И выскакивала опять — за новостями. В комнатке было сумрачно, прохладно, жужжала одинокая печальная муха. Сердце Каракоз билось неровно, горячо, и радостно было и горько отчего-то. Все время вспоминался отец.

«Вот и настал день моей свадьбы, отец,— думала Каракоз. И, как всегда, ее воображение мгновенно рисовало черты дорогого лица, и лицо это оживало, улыбалось ей.— Выхожу я за Гаибназара, сына нашей соседки Ташбуви. Несчастливцы. Помните, я рассказывала вам о нем. Я люблю его больше всех на свете, отец! Но мне так жалко маму...»

Потом несколько женщин зашли в дом к Яманкулу-бобо, напоили Каракоз «свадебной водой» и с песнями, знакомыми ей с детства, повели в дом к жениху...

Никогда еще Каракоз столько не плакала. То ли не думала прежде, что жизнь ее изменится, не ощущала это так остро. И мать, когда уводили Каракоз, плакала в голос, причитала:

— О-ой, не дожил отец до твоей свадьбы!.. Не видит он сейчас свою взрослую дочь...

А может быть, так всегда бывает, если радость смешивается с печалью,— человек плачет, не в силах остановить себя...

Каракоз слышала, как во дворе весело перебрасываются шутками, задирают друг друга ребята. То и дело раздавался отчаянный визг, хохот, крики.

— Вот негодники, разве так ведут себя те, кто приходит за выкупом! — возмутилась одна из старух.

— А что случилось? — спросила ее другая.

— Да вот друзья невесты просили выкуп у жениха. Дали им овцу и семьдесят рублей. А они кричат: «Маленький выкуп!» Да и насыпали на головы жениха и его друзей нас. Всем в глаза попал.

Каракоз, низко опустив голову под свадебной белой паранджой, слышала эти разговоры как сквозь сон, и вяло думала: «Попал ли нас в глаза Гаибназару?..» Она сидела за занавеской из красного ситца и тихо плакала.

Потом их стало двое. За занавеской появился Гаибназар, хмурясь и потирая покрасневшие от табака глаза. Он взял в обе руки голову Каракоз и прижал ее заплаканное лицо к своей груди, успокаивая, как обиженного ребенка...

...Через четыре дня после свадьбы Гаибназар уже вышел косить.

Ночью он проснулся от резкого испуганного вскрика. Это кричала Каракоз. Она лежала рядом, запутавшись в густых черных волосах, и металась во сне. Лицо ее было бледно, веки подрагивали, горячие губы шептали что-то бессвязное. Гаибназар тихо убрал пряди волос с ее лба, легонько подул на вздрагивающие веки, в который раз залюбовался маленькой родинкой под губой. Каракоз притихла. Тогда он подтянул одеяло, окутывая ее плечи, и прикрыл глаза. Через несколько минут он уже засыпал, но новый крик жены, отчаянный и жалобный, заставил его сесть на постели.

— Покиза, сестра, помоги! — стонала Каракоз. — Спаси, освободи, Покиза!

— Проснись, Каракоз! Что ты, проснись! — И даже когда она уже открыла глаза, он все еще гладил ее щеки, лоб, приговаривая обеспокоенно: — Ну, что ты, что ты?..

— Испугалась... — тяжело дыша, пробормотала Каракоз.

— Чего испугалась, родная?

— Страшный сон увидела...

— Это такое время, предрассветное, помнишь, бабушка Нозик говорила — снятся всякие ужасы... Забудь свой сон...

— Мне никогда еще не было так страшно... Горели

вечные ледники, понимаешь, не таяли, а горели, и вокруг все, весь снег был черным как сажа. И вдруг я увидела Покизу. Они сидела верхом на коне и сама была черной, будто обугленной... Я хотела крикнуть, но голос пропал. Я почувствовала, что сама занялась пламенем, и бросилась к Покизе, умоляла, чтоб она спасла меня, но она повернула коня и поскакала прочь...

— Тысячу раз я тебе говорил: не вспоминай так часто Покизу! — расстроено воскликнул он. — Да и кто знает, есть ли она вообще, а ты все твердишь о ней, как заколдованная... Так недолго и с ума сойти...

— Только бы не случилось чего...— проронила Каракоз, все еще не приходя в себя.

Гаибназар поднялся и, достав из ниши пиалу и глиняный кувшин, налил в него немного воды.

— Выпей,— сказал он, подавая Каракоз пиалу. В серых рассветных сумерках его обнаженные плечи и грудь казались медными.— Не думай больше об этом,— повторил он, лег рядом и крепко обнял ее.

Каракоз лежала неподвижно, в темноте белела ее закинутая за голову рука. Она молчала,— видно, продолжала думать о приснившейся ей Покизе.

— Ну очнись, очнись...—прошептал Гаибназар, гладя ее лицо и прохладное упругое плечо...— Не думай...

До рассвета они так и не уснули. Чтобы забыть страшный сон, тихо проговорили до самого утра.

Утро пришло свежим и прекрасным. Не умолкая журчала вода в сае. Неизвестно о чем бормотал резвый, берущий начало в горах ручей. Может быть, вот об этом: «Послушайте, я принес вам всю красоту Ойкора — тайный шепот плакучих ив, зазывное пение кекликов, печальные стоны газелей, гулкое эхо гор и камней! Спешите! Кто ранним утром говорит горной реке «здравствуй», для того день будет счастливым».

Утром, как обычно, Гаибназар ушел на жатву. Казалось, оба они забыли неприятный сон. И, наверное, не вспоминали бы вовсе, если бы...

В полдень на взмыленной лошади прискакал Маткабил. Багровое лицо его было потно, искажено странной гримасой. Жнецы, едва увидели его на дороге из кишлака, побросали работу и с тревогой стали вглядываться в приближающегося всадника. Маткабил осадил коня прямо перед бригадиром Сулайманом-ака и сказал хрипло, тяжело:

— Война!

Люди застыли с серпами в руках. Все продолжали смотреть на Маткабила, словно он мог добавить что-то утешающее, объяснить, ободрить. А он вытер рукавом рубахи пот с пылающего лица и крикнул, приподнявшись в седле:

— Люди, война-а-а!!

И тогда, разом все поняв, зашумели, запричитали жнецы. Тихо плакал Дустмурад-бобо: у него старший сын был в армии...

После этой ужасной вести никто уже не взялся за работу. Все, подавленные, растерянные, возвратились в кишлак.

Каракоз ждала Гаибназара у калитки. И, завидев его издалека, бросилась к мужу, припала к рубашке, пахнувшей полевой травой. Гаибназар обнял ее с любовью.

— Что делать? — спросила она, взглянув на него заплаканными глазами. Он не ответил, хмурился, прижимая к груди ее голову.— Не забыл, как ты в детстве мечтал стать красным солдатом? — укоризненно напомнила она.— Видно, ангел войны услышал это однажды и сказал «аминь»...

— Господь с тобой, Каракоз, разве дело во мне? Горе пришло ко всем людям. Теперь солдатами станут многие...

— И ты уйдешь?! — воскликнула она.— Тогда и меня возьми с собой?! Я не останусь одна. Те, кто пялит на меня глаза, как волки, разорвут меня!

— Успокойся, Каракоз, что ты... Сейчас не такое время, чтобы думать только о себе. Помнишь, в школе сиротам раздавали одежду и нам с тобой выдали пальто, ботинки. Ты была совсем маленькой и спросила меня: «Кто прислал все это?» Я ответил: «Дедушка Государство»,— и все смеялись. А ботинки тогда пришлись очень кстати, ведь мои совсем изорвались, но я все равно берег их, нес в руках, а сам бежал в школу босиком, по снегу. И когда ноги сильно замерзали, я грел их в родниках у обочины дороги. Тебе было жаль меня, ты бежала следом и плакала. Потом мама отнесла те ботинки мастеру Тиловкобилу-бобо, но он не взялся починить их. В тот день, возвращаясь из школы, мы встретили ничего, и я отдал старшие ботинки ему. Он даже заплакал от умиления, и все без конца благословлял нас, и крикнул вслед: «Позовете меня на вашу свадьбу!» И нам было это ужасно смешно... А теперь, когда пришла такая беда, если каждый из нас не по-

думает о государстве, не встанет на его защиту, дети вообще не смогут ходить в школу и вся жизнь перевернется, Каракоз.

Каракоз плакала безутешно, горько, уткнувшись лицом в его выцветшую голубую рубашку:

— Повяжи платок! — мягко сказал ей Гаибназар. — Вытри глаза. Как ты побледнела! Наверное, ничего сегодня не ела. Пойдем в дом...

Ташбуви не плакала — сухими тоскливыми глазами она глядела на сына, как будто хотела наглядеться впрок на всю жизнь.

Они молча обедали.

— Многие сейчас уйдут добровольцами, — прервал молчание Гаибназар.

— Смотря кто... — хмуро возразила мать. — Найдутся и такие, кто через Ойкор уйдет в сторону Пенджикента... Говорят, уже сегодня несколько человек, не заходя домой, прямо с поля ушли в горы...

— Болтовня! — раздраженно заметил сын. — Кумушки сочинили.

— Кумушки?! — воскликнула Ташбуви. — Так вот, представь себе, что Камариддин исчез сразу, как только узнал о войне. Уж этот шкурой чувствует опасность. Все быстро понял и удрал не мешкая...

— Он — другое дело. Из этой собаки лишь предатель и мог получиться.

— А Юсуф-Дум каков? Говорят, собирается отправить сына в Душанбе учиться. Хорошенькое время выбрал для учебы! Других парней на фронт отправляет, а своего припрятать хочет.

Каракоз не вмешивалась в разговор Гаибназара с матерью. Ей не было дела сейчас ни до кого на свете. Мысль, что Гаибназар может скоро покинуть ее, терзала Каракоз и причиняла невыносимую тоску и тревогу.

— На днях в кишлак приезжает представитель военного комиссариата. Мы с ребятами договорились: уйдем все вместе, — произнес Гаибназар, не глядя на мать и жену.

— На днях! Так скоро?! — Каракоз смотрела на него с мольбой и отчаянием.

— Да. — Он низко опустил голову, почти машинально продолжая есть остывший суп.

Пришла Энакиз, обняла зятя, поплакала.

— Что делать, что делать? — приговаривала она горестно, целуя его в глаза, в лоб.

Ташбуви принесла для Энакиз пиалу с супом, поставила на дастархан перед сватьей. Но та есть не стала.

Так и сидели они молча, лишь изредка перебрасываясь печальными словами, вздыхая тяжело, поглядывая тайком на Гаибназара. А он чувствовал себя виноватым, что оставляет троих дорогих ему людей, но иначе поступить не мог и думать не мог об иной участи, как только о той, чтобы в эти первые ужасные дни и до самого конца — своего или войны — быть вместе со всеми, сражаться, стоять насмерть.

Глава восьмая

Наутро третьего июля по радио говорил Сталин. Возле длинного одноэтажного здания школы под репродуктором толпились люди и, напряженно поднимая головы, жадно слушали. Они верили в этот голос и ждали новостей, которые могли бы обнадежить, внушить веру в благополучный конец огромного несчастья.

В центре толпы, окруженный со всех сторон, прямо под репродуктором стоял Исмаат-арбакеш* — он понимал по-русски — и, яростно жестикулируя кулачищами, беспорядочно и горячо переводил:

— «Товарищи! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои...»

Беда пришла безмерная, все это чувствовали.

Каракоз с Гаибназаром стояли тут же. Он сжимал ее руку так сильно, что ей впору было вскрикнуть от боли, но Гаибназар не замечал этого и все продолжал судорожно стискивать руку Каракоз, словно боясь, что жену отнимут...

Женщины плакали. Слишком много сыновей, мужей, братьев должны были уйти на войну.

Через два дня в кишлак приехал представитель военного комиссариата. Узнав об этом, парни разыскивали его по всему кишлаку.

— Где же он? Где остановился?

Наконец кто-то сказал: у Юсуфа. Все возмутились.

— Не нашлось другого дома?

— Где справедливость? Представитель военного комиссариата в гостях у человека, который с первого дня войны отослал сына подальше?

* Арбакеш — возница; здесь кличка.

— Чего ты шумишь, откуда постороннему человеку знать Юсуфа и его грязные делишки?..

— Куда определили, там и остановился.

— Неправда! Представитель государства должен принимать нас в официальной обстановке!

— Правильно говоришь!

Наконец, пошумев, отправились все к дому Юсуфа. У резных широких ворот остановились, и приятель Гаибназара Джура, подняв с земли камень, сильно постучал им в ворота. Несколько минут спустя приоткрылась калитка и в ней появилась бритая блестящая голова Юсуфа-Дума. Он помаргивал заплывшими лисьими глазками.

— Заходите, джигиты, заходите. Мы ждали вас,— суетливо твердил он, всем видом показывая, что готов принять гостей.

— А что, пошлете учиться в Душанбе? — громко спросил Джура.

Юсуф побагровел, ответил, скосив глазки:

— Пошлем, если поедете...

— Не поедем. Пусть трусы учатся... как от фронта увиливать. А у нас дело поважнее.

— Хватит, ребята,— вмешался Гаибназар, успокаивая товарищей, и повернулся к Юсуфу: — Человек из военного комиссариата у вас?

— Здесь он, здесь, проходите.

— Вызовите его сюда.

— Вай, джигиты, зачем человека от дастархана поднимать? Заходите в дом, так будет лучше!

— Вам говорят, позовите! — крикнул Джура, протискиваясь к Юсуфу. — Что за человек этот представитель! В такое время посиживает, чай распивает!

Поняв настроение юношей, хозяин молча, шаркая большими калошами, побрел в дом. И вскоре оттуда, сопровождаемый Юсуфом, вышел худощавый, небольшого роста, смуглый человек с волевым лицом, на котором круто выпирали скулы, подбородок, височные кости. Одет он был в офицерскую форму.

— Здравствуйте, ребята,— негромко и просто сказал он. — Извините, заставил вас ждать. Ну, куда пойдём? Ведите.

И все молча отправились к холму Русского. Впереди шел офицер, следом парни. Юсуф-Дум семенил сзади. Неожиданно его взгляд встретился с взглядом Гаибна-

зара. И Юсуф отчего-то растерялся и, неловко улыбнувшись, спросил:

— Слышал, ты женился, Гаибназар... Хотел зайти поздравить, да все никак не соберусь...

— Появились дела поважнее, Юсуф-ака,— сдержанно ответил Гаибназар и больше уже не отвечал ни на суетливое поддакивание Юсуфа, ни на его причитания о «проклятом фашисте».

Поднявшись на холм, офицер сел на теплую землю, густо поросшую травой, и открыл старую, потертую кожаную папку.

— По очереди, ребята. Фамилия, имя...

Он записывал не торопясь, своими жестами и словами сообщая спокойную уверенность парням из кишлака. Потом выдал повестки и, попрощавшись с каждым за руку, сказал:

— Итак, в будущий понедельник всем в военный комиссариат. К отправке подготовиться как следует. Побольше набирайте теплой одежды.

В доме Ташбуви готовились к отправке Гаибназара. Выстиранная руками Каракоз одежда висела во дворе на веревке и вздымалась от порывов теплого летнего ветра. Ташбуви толкла в ступе толокно, стараясь стоять спиной к детям, чтобы не видно было быстрых слез, катящихся по лицу прямо в ступу. С самого утра приходили соседи, приносили каждый что мог: кто несколько шариков курта, кто немного кураги.

Во дворе Энакиз вдоль арыка весной Каракоз посадила тыкву. Одну, самую спелую, Энакиз срезала и сделала с нею самсу, приговаривая, пока она пеклась:

— На счастье, на здоровье, чтоб все хорошо кончилось.

С невысокого, согнувшегося от тяжести плодов дерева она сорвала несколько груш — первых в этом году.

— Пусть попробует, прежде чем уедет.

Вечерело... Возвращалось с гор стадо овец. Но ребяташки уже не приветствовали его радостными выкриками — все было тихо. Да и время текло необычайно медленно. Гаибназару, сидящему на своем крыльце, казались маленькими сейчас и дом и дворик с арыком, даже Ойкор будто стал меньше. «Но он сможет остановить врага»,— подумал Гаибназар, с любовью глядя на знакомые с детства очертания вершин, на тополиную рощу, темнеющую вдаль мрачной пятерней, словно ког-

да-то очень давно великан оперся рукой о склон горы — и след остался...

Неслышно подошла Каракоз, вытирая о передник мокрые после стирки руки. Он оглянулся, взял ее ладонь и прижал к своей щеке.

— Пойдем? — сказал он, поднимаясь.

— Куда? — удивилась она.

— В Дуланазар... В последний раз пойдем... Хочу запомнить родные места, какими будут они сегодня, в последний вечер, с тобой...

Когда они подходили к Дуланазару, из-за гор медленно и величественно выплыла луна.

— Есть еще время до полнолуния, а? — спросил Гаибназар, кивая на луну.

— Да,— тихо ответила Каракоз.— Хоть бы этот год пролетел скорее. Проклятый год змеи. Всегда что-нибудь случается в год змеи. Мне кажется, и луна сделалась другой — холодной и чужой. И пятен как будто стало на ней больше.

— И ей тяжело, моя родная. Нелегко, наверное, освещать эти безрадостные вечера.

— И все-таки она счастливей меня! Она никого не отправляет на войну...

Он молча притянул Каракоз к себе, обнял за плечи.

— Как ты думаешь,— спросила она,— если перейти Мажнунтолсай и Дуланазар и взойти на вершину Барсакелмес, далеко оттуда до ледников, где лежит Покиза?

— Почему ты опять вспомнила Покизу?

— Если мы ее не вспомним, то кто же?..

— Но сегодня не надо вспоминать! — возразил он, хмурясь.

— Я так люблю эти места, Гаибджан, особенно Мажнунтолсай — как увижу, сердце сжимается. Здесь каждая нива похожа на одинокую девушку. А может, раньше они и были девушками, вышли погулять, разбрелись по лугу, и вдруг волшебные чары превратили их в плакучие ивы...

— Вечно ты сочиняешь небылицы... Вчера мы с ребятами ходили к Нурману-бобо, получили его благословение. Старик опечален этой войной и уверен, что она будет долгой: приметы есть. Говорит: «Вернетесь — меня уже не застанете в живых...» Мне так жалко его стало.

— Гаибджан, неужели война будет долгой?

— Что ты, любимая, я скоро вернусь.— Он увидел, как в ее глазах, в ее черных глазах, которые он так любил, блеснули слезы. Тогда Гаибназар взял в ладони ее лицо, повернул к себе: — Не мучай меня так, Каракоз!

Она заговорила горячо, сбивчиво:

— Что мне делать, ну скажи, что мне делать?! Я не могу представить себе жизни без тебя! Хоть месяц, хоть неделю! Мы никогда еще не расставались.

— А сейчас пришло время расстаться. Но ты будь мужественной, будь терпеливой. Теперь вся работа ляжет на плечи женщин...— Он вспомнил хитрую улыбку Юсуфа-Дума, его повадки и глухо добавил: — Остерегайся старых волков кишлака.

...Густые сумерки мягко, бесшумно обволокли при- тихшие горы. Свечными огоньками затеплились над черными вершинами звезды. Огромный старый боярыш- ник в двух шагах от Каракоз затаился, словно черный медведь, караулящий добычу.

— Ой, боярышник! Вот здорово, сейчас нарву яго- док! — Она бросилась к кусту, нагнула верхние тонкие ветки.

— Зачем тебе?

— Секрет.

— Нет, правда, зачем?

— Нарву ягодок, нанижу на нитку, а ты пришьешь их под мышку, с изнанки гимнастерки. Это бережет от беды и ран — так еще бабушка Нозик говорила.

— Ты веришь этому?

— Бабушка Нозик говорила всегда только сущую правду. Знаешь, я вспоминаю ее чуть ли не каждый день. И очень тоскую, что нет ее в живых.

— Пять лет уже...— задумчиво произнес Гаибназар.— Да, лучшего человека я не знал. Она все умела, пом- нишь? Знала названия всех трав и умела лечить все болезни.

— А как она давала советы! Выскажешь ей, что на душе, и сразу легче становится...

Гаибназар потянулся к кусту — помочь Каракоз.

— Нет, не трогай! — воскликнула она.— Только я должна это сделать.

Она сосредоточенно искала что-то в ветках боярыш- ника, пригибала их низко, обламывала.

Лежа на спине, Гаибназар внимательно и влюблен- но смотрел на ее загадочные, мягкие, полные древней

женской тайны движения. При свете луны белело ее лицо, мелькали двумя тихими голубками руки, и сердце Гаибназара наполнялось неведомой ему до сих пор нежной тоскливой страстью, жадной, огненной силой желания. Каракоз рассовывала ветки по карманам жилета, проводила ими по глазам, бровям, сосредоточенно, трогательным шепотом читала молитву.

Гаибназар рывком сел на траву, обнял колени, сильно, мучительно хрустнул пальцами и негромко позвал:

— Каракоз!

Она оглянулась.

— Я собираю тебе ягоды. Вот, в твою тюбетейку.

— Иди ко мне...— проговорил он.

— Сейчас, беру полнуюю...

— Иди же...— тихо и страстно повторил он. И Каракоз вздрогнула от этого голоса и бросилась к нему, опустившись рядом на колени.

— Что? — дрожащим шепотом спросила она. — Чего тебе?

Он молча сильно обнял ее, увлекая за собой на траву, и тюбетейка выпала из ее рук, красные ягоды боярышника рассыпались, затерялись в густой пахучей траве...

Тихо, монотонно шумел листвою Дуланазар. Неподвижная медная луна играла маленькими камешками в сае. Вода бормотала что-то, сердилась, унося с собой камешки в дальние дали, а они не хотели покидать любимый сай, таинственные игры с луной и цеплялись друг за друга, пытаясь остановиться. С ближнего утеса донесся горький надрывный крик кеклика, гремя камнями, куда-то быстро пробежала газель...

Природа была опьянена любовью. Все сущее было только страсть.

На рассвете они вернулись в кишлак...

Запыленный грузовик с поднятыми бортами стоял возле школы. Шофер — русский парнишка с юным усталым лицом, ввалившимся глазами — время от времени покрикивал по-узбекски:

— Давайте, давайте, ребята! Пора.

Но отчего-то не ехал, все не ехал, с тоской оглядывая толпу провожающих. Плач, причитания, стоны слышались со всех сторон. Провожать ребят пришли близ-

кие и дальние родственники, и соседи, и просто знакомые — словом, перед школой собрался весь кишлак. В этой сутолоке, в слезах, в беспорядочном повторении прощальных слов Гаибназар никак не мог проститься с Каракоз по-настоящему. Все ему казалось, что главное-то он не сказал, что-то забыл и уже не вспомнит.

— Береги нож отца,— в который раз говорила Ташбуви.— Не потеряй, смотри! Вещь погибшего за веру спасает от несчастья.— И снова и снова целовала сына, не отпуская его от себя.

— Давайте, ребята! — взмолился шофер.

Стали наспех напоследок обниматься. Гаибназар наконец обнял Каракоз, прижался лицом к ее лицу. На губах его остались ее слезинки.

— Я тебе отвечу на стихи,— быстро, горячо бормотала она,— обязательно отвечу, завтра же! Ты напишешь?

— Я обязательно напишу, сразу же, как приедем! Каждый день буду писать, ты слышишь?

Грузовик заурчал, качнулся, подал назад и стал медленно разворачиваться.

— До свидания, мама! — крикнул Гаибназар, стоя в грузовике среди других парней, отчаянно машущих руками, что-то кричащих.— Каракоз оставляю на ва-ас! Прощайте, Энакиз-хола!

— Будь здоров, мальчик мой! Возвращайся с победой!

Он смотрел на высокую фигуру матери, на ее скуластое, темное от загара лицо, на маленькую, сутулую уже Энакиз-холу с непокрытой седой головой, на тонкую беззащитную Каракоз, стараясь все запомнить.

Когда грузовик отъехал уже метров на сто, Каракоз вдруг выбежала на дорогу и удивительно быстро помчалась вслед за машиной.

— Гаибджа-ан! — умоляла она, протягивая к грузовику руки. — Вернись, Гаибджан!

Шофер высунул рыжую голову из кабины, сморщился страдальчески, закрутил головой и прибавил газу.

Глава девятая

На третий день после отъезда Гаибназара Каракоз вышла на жатву.

— Вай, нехорошо, не прошло еще и сорокаднейвья*

* Здесь то же, что медовый месяц.

после твоего замужества! — говорила Ташбуви. — Не хорошо, что люди скажут...

— Сейчас все выходят на жатву, — возражала Каракоз, — и старики и дети. В бригаде Гаибназара жнецов не хватает. Вот я и буду вместо него.

Бригадой теперь руководила Зухра-апа, женщина энергичная, мужиковатая, умевшая и поспорить, и с мужиками сцепиться. С этой женщиной считались все, — от председателя до табельщика. Тихонь она не любила, смеивалась над ними и всячески задевала. Зухра-апа трудилась не зная усталости с утра до поздней ночи и от других требовала того же. Не считая нескольких стариков, на полях работали одни женщины. Но обмолотом пшеницы и отправкой ее в район занимались мужчины, не призванные на фронт по каким-либо причинам.

Еще не кончилась жатва, как на поля высыпали сборщики колосьев. Напуганные голодом, который пророчили старики, они не оставляли на земле ни зернышка. Чабаны ворчали: на сжатых полях теперь невозможно было пасти скот. Приходилось угонять его подальше в горы.

Дни пролетали быстро, проходили недели, а конца войны не было видно. Письма от Гаибназара шли, правда, аккуратно, и Каракоз отвечала сразу, в тот же день, подолгу сидя возле керосиновой лампы, мусоля карандаш.

Она ждала ребенка. И это странным образом успокаивало ее, вносило мир и равновесие в ее истстрадавшую душу. Ей казалось, что, пока она носит его ребенка, с Гаибназаром ничего не может, не должно случиться.

Обе матери через день ходили на базар продавать кислое молоко. На вырученные копейки покупались драгоценные полкилограмма пшеницы. И это было очень кстати, потому что кончались запасы зерна, оставшиеся после ухода Гаибназара на фронт. Энакиз и Ташбуви, как сговорившись, подсовывали лучший кусок Каракоз. А когда она сердилась, уговаривали:

— Ты сейчас двоих кормишь.

Зима пришла холодная, с ветрами, с гололедом. Такой зимы не было в их краях лет пятьдесят. Старики качали головами, говорили про какие-то приметы. Ойкор стоял снежный, суровый, неприступно-холодный.

В эту зиму, как в детстве, Каракоз подолгу сидела у окна. Но теперь это было окно Гаибназара. Из этого

окна он всегда смотрел на нее, когда она мыла голову. К этому подоконнику прикасались его руки. Часто, оставаясь одна, Каракоз наклонялась и трогала руками побелевшие от времени доски. Вот только окошко было повыше, чем в доме Каракоз. Если не подложишь тюфяк потолще, то и на улицу не поглядишь. Хорошо было в доме у мамы: подбородок приходился как раз на край подоконника. Смотришь, смотришь, бывало, на улицу и не заметишь, как уснешь. А отцовская могила видна и отсюда. Чудно получается — день и ночь отцовская могила перед глазами, стоит только в окно взглянуть, а вот проведать отца, посидеть около его могилы — это случается только раз в год, на курбанхаит*. Обычно они с матерью подходят чинно понурясь, торжественно и молча стоят над холмом, под которым лежит отец. Потом садятся, и мать принимается рассказывать разные разности, вспоминать времена, когда отец еще был жив. Рассказывает и плачет. А Каракоз вначале поплачет, а потом сидит тихонько, подбородок в колени уткнув. Энакиз обнимет ее и говорит нараспев, печально, подняв лицо к небу: «Аллах, дай Каракоз долгой жизни...» В первые годы после смерти мужа Энакиз все никак не могла успокоиться. Ничего не помогало. А потом старуха гадалка научила взять с могилы щепотку земли, размешать в воде и выпить. Говорят, это успокаивает. Земля холодная, со временем и страдающее сердце охладевает, забывается... Тяжелее всего страдания живых...

...В эти зимние месяцы Каракоз спала плохо, во сне металась, плакала, сны все были странные, отрывистые. Она просыпалась и сразу забывала их. Но тот сон о Покизе и горящих ледниках все помнила, все не выходило из головы обугленная Покиза на белом коне, черный как сажа снег, далекие, объятые пламенем ледники.

В эти дни она много плакала, и ее старались не оставлять одну. И свекровь и мать чувствовали состояние Каракоз. Почти каждый день она перебирала вещи Гаибназара, подолгу держа в руках ту рубаху, в которой он был в последний день, на Дуланазаре. Ребенок в животе толкался, будто устраивался поудобнее, и с каждым днем, прислушиваясь к его ласковой, несмышленной еще, нездешней жизни, она любила его все сильнее и еще больше думала о Гаибназаре.

* Курбанхаит — мусульманский праздник жертвоприношения.

В эти дни почему-то все вспоминалось детство, и с высоты нынешнего сурового времени оно казалось тихим, отрадным и трогательным.

Иногда она повторяла про себя «Верблюда» — их песенку-считалку, которую придумал Гаибназар. Между вершинами Кизилташ и Учкул высилась гора, похожая на улегшегося верблюда. Давным-давно расшалившимся детям бабушка Нозик грозила: «Разгневаются вершины гор, задует ветер, разыграется буран. Встанет Верблюд во весь огромный рост и зашагает. Всех затопчет!»

Когда, случалось, поднимался буран, они хором просили Верблюда:

Верблюд! Вели успокоиться ветрам,
Пусть не воют так страшно и дико.
Ляг преградой на их пути.
И покой придет к человеку.

И часто ветер затихал... Где же те прекрасные времена, вернутся ли?..

Каракоз мучилась вторые сутки. Люди говорят: «Солнце не должно вставать над головой роженицы дважды». Но, видно, права была Ташбуви, когда сетовала, что нет Гаибназара возле жены в такой день. Старухи верно толкуют: ребенок не хочет появляться на свет без отца. Не помогла и скатерть, дважды обнесенная вокруг головы роженицы*. Каракоз металась, молча стискивая руками легкое покрывало.

К вечеру схватки стали невыносимыми. В минуты, когда отпускала тело мучительная острая боль, Каракоз приподнималась на локте, просила пить и, случалось, не успев поднести ко рту чашку, роняла ее, пронзенная парализующей судорогой в пояснице.

— Кричи, доченька...— плакала растрепанная, осунувшаяся за эти двое суток Энакиз.— Зачем ты молчишь?

Тускло горела старая керосиновая лампа, возле нее раздался голос почтальона. Он звал Каракоз. Ташбуви, разгоряченная, в калошах на босу ногу, выскочила во двор и, выхватив из рук почтальона солдатское письмо,

* По мусульманскому поверью, это облегчает роды.

побежала в дом. Старик остался стоять во дворе обескураженный.

— Каракоз, доченька, письмо! Письмо от Гаибназара! Открой глаза, посмотри, его почерком написано письмо!

Она одной рукой пыталась приподнять отяжелевшую голову Каракоз, а другой поднесла конверт к ее глазам.

Но Каракоз вдруг, с неожиданной силой оттолкнув ее руку, выгнулась, мучительно напрягая спину, и закричала впервые за двое суток — пронзительно и страшно.

Ее дикий крик вылетел во двор, и старик почтальон, словно очнувшись, уважительно, с состраданием покачал лысой головой, улыбнулся в редкие седые усы и присел на крыльцо.

Отец шестерых дочерей и девяти сыновей, он знал, что вслед за этим криком должен последовать другой — крик новой жизни. И он последовал — жадный, требовательный писк новорожденного ребенка. Потом наступила хлопотливая тишина, нарушаемая лишь быстрым шарканьем калош по деревянному полу комнаты и отрывистыми негромкими возгласами.

Минут десять спустя дверь отворилась, из дома вышла пошатываясь измученная Ташбуви. Она опустилась на крыльцо рядом с почтальоном и сказала тихо и счастливо:

— Мальчик... Сын...

На ветке старого абрикоса с ней радостно соглашался удод.

На следующий вечер Каракоз уже писала ответ мужу...

«Здравствуй, Гаибджан! Он родился, наш мальчик... Чтобы ты вернулся скорее, а он бегал всегда и всюду за тобой, держась за твой палец, я назвала его Отакузи*. Пока он смешной и ничего не понимает. Смотрит, моргает. Я спрашиваю его: «Где твой отец?» Он молчит. Обе бабушки уверяют, что он похож на тебя... Возвращайся до того времени, как он начнет говорить. Иначе что я отвечу, когда он спросит про тебя? В кишлаке у нас голод. Люди даже едят молодую траву и пухнут от этого. Много умерло зимой. У Дустмурада-бобо умер средний сын Шавкат. Да и сам старик еле ходит. Когда

* О т а — отец, к у з и — ягненок. Буквально: ягненок при своем отце.

встречает меня, обязательно останавливает, спрашивает о тебе. Недавно его жена приходила, хотела одолжить немного кислого молока. Но мама унесла все молоко на базар. Я отыскала спрятанные матерью четыре кусочка курта и отдала бедняге. Она благодарила меня до самой двери — все пятайся и повторяет: «Дай аллах здоровья, дай аллах вам сына, здорового, красивого, да чтоб Гаибджан вернулся живым-здоровым». Но мама, возвратившись с базара, выбрала меня: «Хватило бы и двух штук, сейчас не время для гостинцев». Потом подумала и сказала: «Ладно, приближаются роды, хорошее дело сделала. Аллах даст, все обойдется, хорошо». Видишь, все так и вышло... Мы, к счастью, не голодаем. Матери прядут, каждый день носят на базар кислое молоко. Скоро жатва начнется. Говорят, всем женщинам опять придется выйти в поле. Мама говорит: «Подождешь, пока окрепнет ребенок, успеешь поработаться». Привет тебе от обеих бабушек, от маленького Отакузи. Когда ты приедешь?.. Гаибджан, когда ты вернешься ко мне?..»

После рождения Отакузи от Гаибназара перестали приходить письма. Тяжело, тоскливо тянулись дни. Каракос прятала свой печальный взгляд, стараясь, чтоб не заметили ее тягостного настроения мать и свекровь, подолгу возилась с маленьким сыном. Каждое утро она бежала к школе — слушать новости с фронта, как будто спокойный, уверенный голос в репродукторе мог сказать ей что-то о Гаибджане. Ночью она не смыкала глаз. И тогда на ум ей приходил тот сон о Покизе и горящих ледниках. Всеми силами она старалась успокоить себя, уверяла, что Гаибджан здоров и просто по какой-то серьезной причине не может прислать весточку.

А однажды тайком сходила к старухе гадалке в соседний кишлак. Старуха умела заговаривать воду. Она поколдовала над большой пиалой, побормотала что-то однообразно и монотонно, наконец подняла голову.

— Жив ваш муж, жив. Вижу целые зерна пшеницы. Вернется. А что не пишет — так, может, ранен или в окружении...

Обрадованная Каракос сунула в руки гадалки узелок с кукурузной лепешкой и тремя шариками курта и, возвращаясь домой, всю дорогу напевала еле слышно: «Вернется, вернется, вернется!..»

Поля желтели, сбрасывая свой зеленый халат. Таяли снега на вершинах Ойкора.

...За день до начала жатвы, утром к ним пожаловал сам Юсуф-Дум. Позади, опираясь на палку, ковылял Элмурат, который стал ныне видным человеком в кишлаке, — он заведовал распределением трудодней и за последние месяцы так притерся к Юсуфу-Думу, что всюду ходил за ним по пятам.

— Ташбуви-апа, сами понимаете, какое время сейчас, — проговорил Юсуф, широко улыбаясь, и за его плечом сразу расцвела так же широко и приветливо улыбка Элмурата. — Вся работа сейчас на женщинах и стариках. Все обессилели. Так вот, пришел предупредить вас: пусть на жатву выходит ваша невестка. Негоже дома прятаться, когда все в поле...

— Но у нее грудной ребенок, Юсуфджан-ака! — взмолилась Ташбуви. — На днях только сорокадневье прошло, как родила. Пусть окрепнет немного!

— На жатве все женщины и у всех дети, — непреклонно и наставительно возразил Юсуф-Дум, а Элмурат подхватил:

— Ничего, на току детский сад организуем.

— Какой детский сад, дорогой! Он совсем крошка. Разве поступают так люди...

— Смотрите, Ташбуви, вас предупредили... Люди разные бывают. Кто неприятностей боится, а кого они и не тревожат, хе-хе, даже развлекают!

Юсуф-Дум переглянулся с Элмуратом и шагнул к двери. Тот поспешно заковылял следом...

Через день Каракоз вышла на жатву. Теперь на рассвете уходила на поле, едва успев покормить Отакузи, поздно вечером возвращалась — еле живая, с разламывающейся от усталости поясницей. Грудь болела и набухала от прибывающего молока, часто ее било в ознобе или вдруг жаром обдавало лицо и плечи, а ребенок недоедал, ему не хватало молока, сцеженного наспех, на рассвете.

Но хуже всего было то, что писем от Гаибназара все не приходило. Просыпаясь глубокой ночью, словно от толчка, Каракоз уже не могла уснуть и тихо плакала, стараясь не разбудить ребенка, теплым комочком лежащего рядом.

Большинство работающих на поле были девушки-невесты и молодые женщины. Разговоры и шутки не

смолкали ни на минуту. Пожилые арбакеши и рабочие на току поддевали женщин бесстыдными замечаниями, те ахали, возмущались, и часто за всех отвечала разбитная, языкастая Зухра-апа. Вокруг нее собиралось еще несколько таких же, как она, мужеподобных энергичных женщин, ничего не боявшихся, никого не стыдившихся. Подоткнув подолы платьев, они работали, не щадя себя, ни в чем не уступая мужчинам, переругиваясь с ними заодно и нахально.

Эти острые на язык женщины посмеивались над Каракоз.

Она никогда не прислушивалась к их разговорам, не смеялась на бесстыдные шутки, занятая своими горестными мыслями. Когда выпадали редкие свободные минуты, она садилась поодаль от всех, такая же задумчивая и молчаливая, не отвечая на едкие замечания.

Снопы, связанные бригадой, в которой работала Каракоз, отвозил к току рыжеволосый кудрявый мальчик по имени Хужа, с худошавым безусым лицом, на котором неизменно лучилась доверчивая, доброжелательная улыбка. Женщины баловали вниманием этого красивого мальчика, и он смущался, густо краснел, не отвечая на задиристые вопросы. С первых дней работы на поле Каракоз ловила на себе его восторженный преданный взгляд, но сразу отводила глаза, хмуря брови. Как только выпадало свободное время, он бросался помогать Каракоз вязать снопы, все так же ласково улыбаясь ей.

— Ты погляди, как Хужа вьется вокруг нашей молчальницы!

Женщины перемигивались, громко смеялись, но и во взглядах, и в обрывках их фраз проскальзывала откровенная зависть.

— Не подходи больше,— хмурясь, негромко сказала Каракоз Хуже.— Видишь, смеются люди. Сама справлюсь.

— Так они ж шутят! — с мольбой возразил он. Но перечить ей не стал, отошел к своей арбе и оттуда молча грустно смотрел, как работает Каракоз.

Этот мальчик своей доброжелательностью, открытым нравом, желанием помочь и угодить напоминал ей Гаибназара, и она отворачивалась, сжимая зубы, сдерживая подступающий к горлу комок слез.

Далеко-далеко к горизонту уходили желтые поля спелой пшеницы...

Глава десятая

Когда она услышала эти страшные слова, ей показалось, что рухнул с невообразимым шумом Ойкор. А это просто заколотилось бешено ее сердце и в глазах потемнели разом небо, желтые поля, зеленые склоны гор. От неожиданности она даже не заметила, кто принес эту ужасную новость. Так и стояла на поле одна-одинешенька: все жнецы разбрелись после работы. Да и то правда — время тяжелое, у каждого свое горе... Но это... Вырвать бы язык тому, кто сказал: «Гаибназар перешел к немцам, вы слышали?» Страшная весть ходит среди женщин, передается от одной к другой. Кто это сказал, кто? Зухра-апа? Мاستон? Кто?! «Вы слышали, Гаибназар перешел к немцам...»

Как дошло это до забытого аллахом горного селения, за тысячи, тысячи километров от линии фронта?

Неправда! Не может быть! Ведь люди знают, что за человек Гаибназар! Он и немцам показал, кто он есть! Да, да, показал!

Господи, что будет, когда узнает мама...

С этого дня люди стали сторониться Каракоз. Только Гуландом, дочь Яманкула-бобо, заговаривала с ней по-прежнему просто и дружелюбно да часто подходил Хужа, помогал вязать снопы.

Казались вечностью длинные тягостные дни. Каракоз совсем замкнулась в себе, стала молчаливей, чем прежде, и работала много, ожесточенно.

В один из таких дней она вернулась с работы пораньше. С утра ей чудилось, что дома случилось неладное, заболел сын. И, сжав свой участок раньше срока, она отпросилась у учетчика. Домой почти бежала, не поднимая головы на встречных людей, глядя себе под ноги.

Но предчувствие обмануло ее: дома все было по-прежнему. Во дворе под старым карагачем на деревянной сури раскинулся в сладком дневном сне Отакузи. В маленьком кулачке он крепко сжимал зеленый стручок гороха. Рядом с ним задремала Энакиз.

Каракоз неслышно подслала к сури, загляделась на лицо сына с нахмуренными во сне, черными, как у отца, бровями, маленьким пухлым ртом. «Только бы ты был здоров, только бы ты был здоров...» — повторяла она про себя. Энакиз бормотала что-то в дремоте. Каракоз привыкла к этому с детства. Мать и прежде раз-

говаривала во сне, кого-то хвалила, кого-то ругала. Она стала такой беспокойной после смерти отца...

Энакиз проснулась, когда Каракоз, отойдя к арыку, умывала лицо бегущей прохладной водой.

— Что так рано сегодня, дочка? — воскликнула она, запроваля под косынку выбившиеся пряди волос.

— Отпросилась у учетчика. Показалось, что Отакузи заболел. Он вялый утром был... Я побыстрее все сделала и ушла.

— Не истязай так себя работой — надорвешься, — сказала мать. — Не забывай, что у тебя грудной ребенок.

— Ну, что вы, мама, как можно не работать в такие дни! — возразила ей Каракоз. — Саранча пожирает зерно, нужно как можно скорее закончить жатву. Говорят, в России ужасный голод.

— Это все тянутся несчастья прошлого года, года змен. Ты помнишь, и в прошлом году саранча напала на поля?

Каракоз поднялась, вытирая платком мокрое лицо.

— Идет кто-то... — проговорила она, прислушиваясь к шагам за калиткой. — Наверное, мама с базара возвращается.

Калитка распахнулась, и Каракоз с матерью застыли от неожиданности: во двор неспешно и важно, как к себе домой, вошел Самандар Холодный. Он прикрыл за собой калитку и развел руками, как бы собираясь обнять сестру и племянницу.

— Здравствуйте! — Он улыбался, всем своим видом давая понять, что не происходит ничего особенного — к одной пришел брат, к другой — дядя. Все по-родственному, по-хорошему. — Как поживаете, мои дорогие?

Энакиз засуетилась, бросилась встряхивать шкуры на деревянной сури и расстилать их снова.

— Проходи, братец, проходи... Слава аллаху, ничего поживаем, ничего...

— Как живешь, Каракоз? Почему никогда не зайдешь к нам? — продолжал спрашивать Самандар, удобно усаживаясь на сури. — Родственников забывать — грех.

— Зайдет, братец, зайдет, — торопливо заговорила Энакиз. — К кому же ей еще ходить, как не к родному дяде. Как здоровье твое, дорогой, Мастоной не болеет?

— Слава аллаху, ходим потихоньку, — усмехнувшись, ответил Самандар. — Тянемся понемногу... Хотя, конечно, тяжело приходится, как и всем.

Каракоз, взяв на руки Отакузи, молча отошла к крыльцу и села там, не скрывая неприязненного чувства к дяде.

Он, искоса взглянув на племянницу, продолжал:

— Вот пришел проведать, все-таки родная кровь, надо, думаю, заглянуть...

— Дай аллах здоровья тебе, братец. Конечно, близкие люди не должны забывать друг друга...

Воцарилась тягостная пауза. Энакиз теребила концы платка, не зная, что еще сказать брату. Каракоз упорно молчала.

— Похоже, эта война затянется... — начал Самандар осторожно.

— Да! — подхватила торопливо Энакиз. — Такое горе!

— Еще и Гаибназар, проказник, что-то там натворил. Мог бы с умом все сделать. Поговорить там с каким-нибудь доктором, какую-нибудь бумагу-справку достать, как это люди делают... Вернулся бы, как участника войны мы б его здесь почестями не обделили... — Он обращался к сестре и не видел, как побелев, прижимая крепко сына, медленно поднималась с крыльца Каракоз. — ...Сделали бы отвечающим за урожай, и все остались бы довольны...

Казалось, он говорил с удовольствием, и даже потерянную и слезы в глазах сестры будто доставляли ему огромную радость.

— Что ты сказал?!

Самандар оглянулся — перед ним стояла бледная, еле сдерживающая ярость Каракоз.

— Ты, подлец, пришел поздравить нас с этой страшной вестью? Убирайся! Эти слухи распускаешь ты и тебе подобные!

Самандар вскочил, попятился к калитке, с возмущением размахивая руками:

— А ты молчи! Жена изменника! Я виноват, видите ли, перед ними, что пришел проведать! Да подышайте себе, как собаки! Еще и вас расстреляют из-за этого пса-предателя!

Отакузи на руках Каракоз заплакал громко, жалобно. Она молча сунула мальчика оторопевшей Энакиз и, подбежав к сараю, схватила тяжелые вилы. Увидев это, Самандар, испуганный, бросился к калитке.

— Опомнись, Каракоз! — пронзительно крикнула Энакиз.

Но Каракоз, с необыкновенной легкостью подняв вилы, ринулась на Самандара.

— Гаибназар — предатель?! Это твой сын, которого ты упрятал за Ойкор, предатель! Убирайся отсюда, подлец! Я убью тебя! — кричала она, не владея уже собой.

Самандар, громко ругаясь, убежал вдоль забора прочь от дома сестры.

Каракоз с силой воткнула вилы в землю и зарыдала. Ей вторила жалкая, насмерть перепуганная Энакиз. Эту картину и застала вернувшаяся с базара Ташбуви. Молча, угрюмо выслушав всю нехитрую историю, она решительно проговорила:

— Довольно. Завтра поеду в район.

— Зачем? — спросила Энакиз.

— В военкомат поеду. Там все знают, должны знать. Пусть они скажут мне, что мой сын — предатель.

Ранним утром она вышла из дому и на попутном грузовике уехала в район.

...Возвратилась она под вечер, когда смеркалось. Тот же колхозный грузовик притормозил на дороге у поворота, где часа два неподвижно, как солдат на посту, ждала свою свекровь Каракоз. Машина еще не остановилась, а Ташбуви уже кричала прямо из кузова:

— Неправда! Все неправда! Клевета! — И выбравшись из грузовика, горячо продолжала рассказывать невестке: — В военкомате сказали: «Мамаша, нам такое сообщение не поступало. Спите спокойно, мамаша». — Она засмеялась. — Рыжий такой военный, веселый! — И повторила, копируя военного: — «Мамаша, мамаша!» Проклятые, не оставляют в покое ни живых, ни мертвых, ни тех, кто далеко, ни тех, кто близко... Милостивый аллах! Пусть мой сын вернется живым и невредимым, он покажет вам! Губы в кровь разбила бы негодьям, кто распустил этот слух!

И долго еще Ташбуви грозила кулаком неизвестно кому и снова начинала рассказывать плачущей Каракоз все сначала, с того момента, как открыла она дверь в помещение военкомата.

А сверху, с роскошного темно-синего бархата неба, смотрела безразлично медно-желтая луна и видела две женские фигуры, бредущие по пыльной дороге в кишлак: одну — высокую, костистую и крепкую, другую — трогательно тонкую и беззащитную.

Труд был спасением. Только работа отвлекала Каракоз от назойливых мрачных мыслей. Она жала, вязала снопы, сама относила их на ток, снова жала, снова вязала. Ничто не убивало так, как страшные картины гибели Гаибназара, являвшиеся в ее воображении непрошено и ярко, убеждая больше, чем любая действительность. Она отгоняла ужасные мысли и принималась за работу еще ожесточеннее.

Время от времени приходилось спускаться к саю. На берегах его, густо заросших высокой травой, в изобилии росла дикая мята, которой перевязывали снопы. Как-то, нарвав пучок мяты, она поднималась от реки и вдруг услышала крик Хужи — взволнованный, радостный:

— Каракоз-а-па-а-а! Каракоз-а-па-а-а! — Через секунду он показался наверху, размахивая руками. — Каракоз-апа, вам письмо-о!

Каракоз оступилась, упала, больно ударившись о камень, тут же вскочила и, прижимая к груди пучок мяты, припустилась бежать что было сил. Рыжий Хужа бежал рядом с ней, возбужденно рассказывая:

— Почтальон сказал, что даст только вам в руки, лично! Я говорю ему: «Дайте мне, я ее братишка!» Не согласился... Это от него, наверное, от Гаибназара-ака! Да здравствует Гаибджан, герой нашего кишлака-а-а!

На поле жнецы окружили старика почтальона тесной толпой. Все ждали новость — горестную или радостную, важно, что это была новость с фронта. Задышающаяся Каракоз бежала к почтальону, расталкивая людей, ничего не видя вокруг.

— Вот я, вот я; отдайте! — бормотала она пересохшими губами.

— Это заказное письмо, распишись вот здесь, — сказал почтальон, протягивая Каракоз какую-то бумагу и смачивая слюной толстый красный карандаш.

Каракоз, невидящим взглядом уставясь в бумагу, дрожащей рукой расписалась там, куда ткнул пальцем старик. Потом схватила письмо и, прижав его к груди, бросилась в сторону.

— Каракоз, подожди! Может, не от Гаибджана письмо, может, по-русски написано! — наперебой закричали ей жнецы. — Открой конверт.

Она остановилась, опасливо огляделась вокруг, слов-

но кто-то мог отнять у нее письмо, и судорожно рванула край конверта.

— По-русски написано... — беспомощно проговорила она.

— Пойдите, я мигом за Исматом-арбакешем сбегаю! — вскинулся Хужа. — Он здесь, на соседний ток снопы повез! Сейчас!

Каракоз кивнула, посмотрела на подпись: «Майор Русов». А в голове у нее стучало: «Не похоронка, не похоронка, а письмо. Значит, жив. Жив!»

Подошел Исмат-арбакеш, решительно, по-хозяйски взял письмо из рук Каракоз и стал громко читать, воодушевленно ставя в конце каждого предложения восклицательные знаки:

— «Уважаемая сестренка Каракоз! Я пишу вам из госпиталя, в котором лечится ваш Гаибназар! — Исмат-арбакеш гордо взглянул на собравшихся жнецов, откашлялся и продолжал читать: — Чувствую, что вы с нетерпением ждете от мужа письмо, переживаете, думаете о нем день и ночь. Мы обязательно победим. Потому что в нашей армии сражаются такие бойцы, как ваш Гаибназар. Он был тяжело ранен, но сегодня уже открывает глаза и все смотрит в окно госпиталя. Наверное, соскучился по вашему жаркому солнцу. Я показал ему жестаи, что напишу это письмо, он кивнул: «Да». Не отчаивайтесь, верьте в победу, она придет обязательно. Гаибназар вернется, но пока вы должны работать за него! Только общими усилиями мы одолеем проклятого фашиста! С уважением, командир роты майор Русов».

Исма-арбакеш торжествующе глядел на сотрясающуюся в беззвучном плаче Каракоз. Все молчали, наконец кто-то громко и отчаянно захлопал в ладони. Это был Хужа. И все сразу шумно заговорили, стали поздравлять Каракоз.

— Товарищи! — энергично рассекая воздух сжатым загорелым кулаком, воскликнул Исма-арбакеш. — Вы слышали все, что написал командир! На эти слова от-малчиваться нельзя! Только общими усилиями мы одо-леем фашиста! Я предлагаю выполнить сегодня двойную норму работы! Что скажете?

— Правильно говорит!

— Приналяжем, одолеем!

— За работу, друзья!

Спрятав драгоценное письмо в карман жилета, счаст-

ливая, окрыленная, Каракоз не замечала ничего вокруг. Только взмахи серпа и колосья пшеницы. Зашло солнце, потемнели склоны Ойкора, на Коккутане зажегся костер чабана. Луна окрасила желтое пшеничное поле в цвет тусклой латуни. Люди все не уходили с поля, и казалось, что их работе не будет конца.

Ветер гнал волны пшеницы до самых склонов Ойкора, это было похоже на морские валы, разбивающиеся о прибрежные скалы. Над полем стоял скрип арб, разноголосый говор жнецов, шум близкой воды, и где-то недалеко протяжно и скучно выл волк. В ответ в кишлаке заливались воинственным лаем псы.

Наконец, уже в густеющей темноте женщины сдали серпы старшему на току, бросились к кувшинам с водой, споря, кому первому умыться. Идущую с поля Каракоз догнала веселая Гуландом и ласково обняла за плечи. Каракоз, словно очнувшись, взглянула на нее и, улыбаясь, предложила:

— Пойдем через Дуланазар?

— Что вы, медведи нападут! — испуганно сказала Гуландом.

— Откуда медведи на Дуланазаре! Они только на Кизилташе встречаются.

— Да ну, боюсь...

— Чего боишься? Смотри, луна светлая, прозрачная, вечер такой теплый.

— Все равно боязно. Вон Хужа! Если он пойдет с нами, тогда, пожалуй... На Дуланазаре, бывает, и дурные чабаны встречаются.

— Ну, крикни ему...

— Хужа-а! Эй, пайнька! Пойдешь с нами через Дуланазар?

Хужу не надо было звать дважды. Радостно улыбаясь, он со всех ног помчался к Каракоз.

Когда они спускались к Дулансаю, в лица их влажно и успокаивающе задышала прохлада горной реки, струистые воды которой осторожно и властно увлекали за собой длинные ветви плакучих ив.

— Здравствуй-е, го-о-о-оры-ы! Он жи-и-ив! Он вернется!

Прогрохотало эхо в горах, покатилося вверх по ущельям, в свободное темное небо, перекликнулось несколько раз само с собой и смолкло.

Гуландом и Хужа с восторженным удивлением смотрели на Каракоз. Сейчас она казалась им сказочной и

сильной, как эти древние горы, и они преданно ждали ее повелений.

По узенькой спирали тропинки, держась за ветви арчи, они добрались до реки. Каракоз припала к знакомому боярышнику, прижала пересохшие губы к его бугристому стволу...

— Спасибо тебе, родной, уберег его от смерти, — бормотала она. — Дай аллах тебе быть всегда цветущим! Вот вернется он живым и здоровым, мы придем к тебе вдвоем и повесим на твои ветки венки из мяты...

Гуландом и Хужа молча переглядывались, следя за ее действиями. Вдруг Каракоз вскочила, нагнулась к реке, набрала в пригоршню воды и метнулась к боярышнику.

— Вот так... вот так... — приговаривала она, поливая водой землю вокруг ствола.

И Хужа тут же, сняв с головы тубетейку, бросился ей на помощь. Потом, водрузив на голову тяжелую промокшую тубетейку, стал камнем прорывать от реки арычек в сторону боярышника.

— Искупаемся, а? Каракоз-апа? — задорно воскликнула Гуландом и, смеясь, велела парню: — Иди купайся ниже, только не удери совсем.

Хужа смущенно отвернулся и побрел вниз по берегу реки.

Гуландом разделась и — угловатая, с выпирающими ребрами и ключицами, — взвизгнув, разом села в воду по самую шею. Она ухватилась за свисающие ветви ивы и крикнула:

— Каракоз-апа! Сюда! — и махнула длинной худой рукой.

Ледяная вода жгла разгоряченное тело, сильно увлекала течением вниз, так что приходилось цепляться за ветви. Через несколько минут Каракоз выбралась на берег и, чувствуя спиной и плечами теплое дыхание нагретого за день воздуха, оделась. Гуландом все еще плескалась в темноте длинной рыбой. Метрах в двадцати от них ниже по течению лежал на спине Хужа, пытаясь удержаться в воде.

— Э-эй, бесстыдник! — крикнула ему Гуландом и бросила в него камешком. — Вставай, чего разлегся на мелкоте?

Хужа вяло перевернулся на живот и приподнял голову.

— Не приставай! — откликнулся он.

Тогда в него полетела целая пригоршня мелких речных камней.

— Вставай, бесовестный! Смотрите-ка, лежит, не стыдится!

— Не бросай камни, сказано тебе! Прежде не стеснялась купаться с ребятами, а сейчас очень стыдливая стала!

...Каракоз сидела на берегу, перебирая мокрые пряди длинных волос, слушала веселую перебранку Хужи с Гуландом и думала о том, что вот такими же были и они с Гаибназаром — кажется, вчера все это было, а вот уже не повторится, не догнать, не вернуть...

Потом они возвращались в кишлак мимо мельницы. Сверху на мельницу с каменных вершин падала вода, и она была похожа на шалаш, присыпанный снегом. И далеко вокруг не было слышно ничего, кроме мерного шума падающей воды. Чуть ниже мельницы протекал сай, который и делил кишлак на две почти равные части. На воде этого бурного сая работали еще четыре мельницы в соседних кишлаках. В жаркие летние дни, в горячую пору ухода за посевами, из-за воды то и дело разгораются споры. Тогда колхозы избирают мираба — полновластного общественного хозяина воды, который и распределяет ее всем поровну.

Каракоз улыбнулась, вспомнив, как до вечера, бывало, носился Гаибназар, потный, усталый, в штанах, закатанных до колен. Подводил воду к полям. Для этого он бегал за мирабом целую неделю, выпрашивал воду для двух хозяйств — своего и Каракоз.

Уже подходя к кишлаку, она увидела на холме Русского одинокую фигуру матери, встречающей ее, и сразу стало совестно, что заставила долго ждать, не поспешила домой с радостной вестью. И Каракоз бросилась к матери, обняла ее.

— Мамочка, письмо от командира! Наш Гаибджан в госпитале, жив, но тяжело ранен. Лечится.

— Знаем, доченька, знаем... Арбакеш Исмат заходил, рассказывал. Только все давно домой вернулись, а тебя нет и нет. Забеспокоились мы с Ташбуви. Дай, думаю, встречу...

— А мы с Гуландом через Дуланазар пошли, вот и получилось дольше...

Она, радостно возбужденная, пересказывала матери содержание письма, а та все плакала, и благослов-

ляла неизвестного ей русского майора, и гладила дочь по голове, любуясь ее юным прекрасным лицом.

Костры чабанов на склонах Ойкора бросали красноватые мрачные отблески, и при внезапном взгляде могло показаться, что горы объяты пламенем.

Глава двенадцатая

Жатва заканчивалась, а рабочих рук все не хватало. Председатель колхоза заходил в каждый дом, убеждал невесток, дочерей выйти на работу, помочь.

Маленького Отакузи пришлось отдать в спешно организованные ясли. И Ташбуви, и Энакиз работали теперь в поле вместе с Каракоз.

Прошло несколько недель, как получили письмо от майора Русова, а от самого Гаибназара вестей все не было. И вновь в голову Каракоз приходили беспокойные страшные мысли, и она представляла себе Гаибназара, умирающего от ран на госпитальной койке. Вдруг он умер, а майор выписался и поэтому не может написать ей? Или просто не хочет убить ее этой страшной вестью... Который день почтальон проходил мимо дома Каракоз...

Часто на поле за работой женщины затевали разговоры, от которых испуганно замирало сердце. Особенно старалась Мастоно: наверное, не забыла еще то оскорбление, какое нанесли ее сыну.

— Такое время сейчас, — заговаривала она с какой-нибудь жницей, работающей рядом. Да так громко, чтобы слышала Каракоз. — Не знаешь — жив человек или погиб уже. Может, ты еще жена, а может, уже вдова...

— Не говори, Мастоной, — подхватывала другая, — сколько их будет после войны, вдов!

— Это ведь как бывает, — продолжала Мастоно, не глядя в сторону Каракоз. — Умрет человек от ран где-нибудь в тыловом госпитале, а им и дела мало. То ли отпишут бумажку, то ли не отпишут. А может, и отпишут, да она в пути затеряется. Их теперь много, этих бумажек, по почте ходит...

— Много-ого, — со вздохом вторила другая.

Вдобавок ко всему заболел Отакузи. Два дня он метался, не мог уснуть, плакал. Ночью Каракоз вскакивала от его хриплого плача, с ужасом щупала детский ло-

бик — горячий, сухой. Но фельдшер уехал по делам в район и вернуться должен был дня через три, не раньше. Целыми днями Каракоз заваривала ребенку травы, поила его молоком с медом — ничего не помогало.

На четвертый день, завернув Отакузи в старенькое одеяло, Каракоз и Ташбуви повезли его в районную больницу. Мальчик уже не плакал. Только отекшие губы его подергивались и слабо шевелились пальчики.

К полудню они добрались до больницы. Хмурый — огромная глыба в белом халате — доктор, осмотрев ребенка, повернулся к бледной, измученной Каракоз.

— Вы имете образование?

— Да... Закончила семилетку...

Он насупился, задвигал желваками на небритых щеках.

— Учились, все понимаете, почему раньше не принесли ребенка? Или не предполагали, что это опасно?

— Доктор... — сдавленно выговорила она.

— К мулле, к знахарке небось носили? А к фельдшеру не удосужились?

Каракоз хотела сказать, что фельдшера в кишлаке не было, но не сказала ничего, только прижала к лицу одеяльце и затряслась в рыданиях.

Возле Отакузи суетилась молоденькая медсестра — совсем девочка, похожая на Гуландом.

— Доктор... он поправится? — подняла на врача умоляющие глаза Каракоз.

Тот ничего на это не ответил, только осторожно накрыл ребенка одеяльцем.

— Останетесь с мальчиком здесь, — сказал он. — Будем делать все возможное, но ничего обнадеживающего я не могу вам обещать...

...Через два дня на старом сельском кладбище возле одинокой отцовской могилы появилась еще одна — маленькая могилка...

Жить в этом доме стало невыносимо. Безжалостные души Отакузи и Гаибназара днем и ночью мучили Каракоз, а причитания Ташбуви разбивали ее сердце.

— Твой приход обернулся несчастьем для моего дома! — стонала Ташбуви, не в силах скрыть отчаяния и страдания. — Не сохранил господь ребенка моего сына... Правду говорят, что единственная дочь бывает несчастливой...

Не выдержав ее причитаний, вида пустой детской калочки, Каракоз ушла в дом к матери. Страшно было

смотреть на Энакиз. За какую-нибудь неделю она постарела, казалось, на десять лет — глаза ввалились, плечи совсем сгорбились, руки подрагивали. Но больше всего ее убивало странное состояние дочери. Каракоз не плакала — безучастно смотрела на все вокруг блуждающим равнодушным взглядом. Часто среди ночи она вдруг вставала и быстро одевалась, точно собиралась идти куда-то далеко.

Мать, простоволосая, перепуганная, ласковым дрожащим голосом уговаривала ее, просила, объясняла, а потом насильно укладывала Каракоз в постель. После смерти Отакузи она не заговаривала ни с кем, даже с матерью. Так прошло недели две, пока наконец соседские женщины не увели Каракоз на жатву.

«Среди людей горе призабудется, — подумала Энакиз, с тревогой глядя вслед дочери. — Может, полегче ей станет...»

Заканчивалась жатва на полях Заркамара. На участках, очищенных от соломы, кишлачные ребятишки уже собирали колосья. Август стойким жаром обжигал склоны гор, расстилающиеся далеко вокруг поля, покрывал загаром лица и руки жнецов.

Каракоз хотела одиночества. Она работала словно в полусне, сторонясь женщин, лишь изредка коротко отвечала на сочувственные вопросы Гуландом. Рядом с ней все время крутился Хужа, стараясь хоть чем-то помочь Каракоз. И это видели женщины, обездоленные войной, обойденные мужской лаской, многие вдовы, невесты, потерявшие женихов. И негромко переговаривались между собой, бросая в сторону Хужи и Каракоз недобрые взгляды.

Время от времени надо было идти к саю, набирать воду в большой, с высоким узким горлом глиняный кувшин. Каждый ходил за водой по очереди. На этот раз, когда пришла очередь Каракоз, Хужа отвозил на ток снопы, и, довольная тем, что немного побудет одна, Каракоз подхватила кувшин и побрела к саю.

Когда спускаешься с поля к реке, голову дурманит запах мяты. Здесь прохладно, несмотря на жаркий полдень, и если поднять голову, то и небо, и плывущие по нему невесомые облачка кажутся тоже прохладными, спокойными...

Каракоз присела на краешек валуна на берегу сая и задумалась. Впервые со дня смерти сына она осталась одна. И как же ей захотелось плакать, плакать долго

и горько, может, тогда в ее груди хоть немного полегчало бы... Но слез не было, и только камень давил на сердце, становясь с каждым днем все тяжелее и тяжелее.

Она наклонилась к реке и, зачерпнув воды, быстро умыла лицо, выпрямилась. Потом наполнила кувшин водой и нехотя двинулась в гору. Сверху от чьих-то шагов посыпались камешки, и она вскинула голову. Это быстро, горопясь, вниз спускался Хужа.

— Каракоз-апа! — Он тяжело дышал и с укором глядел на нее. — Зачем вы сами за водой пошли? Я бы мог сбегать. Дайте кувшин.

— Не надо, Хужаджан, — с трудом проговорила она. — Не надо ходить за мной... Мне так тяжело... Оставьте меня в покое... — Голос ее задрожал, горло словно сжал кто-то цепкой рукой. Каракоз выронила кувшин, он покатился вниз, к реке. Она рухнула на землю и зарыдала громко, отчаянно, будто прорвалась наконец в груди рана, и из горла неудержимо, как кровь, хлынули рыдания. — О аллах, о аллах, зачем я осталась жить?! Прости меня, Гаибджан, прости, если ты жив, не сберегла я нашего Отакузи... Вернешься ли ты сам? Когда же ты вернешься, Гаибджан, скажи?! Нет у меня больше сил, нет сил жить, неужели нет тебя уже на свете?!

— Каракоз-апа... Каракоз-апа... Успокойтесь... Ради аллаха, успокойтесь... — беспомощно бормотал Хужа дрожащими губами, стоя над бьющейся в рыданиях Каракоз и не зная, чем помочь ей. Наконец, наклонившись, Хужа обхватил Каракоз, стараясь приподнять ее. — Каракоз-апа, встаньте, не надо убиваться так страшно... Земля холодная, простудитесь...

В это время наверху показалась одна из женщин. Это была Мاستон. Странно улыбаясь, она глядела вниз.

Слезы Каракоз застыли на лице ледяными каплями. И все тело обдало холодом.

Молча она карабкалась вверх. За ней, растерянный, потрясенный, держа за ручку пустой кувшин, поднимался Хужа. Не отрывая глаз от земли, Каракоз шла к работающим.

— Слишком молодого нашла, а? — ядовито улыбаясь, громко сказала Мастон.

— Что же ей делать, с мужем-то всего две недели и пожила! — вступила в разговор другая, словно Каракоз не существовало рядом.

— А она и сама не знает, на каком свете находится, — добавила Масто́н, — вдова не вдова, а что-то вроде этого... Не пишет он ей... Вот она и гуляет... Ишь, да же воду забыли в кувшин набрать, бесстыжие!

Эти слова все звучали в ее ушах, когда, не помня себя, она добежала до Мажнунтолсая. На небе сгушались тучи, мрачные черные покрывала, — собиралась первая за лето гроза. Сердце Каракоз бешено колотилось, и в голове не осталось ни одной мысли, кроме той, которая гнала ее все дальше и дальше — к далеким ледникам, вверх, вверх, навсегда...

А вот и боярышник... Вот он... Она прижала плающее лицо к его корявому стволу. Остановилась на мгновение. Не спас, не уберег... Гаибназара нет в живых, а ее имя бесчестят... Чтобы оправдаться, есть только один путь. И она его знает...

Ствол боярышника поцарапал ей в кровь лицо и руки. Она взбиралась на вершину Учкул, оставляя капли крови на ветках арчи, за которые цеплялась, на камнях. Не чувствуя усталости, она поднималась все выше и выше, и с каждым метром ей казалось, что позади она оставляет горе и позор и становится легкой и счастливой навеки.

Где-то внизу, в горах, мрачных от тяжелых теней, которые волочили за собой тучи, звучал чей-то испуганный зов:

— Каракоз-апа-а-а! Где вы-и?!

Эхо разносило и множило этот зов, перемешанный с плачем, и Каракоз испугалась, что ее найдут, настигнут. Кто это? Это он, Хужа? Голос слышался с Кизилташа. Что он делает там, безумный мальчик, его же медведи разорвут!

Она уже была близка к снежной вершине Учкул. Отсюда с каменной террасы виднелась пещера медведей на Кизилташе. И там, столпившись у края пропасти, стадо медведей сбрасывало вниз камни. Падающие камни тревожили другие, и вот уже за грохотом не стало слышно голоса Хужи. Ломая на лету молодые деревья, камни падали в сай. Наконец медведи стали медленно спускаться вниз...

Каракоз закричала, и крик ее смешался с глухим рокотом грозы. Пошатываясь, озаренная яростным блеском молний, она пошла в сторону ледников.

Прощайте, горы! Когда все люди на земле станут любить друг друга, когда исчезнут войны, горе и несправедливость, разбудите нас от вечного сна! И мы со словами «Здравствуйте, горы!» родимся заново — юными и счастливыми. Мы заживем другой, прекрасной жизнью, когда исчезнет вражда между людьми! Она взобралась на вершину ледника — частые злые молнии озарили горы, и казалось, что ледники объаты пламенем. Страшный свет плясал на снегу при вспышке молний. Загремел оглушительно гром, содрогнулись горы, с вершины сдвинулась с шумом снежная лавина.

Объятая ужасом, Каракоз вдруг поняла, что сотворила, и рванулась назад к жизни. Изо всех сил ухватилась за ветку арчи, торчащую из наста...

Снежный обвал сровнял все...

Небывалый ливень обрушился на селения и продолжался несколько дней. С гор прошел сель, разрушая русла рек, выкорчевывая деревья. Снежные шапки на вершинах уменьшились, осели... И хоть осень еще не пришла, Дуланазар щедро осыпал листья. Вековые ледники печально таяли...

Сложенная о ней песня начинается так:

Твой след мы искали в горах,
В ущельях выкрикивали имя...
А ты не нашлась, Каракоз,
Не отозвалась, Каракоз,
Ветры пропели, что ты на Ойкоре,
Сказали: успеете, пока жива...
А мы не успели, Каракоз,
Мы не спасли тебя, Каракоз,
Ты покинула нас, как Покиза,
Вечно свободная, вечно юная...

Каракоз пришло письмо от Гаибназара. Пишет, что вылечился, снова воюет, надсется скоро вернуться и укроет: так и не ответила Каракоз на его давние стихи. Или забыла их?..

Чернее черного твои глаза,
Мучают мое сердце.

Пушистые твои ресницы
Не скроют этих глаз...

...А может, и вправду, прожив эту жизнь на земле, через семь или четырнадцать поколений мы родимся заново, и встретимся, и будем счастливы?.. Кто знает... Так говорила бабушка Нозик, а она, как известно, говорила всегда только сущую правду.



НУРАЛИ КАБУЛ

САНГЗОР

Перевод Е. Третьяковой

Земля тебе — отец и мать,
И ты будь, как земля.

Восточная мудрость

I

В тот год предгорные долины были переданы лесному хозяйству, и отары овец начали перекачываться в степь. Чабаны теперь, хочешь не хочешь, вынуждены были считаться с новыми хозяевами их гор.

В нашем районе назначили егерем Худайкула-ехидноглазого, который прославился тем, что с каждым лез в спор даже по мелочи. Всю жизнь Худайкул работал где попало и как попало, теперь же, когда стал тагбеги*, откуда прыть взялась. Люди перестали свободно ходить по горам. Худайкул был без ума от радости: и должность высокая, и работа не пыльная, а главное, односельчане теперь, пусть не так уж часто, но пойдут к нему на поклон со своими просьбами.

* Тагбеги — егерь, объездчик.

Еще недавно кто бы заметил Худайкула, разъезжающего тут и там на своей чесоточной лошаденке? А теперь старшие чабаны сами стали искать его под предлогом дружеской беседы. Однажды, как бы между прочим, намекнули ему, что, если есть у него несколько овец, в любой момент в колхозную отару можно пригнать. Худайкул внутренне восторжествовал, но вида не подал. «С несколькими овцами как-нибудь и сами справимся», — ответил он, чтобы казаться человеком честных правил. Чабаны, решив, что желающих принять овец у Худайкула хватает, особенно не упрасивали.

Ждал-ждал Худайкул, когда придут за его овцами, да так и не дождался.

Приказ директора лесхоза Унгара Тилавова не пускать скот к молодым деревьям был объявлен на общем кишлачном собрании.

— Выпас скота на горах абсолютно запрещается, — подытожил Худайкул.

Его слова подтвердил милиционер, суетливый Алимурат, чей старый мотоцикл надоел своим тарактением всему кишлаку.

— Неправда! Не везде, а только в местах молодых лесопосадок, — запротестовал кто-то из односельчан.

— Теперь весь свой скот придется продать, — посоветовал другой.

— Тогда Худайкула, что ли, доить будешь?

— Егерь палку перегибает! Болтун!

— Верно сказано: появится удалец среди цыган, первым — свой дом спалит.

Но толком выступить против никто не решился. Почувствовав, что каждый боится за себя, Худайкул осмелел еще больше. С собрания они с Алимуратом уходили точь-в-точь как пристав с надзирателем.

— Слов нет на этого Худайкула! Никчемный человек — как собаке пятая нога. Но верно говорят: пока лошади прибывают подкову, осел ее брыкнуть норовит. Дали должность Худайкулу — весь кишлак одолел, — сказала бабушка однажды, завидев вдалеке идущего егеря. — Хорошо, что угля много припасли, людям за дровами в горы ходить не надо, а не то бы — не дай бог!

За сорок лет, прожитых на свете, Худайкул не поработал ни разу от души, ни дома себе толком не построил. Плешивый его глинобитный домишко по ночам не отличишь от холма в степи. А когда загорится единст-

венное окошко, выходящее на улицу, дом Худайкула прямо как притаившийся настороже желтый дьявол с красным глазом во лбу.

Мы живем в предгорье, на яссикире *, от этого все дома и деревья внизу кажутся игрушечными. Когда я наблюдаю за односельчанами, спующими во дворах по своим делам, их жизнь мне представляется такой простой! Даже слишком обыденной. Не знаю, в самом ли деле жизнь такова, или это мне только кажется, оттого что дом наш находится на горе, выше других...

— С другой стороны, придирчивость Худайкула тоже нужна. А то люди и Ойкор разнесут по камешку, — сказала бабушка.

Мысленно я с ней согласился. К своему саду-огороду люди никого не подпускают. Почему же в горах человек может делать все, что в голову взбредет?!

Вершины Ойкора с длинными белыми бородами ледников и густой зеленой арчовников, доносящееся с ветром пение кекликов — разве это не богатство? А родники, которые, сливаясь в хрустальные воды Марджанбулаксай**, несут жизнь, дарят радость людям и хлопковым полям?!

Когда думаю об этом, душа поет, а ноги сами несут меня вдоль берега — наперегонки с рекой. Бежал бы и бежал, если бы не обрыв Мушукджар***, такой крутой, что даже к краю его приблизиться страшно. Говорят, раньше у обрыва стояла мельница. Ох и много было шума в кишлаке, когда люди, приехавшие из райцентра, решили строить на месте мельницы электростанцию! По словам бабушки, те, кто разрушил мельницу, поплатились за это. Сам дух Дунетепа, хозяин Мушукджара, покинул свое жилище на солнечном склоне горы и явился перед одним из рабочих. У бедняги рабочего рот так и остался на всю жизнь кривым, а строительство остановили. Еще бабушка рассказывала, что раньше Мушукджар находился далеко в низовье, у кишлака Джарбулак. Смывала вода берега, смывала, и обрыв дошел до границ нашего селения. Только бетонная плита, положенная для электростанции, сумела остановить разрушительную работу реки.

* Яссикир — плоская вершина холма.

** Марджанбулаксай — дословно: родник из хрустальной воды.

*** Мушукджар — кошачий обрыв.

Когда я бегу наперсгонки с Марджанбулаксаем, струи весело играют речной галькой, со мною вместе по мокрым камням скачут солнечные лучи. Но стоит приблизиться к обрыву, мой задор остывает. Не могу себе представить, как хрустальная вода упадет в эту адскую пропасть, где одни колючки, где дикие кошки воют по ночам. Деревья и травы у берега протягивают руки, чтобы спасти, удержать прозрачные струи, но холодный Мушукджар неумолимо поглощает реку.

Выйдя из крепких объятий матушки-горы, любимого Ойкора, причесав густые волосы плакучих ив, бурно и весело бежит Марджанбулаксай через весь кишлак. Тербит душистые стебли мяты, щедро делится своей влагой с людьми, поливает жаждащие сады и огороды. В него глядится солнце, и он искрится от радости. А на Мушукджаре он закрутится воронкой и превратится в водопад.

Срываясь с обрыва, поток бушует, как бы утверждая: «Все равно ты бессилен, черный Мушукджар. Мне надо к земле, к зеленым полям, и я добьюсь своего!» Как я хочу, чтобы он победил, чтобы выбрался из адского обрыва на зеленые поля, которых я никогда не видел! Чтобы течь свободно и раскованно, видно, надо пробраться через обрывы... Место, где Марджанбулаксай вырывается из плена Мушукджара, видел мой отец. Когда я вырасту большой, я обязательно поведу туда бабушку. Я сказал ей об этом, и она ответила: «Повелит аллах, сходим».

Когда пошли разговоры о том, что все овечьи отары спустят к низовьям, к Туваксаю и погонят в Джизакскую степь, на горах оставят лишь немногочисленные стада коз, люди перестали обвинять Худайкула в придирчивости. Пастухи коз ходили именовниками, чабаны смотрели мрачнее тучи.

Помню, однажды к отцу за советом пришел бригадир чабанов, разговорчивый Саттар. На голове у Саттара как всегда топорщилась старая солдатская ушанка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом.

Когда мама поставила на дастархан блюдо с бешбармаком, разговор перешел к злободневному вопросу.

— В холода горы защищали нас от буранов, — сказал отец, приглашая Саттара попробовать бешбармак.

— Да уж, не говорите, к кошарам у Кирккиза не то что буря, камень с горы и то не попадет. Барану — лишь бы пастбище было сухим, тогда он и без прикор-

ма перезимует, — заговорил Саттар, неторопливо протягивая руку к блюду.

— Да, зимой, когда выпадет много снега, будет нашим овцам трудновато в степи. Это тебе не горы, где много защищенных от ветра мест и снежный покров не глубокий.

— Скотина с голоду дуреет. Чабан Раббим рассказывал, что в суровую зиму шестьдесят восьмого года у него целая сотня овец сдохла. Погибли, говорит, наевшись земли.

— Я сам видел такое. Овцы не могли выйти из кошары и грызли саманные* стены. Не подвези мы тогда сено, стены бы рухнули и кошара завалила бы скот.

— Верно сказано, Рахманкул-ака, — хоть зимовка один раз в году, зато с ней забот — круглый год. И никуда не денешься, если на роду написано быть тебе чабаном.

— Ну что ты?! В степи у людей много других профессий. Это тут нам нечего делать. Только и знаем, что с чабанской палкой за отарой ходить.

— Ночью не спится, если не слышно запаха отары... Да что об этом говорить! В горах до всего рукой подать. Кишлак у подножья, с любой вершины покричишь, — тебя услышат дома. А сколько у нас в горах разной дичи! Тут человек без пищи не останется. Особенно зимой. Проголодавшиеся звери сами идут к огню. Одним зарядом дробы можно убить кучу кекликов! — глаза у Саттара загорелись, он рукавом вытер вспотевший под шапкой лоб.

Отцу был не по душе азарт Саттара.

— А может быть, именно это и имело в виду государство, — строго сказал он. — В ту голодную зиму я около своей кошары встречал таких птиц, о которых отроду не слыхивал. Всякая божья тварь с голоду к человеку тянется. А человек, только на снегу что-нибудь зачернеет, — сразу за ружье. Да что ружье! Чабаны, молодые ребята, палкой орудуют! Это у них вроде спорта, ловкостью похваляются.

— Животные Ойкора и Моргузара голодали, потому что трактора лесного хозяйства не могли пройти через снежные заносы.

— К зимовке надо готовиться заранее.

* Саман — глина, перемешанная с соломой.

— Не подумаем как следует, не подготовимся, а потом за голову хватаемся: «Гора не гора без пения кекликов!» Волкам, нашим ойкорским разбойникам, скоро есть нечего будет.

— Вот переедем в степь, тогда освободимся, наконец, от волков. Сколько мы их ни били, каждый год остаются три-четыре самых матерых, пуленепробиваемых. Теперь они будут вымещать свою злобу на козах, — сказал отец.

— Коза — родня шайтану: и волка перехитрит! А в степи, говорят, вместо волков — шакалы. Огромные! Ягненка под мышкой могут унести.

— Это люди преувеличивают. Шакал не человек, чтобы брать под мышку. Наоборот, хищники в степи трусливые. Заорешь разок как следует, уберутся восвояси. А наши ойкорские волки — боже сохрани! Идешь на него с заряженным ружьем, а он сидит и глазеет на тебя в упор. Кстати, знаешь, Саттар, в стране сейчас насчитывается около сорока тысяч волков.

— И их, что ли, посчитали, как овец?!

— Посчитали. Люди специальные для этого есть.

— В степи места равнинные, там, наверное, собаки волка за десять верст почуют?

— Почуять-то почуют, но если что случится, то и не догонят. Там, в степи, на волков охотятся на мотоцикле: настигнут, ослепят фарами и стреляют.

— Да уж, теперь собаки не те. Раньше они были охотницы, а теперь дай нежареное мясо, — нос воротят.

— Зачем собак ругать? Люди сами виноваты, что собак к этому приучили. Сытая жизнь пошла. А собака, если хорошая, лучше иного чабана.

— А ветры какие зимой в степи! Как понесут снег с песком, — нет ничего хуже. Такой ветер кошару свалить может. Тогда прощайся со своими овцами: которых не завалит, те умрут от холода.

— Чтобы кошара не завалилась, на подветренной стороне надо насыпать плотную кучу сена. И ветру преграда, и запас на черный день. Сам знаешь, Саттар, когда сухую степную полынь подмочит снегом, нет лучшего лакомства для овец. Откровенно говоря, я не прочь поработать с кетменем в степи.

— Да что вы мне проповеди читаете? Говорите, как по писаному! Сам аллах дал нам в руки чабанскую палку. Деды, прадеды наши ее носили. Для нас это кров-

ное дело! Это — как клятва! — разгорячился Саттар.

— Время такое наступает. Мы с тобой пасем овец с палками, а другие — на мотоцикле.

— Все равно когда-нибудь припомните вы мои слова, — сказал Саттар, как бы предупреждая, мол, еще посмотрим, кто из нас окажется прав.

После еды Саттар двумя пальцами вытянул из кармана флакончик с насом, отвернул красивую крышечку, и, насыпав на ладонь кучку табака, отправил его в рот. Казалось, он весь сосредоточился на этой шепотке наса под языком.

Отец не продолжал разговора, не желая отвлекать Саттара от его табачной церемонии.

Но тут вмешалась бабушка, до сих пор молча мотавшая пряжу в углу:

— Что вам мировые проблемы решать? Куда вы только рветесь? Или в родном кишлаке не сытно живетесь?!

— Выходит, так, тетушка Аймума! Переселят нас в степь, — неуклюже выговорил Саттар, переворачивая табак под языком.

— Скажите: «Не согласны мы!» — бабушка пристукнула веретенком по колену. — «В горах отцы и деды наши жили. Здесь, — скажите, — наш дом!» Или вы боитесь, мужчины?

— Это дело государственное, а мы — простые люди, — пожал плечами Саттар.

— А государством разве не люди управляют? И у них две руки, две ноги, круглая голова. Разве не поймут, если вы объясните?

— У тех, кто решает, головы, как видно, умнее наших, — улыбнулся отец.

Сердце бабушки болело не только за нашу семью, но и за весь кишлак. «Оставить Ойкор, Марджанбулаксай, наши горы — это неуважение к духу дедов и прадедов», — поучала она нас. Весь мир для бабушки — это вечные белые вершины Ойкора, наш кишлак Бешбулак — «пять ручьев», приютившийся у подножия гор, нивы, грустящие над водой Марджанбулакская, напитанной густым ароматом трав.

Каждое утро бабушка выходила к реке, умывалась ее ледяной белопенной водой и рассказывала Марджанбулаксаю свои сны. Просила Ойкор быть милостивым, дать людям покой, работу и хлеб

насушный. Реку и горы бабушка любила как нас, своих детей.

— Может быть, это и лучше — переехать в хлопководческие районы. В колхозе детсад, школа. Во время хлопка будем спокойны за детей, — сказал отец, чтобы нарушить затянувшуюся тишину.

— У узбека отроду написано на лбу «хлопок». Не успокоится, пока хоть раз по хлопковому полю не пройдет, — изрек Саттар с таким видом, будто бы всю жизнь только и делал, что растил хлопок.

— Степные чабаны говорят: на хлопковом поле после уборки урожая отары набирают вес даже быстрее, чем на хлебной стерне. Семена, оставшиеся в нераскрытых коробочках, — сплошное масло. Скотина может лопнуть от объедения, если вовремя не сгонишь с поля.

В это время кто-то постучался у калитки: звали Саттара. К нему из степи Джидали-Лоховое товарищ приехал. Саттар засуетился, бестолково сдернул шапку и протараторил что-то на прощание, кивая головой каждому своему слову.

— Даже не простился как следует, — сказала бабушка в ответ на стук закрывшейся калитки. — Нечего вам делать в степи. Саттар пусть едет, если хочет, а тебя, сынок, никто там не ждет. Здесь еще будут нужны чабаны. Какая тебе разница: овечья отара или козье стадо?! А дом без мужчины — сирота. Дети твои еще малы, заменить тебя не могут. Как жена твоя, бедняжка, одна управится и со скотом, и с малышами, и с домом? Ведь я уже ей не помощница!

— Я же не уезжаю сегодня, мама! Директор пока еще не решил, кого послать в степь, а кого оставить. Я думаю, три-четыре отары оставят на Ойкоре на всякий случай. Может быть, и нас не тронут, — объяснил отец, чтобы успокоить бабушку.

— Не слушай ты болтуна Саттара! Он не хозяин своего слова, дружен лишь с тем, кто ему нужен. Отец его покойный, прости меня аллах, точь-в-точь такой же был. Не поддавайся ты на этот обман! Скажи: «У меня старая мать, куда я с ней поеду?!»

Потом отец вышел за хворостом, а я сидел и представлял, как мы поедем в степь, как минуем по дороге обрыв Мушукджар и увидим наш сай среди необъятных зеленых полей... Вот бы посмотреть на это хоть раз в жизни!

«Эх, сынок, не тебя, а себя винить мне надо: сама воспитала таким. Отец твой покойный тоже был из тех, кто, сойдя с коня, с седла не сходит». Так сказала бабушка, когда стало ясно, что мы переезжаем в степь.

— Благословите нас, тетя Аймумал! — едва войдя на порог, начал взволнованный Саттар. Он утер рукавом фуфайки пот с лица и тяжело опустил на землю.

Отец перевязывал веревкой тюк плотно скатанных одеял. Мама, стараясь скрыть беспокойство и недовольство переездом, молча собирала вещи. Бабушка сделала вид, что не замечает Саттара, как будто бы во всем был виноват он один. Морщины, избородившие лоб и щеки бабушки за долгие годы жизни, в этот день стали еще глубже, на осунувшемся от бессонных ночей лице казались живыми только ее глаза. Нитка в бабушкиных руках то и дело рвалась, веретено падало, может быть, из-за этого она сердилась все больше и больше. Отец знал, что лучше не смотреть в ее сторону. Только когда уже все было готово, он робко, как маленький, присел у ее ног.

— Как мы оставим вас? — вздохнул отец.

Было решено, что я останусь с бабушкой.

— Если жаль отдать мне ребенка — забирай, одна проживу, — ответила бабушка, не поднимая глаз от пряжи.

— Да я не об этом. Трудно вам будет без нас! И одному человеку нужны еда, питье, дрова, одежда, огонь в очаге. Всего вам впрок заготовили, но все же трудно придется...

— Не о себе я думаю, сынок. Как мне оставить дух твоего отца?! Он придет сюда, а меня нет, — в глазах бабушки появились слезы.

— Я буду часто навещать вас, нехорошо мне оставаться, когда решили ехать. Вы сами понимаете...

— Аллах поможет, сынок! Я согласна. Святое дело озеленить степь!

— Ну тогда благословите нас! Вот перевезу домашний скарб и с этой же машиной вернусь обратно. Потом погоним отары в степь.

Во дворе урчала машина, как будто сердилась, что мои родители так долго мешкают.

Ну и пусть меня не берут с собой! Я останусь с бабушкой. Она меня никогда не ругает. Отец не разрешил

мне уходить далеко от дома, а теперь я смогу убежать, куда захочу! Пойдем с ребятами на Мушукджар смотреть голубей. Теперь я свободен.

Наконец бабушка отложила веретено и подняла ладони для благословения.

— Амин! Жить вам в добре и здравии, благополучно добраться до нового места. Доброго пути, дети мои дорогие! Да поможет вам аллах!

В доме, обращенном к горам и солнцу, остались мы вдвоем. Теперь единственным близким человеком и советником для бабушки был я. Бабушка разговаривала со мной, как со старшими, на «вы». Не забывала спросить моего мнения, когда косить люцерну, где разложить виноград на просушку. И я серьезно отвечал. Я понял, что теперь уже не могу, как раньше, беззаботно бегать по улицам, что я должен следить за бабушкой, она теперь — мой ребенок.

Дни, казалось, потекли медленнее. Ровесников у меня в кишлаке почти не осталось, поэтому большую часть дня я проводил с бабушкой. Настало время делать заготовки на зиму, ребята помогали взрослым возить солому. А у моей бабушки не было других дел, как только мотать шерсть и совершать намаз. Пять раз в день она молилась богу. Когда мне надоело слоняться по двору, я присаживался около нее. Шептал себе под нос что-нибудь — совсем как бабушка — и повторял ее движения. Сначала бабушка отталкивала меня, не прерывая молитвы, а только видом своим говоря: «Что ты в этом понимаешь? Иди отсюда!» Но я продолжал сидеть. Потихоньку она привыкла... Как сядет молиться — я с ней. Она шепчет, и я шепчу: сначала идут слова не очень понятные, а в конце: «Амин! Посвящаю духу отца и матери».

Вечернюю молитву бабушка всегда заканчивала так. Но однажды она не провела ладонями по лицу, а продолжила:

— Аллах мой, дай мне увидеть смерть муллы Мансура и Рахима, его приспешника! Пока живы эти неправедные люди, стувившие моего мужа, не могу я умереть спокойно!

Конечно, я не повторил эти слова. И тогда, когда бабушка занялась чем-то по хозяйству, я все продолжал сидеть и думать: «Почему бабушка так сказала? Почему попросила смерти другим? Ведь она всегда учила нас: чем желать смерти другому, лучше помолись о сво-

ей жизни». Я очнулся, лишь услышав, как запрыгала крышка на старом медном чайнике.

Бабушка протянула мне маленький чайничек для заварки:

— Будь осторожен! Не обожги руки!

Я заварил чай и принес ей.

Бабушка отвернула фитиль лампы, чтобы огонек был поярче, и занялась своей пряжей. А я засмотрелся на звезду, видную в проем открытой двери. Выйдешь во двор, а звезды, оказывается, уже заполнили все небо, их свет рассеивает темноту. Горы дышат ночной прохладой. Шумный говор реки заглушает все звуки ночи. Лишь изредка сквозь него пробивается лай кишлячных собак или голос человека, который ищет не-пришедшую домой со стадом козу или корову.

Что делает сейчас там отец, далеко, на равнине? Не могу себе представить... Почему бабушка сегодня так сказала?..

— Ты о чем задумался? Соскучился по родителям? — спросила бабушка.

— Не-ет.

— Ты маленький, тебе еще рано грустить. Заботы мира пока не для тебя!

— Я думаю о ваших словах.

— О каких словах? — бабушка опустила веретено.

— Вы желали смерти другим. Вот я и думаю, — сказал я нерешительно, — что плохого сделали эти люди?

Бабушка долго смотрела на меня. Так долго, как будто увидела во мне кого-то другого, далекого, кого и не надеялась никогда больше увидеть. Веретено сорвалось и скатилось с ее коленей на кошму. Я подхватил конец нитки, смотал ее и протянул бабушке. Бабушкина рука, почувствовав тяжесть веретена, вздрогнула.

— Да, мой верблюжонок, — проговорила она тихо, будто вздохнула, — сделали плохое. Много я в жизни повидала. Хоть и неграмотная, а зло от добра отличать научилась... Не без причины пожелала я смерти тем людям. Только если бы слова так легко сбывались! Слово — не дело. Человек всякое сказать может. Душа человеческая не в словах, а в поступках раскрывается.

Твой дед был очень образованным, ниспошли ему аллах покой хотя бы на том свете! Он мечтал собрать всех ребятишек кишляка и организовать школу в мечети. Куда там! Люди не отдали своих детей на учебу.

«Кто, — сказали, — тогда баранов и коз пасти будет?» Но ученость его уважали: кому письмо, кому заявление составить, все шли к твоему деду. Тем и жили мы.

В это время пришла весть, что белого царя свергли, что теперь все будет по-другому. Потом появились басмачи. Когда они приходили в наш кишлак, мы прятались на Ойкоре. Ойкор помог нам тогда выжить. И вот стали организовывать колхозы. Какой-то начальник сказал твоему деду: «Будешь председателем!» — «Не учился я такому делу», — ответил твой дед.

Пришел он домой, рассказал обо всем мне. Не ждали мы беды, но, как известно, через соседский забор всякая весть вмиг перескакивает. И нашелся в округе злой человек, сумевший истолковать тот разговор по-своему... Рахимберды его имя. Не зря дед недолюбливал этого человека. Всякому встречному-поперечному старался Рахимберды в душу влезть, ни одного прохожего мимо своей калитки не пропускал, не поглядев за ним в щелку.

Однажды темной ночью Рахимберды и мулла Мансур привели четырех аскеров-красногвардейцев. Забрали твоего деда... Потом узнала я, что расстреляли его на каком-то... трибунале. Даже похоронить хотели без соблюдения обычаев, в большой яме, среди других. Эх, мои черные дни... И врагу такого не пожелаю. Не было человека, который мог бы потребовать правосудия. Из-за несправедливости ушел твой дед в иной мир.

Потом Рахим стал председателем колхоза, а Мансур, грязный мулла, — председателем сельсовета... Давно это было. Много воды утекло с тех пор в Марджанбулаксае... А ты знаешь, где теперь эти люди? Мансур, донесший, что твой дед «мулла и вражеский элемент», теперь опять взялся за коран, и бессовестный Рахим вместе с ним. На кладбище Бахмазар отпевают мертвых.

— Как же таким людям не стыдно жить на свете, бабушка?

— Они не люди, мальчик мой. Случается, что человек только рождается человеком, а потом, в драке за лучший кусок, отказывается от всего человеческого в себе.

Одно у меня осталось желание в жизни: чтобы аллах прибрал сначала их двоих. Потом уж и мне можно будет уйти спокойно. На кладбище все равны, но все же не хотелось бы умереть раньше своего врага. Эти двое

виноваты в гибели тридцати человек из нашего кишлака. Говорят, Рахим недавно переехал в Джизакский район. Стыдно, что ли, стало смотреть в глаза детям тех, кого он отправил на тот свет?!

Я никому не рассказывал о разговоре с бабушкой. Это был секрет, о котором даже подумать — и то страшно становится. Но вообще бабушка была права. Она у нас очень справедливая, все соседи уважают мудрость и истинность ее слов. Мне казалось, бабушка одной молитвой могла убить своих врагов. Всякий раз, когда она садилась за намаз, я боялся, что она повторит те ужасные слова.

А она говорила:

— Аллах мой! Не отрывай меня от родной земли! Забирай меня поскорее. Лучше умереть на Ойкоре, чем жить вдалеке отсюда...

Ладони мои так и остались поднятыми. Неужели бабушка хочет умереть?! И раньше бывало такое? Или это у нее оттого, что вся наша семья переехала в степь?.. Надо срочно сообщить об этом отцу.

Мы с бабушкой очень любим сидеть на холме перед домом и смотреть на сай. Течет по камням вода, струится нить между пальцев бабушки. Бабушка прядет, река тихонько подпевает ее работе. Я гляжу, как бегут по небу белые бурунчики облаков, и думаю: «Где начинается Марджанбулаксай? Наверное, там, на горизонте, где Ойкор соединяется с небом».

Однажды к нам подъехал Худайкул на своей чахлой кобыле.

— Хорманг, бабушка и внук! Как поживаете? — спросил он как всегда ироническим тоном.

— Слава аллаху. А ты сам? Здоровы ли твои дети? — спросила бабушка, мотая шерсть.

— Охраняю государственное добро, — важно ответил Худайкул. — Без егеря в горах никак нельзя.

— Деревья, что ли, подпираешь? Ведь никого в горах не осталось, отары угнали в степь.

— Эх, — крикнул Худайкул, слезая с лошади. — Овца — смиренное животное. Ходили отары по горам, но деревья не трогали. А вот козы... Как они мне надоели, проклятые! Лучше бы их в степь угнали, а овец оставили тут.

— Конечно! Тогда можно было бы и твоих овечек к колхозному стаду пристроить. Теперь возишься с ними сам. Что же ты их раньше не сдал в кишлачную ота-

ру? Слишком большим начальником себя возомнил? Забыл, что, даже взлетая высоко, человек не должен отрываться от народа?!

— Ничего, — смутился Худайкул, — со своими четырьмя овцами я что-нибудь придумаю. Можно в крайнем случае и в козью отару их отдать, не станут же они от этого рожать козлят!

— С виду неплохой ты человек, Худайкул, да что-то внутри у тебя не то.

Не найдя, что ответить, Худайкул попытался прикрыться улыбкой. На лице остались только две маленькие щелки, но из этих щелок неприятно поблескивали его юркие крысиные глаза. Он хотел весь разговор превратить в шутку, а бабушка говорила серьезно.

— Твоя покойная мать подругой мне была. Ты не должен лгать, Худайкул! Скоро уж мне уходить на тот свет. Как я скажу твоей матери о том, что ты обманывал меня? Ответь честно: почему тебе досталась должность егеря? Как Джаббар-хитрец тебе ее уступил? Или ты взятку дал?!

Улыбка застыла на лице Худайкула, как будто не смогли разжаться морщины по углам его глаз, и челюсть отвисла по-собачьи. Он вконец растерялся. Не зная, куда себя деть, егерь заворочался, привстал на колени, потом опять уселся на землю.

— Крысы, что ли, ходят у тебя внутри?! — сердито спросила бабушка и, повернувшись ко мне, совсем другим голосом сказала: — Базарбай, мальчик мой, придержи веретено, пока я смотаю шерсть в клубок.

Я всегда помогаю бабушке сматывать шерсть. Чтобы веретено не сорвалось с нитки, его надо держать обеими руками, захватив концы между большим и указательным пальцами.

Пока бабушка мотала, Худайкул не промолвил ни слова.

— Что ж ты, Худайкулджан, совсем сник? Значит, вправду, нечисты твои дела, — бабушка опять наступала впрямую.

— Э-э-э, тетя Айума! Что я мог такого сделать?.. Малыш, иди-ка поиграй! Когда старшие разговаривают, маленьким слушать не положено. Я твоей бабушке сам помогу, — сказал Худайкул, отбирая у меня веретено.

— Иди, Базарбай, поиграй с ребятами. А ты, Худай-

кул, отдай мне веретено. Зажму его между пальцами ног и смотаю.

Пришлось мне уходить с холма. Сначала я думал пойти в сторону Мушукджара, но очень уж хотелось послушать, что скажет Худайкул. Обошел я холм и лег с подветренной стороны.

— ...Кого захочу, перехитрить могу, но перед вами умолкаю, тетушка Аймума! Почему это так? Святая вы, что ли?.. Все вам можно раскрыть, обо всем посоветоваться. Хорошая у вас привычка: хранить чужие тайны на замке, — сбивчиво говорил егерь. — По правде сказать, я чуть концы не отдал, пока добивался этой должности. Куда ни сунусь, вижу, Джаббар везде свои корни пустил. Крепче чинары сел... Но, говорят, один аллах лучше десяти пророков. Добрался я до самого главного начальника. В ноги ему кланялся, просил: «Будьте моим покровителем, единственным на земле!» Все свое добро истратил на него. И гляжу — двух недель не прошло, прибыл приказ на меня.

— Бессовестный ты, — тихо проговорила бабушка. — Как после таких дел можешь спать спокойно?! Неужели у тебя душа не болит, Худайкул?

— Да как вам объяснить?.. Когда в новинку было — болела. А потом понял: я не сделаю, так обязательно кто-нибудь вместо меня это сделает. Вот так-то... Хороша ваша правда, тетушка Аймума, а только моей неправды не осилит.

— Аллах всевышний, во что превращаются люди! Знала я за тобой и завистливость, и нечестность, но думала, что это у тебя от слабости характера... А ты вот какой стал! Не будет тебе счастья, Худайкул! Аллах все видит. Ты уже сесть начал, сынок, пора опомниться! Когда успеешь пожить по-человечески?

— По-челове-е-чески... — протянул Худайкул. — Не хуже ваших праведников живем, — в доме все есть. А совесть — не ковер, на стену не повесишь.

— Вот это и есть самое плохое, что такие поганцы, как ты, живут припеваючи! Дурной пример подаете. Но знай, Худайкул, если людям видна только твоя сытая улыбка, то богу видна душа твоя черная.

— Если хотите знать, с нами и сам аллах не справится! Может, для кого мы и плохие, но о себе позаботиться умеем. Научились вертеться: стреляйте — промахнетесь! «Аллах все видит»! Да только у аллаха, видать, тоже две руки, две ноги и круглая голова.

— Не погань святое имя! Время покажет, кто из нас с тобой прав. Послушай, что я тебе расскажу... Умер один бессовестный, вроде тебя. Отнесли его, как всех людей, на кладбище, в вечный дом. Только люди отошли от могилы на семь шагов, как явились суровые судьи Мункар и Накир. «Встань, божье существо, — повелели они, — ты должен ответить на наши вопросы». — «Сколько раз можно допрашивать одного и того же человека?! — прикинулся бессовестный. — Только что до вас тут другой ангел побывал». Не зная, как поступить, Мункар и Накир пошли к аллаху: «Скажи, всевышний, одни мы на свете Мункар и Накир или есть другие Мункар-Накиры?» И сказал аллах: «Этот проходимец привык всех вокруг пальца обводить. Вот и вы попались на его удочку. Не ходите к нему, не трогайте. Не пушу его грешную душу ни в рай, ни в ад, а то этот пройдоха и там все спутает!» А ты говоришь «не справится»! — пригрозила бабушка.

Худайкул понял рассказ по-своему.

— Вот это да! — воскликнул он. — Мункара с Накиром, самых строгих судей, провел! Ну и человек!

— Славу богу, не все люди такие, — пробурчала бабушка. — А вы, те, что всю жизнь чужой хлеб делите меж собой, богаче от этого не станете. Ты приберешь к рукам чье-нибудь добро, тебя ограбят твои же дружки.

— Сдаюсь, тетя Айума! Победили вы меня. Не зря мать моя завещала мне прислушиваться к каждому вашему слову!

— Нечего! Нужен ты мне! Не ходи к нам. Как поговорю с тобой, жить мне не хочется.

Худайкул виновато примолк.

— Иди по своим делам! Ты на работе, вот и охраняй свою гору, — сказала бабушка.

— Как живете вы тут одна-одинешенька? Зашли бы к нам. Жена моя по вас скучает, — извиняющимся тоном пригласил Худайкул.

— Времени нет. Хозяйство большое, а хозяев всего — старуха да малолетний мальчонка.

Я спрятался за куст и оттуда наблюдал, как шел Худайкул к своей кобыле.

Лошадь, почуяв его приближение, стала быстро-быстро обкусывать траву, будто зная, что сейчас Худайкул оторвет ее от лакомой приарычной зелени.

Кончались скороспелые дыни — хандаляк, и верблюжья колючка отцветала. Долины нехотя расставались с зеленым нарядом: неумолимое солнце покрывало их желтой кошмой сухой травы. А на Ойкоре до сих пор зеленела весна. Иволги, перелетая от одного куста к другому, звенели о том, что наступает саратан — самый жаркий месяц по мусульманскому календарю. Жаворонки неподвижно зависали в небе. Жара прибывала с каждым днем. Через край переполняла Марджанбулаксай вода. Веселым стадом бежали по реке бурунчики, белоснежные, как породившие их снега Ойкора.

Поля люцерны поделены между несколькими семьями, оставшимися в кишлаке. Начался сенокос. Мы с бабушкой тоже, как все, дважды скосили свою люцерну. К концу сенокоса бабушка неожиданно заболела, и за все домашние дела пришлось отвечать мне одному. Ох и трудно было! Ребята раза два приходили звать меня в горы за птенцами кекликов. Потом, убедившись, что я не могу оторваться от дома, приходили перестали и прозвали меня домашней курицей.

У ребят всегда так: посмеются над тобой однажды, самый ехидный выкрикнет: «Домашняя курица!» — и все подхватят. Потом и случай забудется, а прозвище останется. Прицепится, как лишай, ничем не выведешь. Теперь всегда будут меня так обзывать... До слез обидно становилось, когда я думал об этом. Но больше всего меня тревожила бабушкина болезнь и то, что она сама с собой разговаривала по ночам. Через людей я известил об этом отца.

На другой день отец приехал.

Наверное, теперь бабушка скажет ему: «Брось ты свою степь, возвращайся домой! Не то умру я в одиночестве, и некому будет закрыть мне глаза».

Мы вошли в дом. Бабушка лежала лицом к дзери.

— Устроились гам, в степи? Привыкаете? Все живы-здоровы? — спросила бабушка и медленно приподняла дрожащую руку, чтобы утереть навернувшиеся слезы.

— Спасибо, мама! Все передают вам привет. — Отец нагнулся к бабушкиному изголовью. — А сами вы как себя чувствуете?

— Что обо мне говорить! Вы в покое — и я спо-

койна. Как младшие мои внуки? Как налаживается хозяйство у вас с Зейнаб?

— В палатке живем. Дом строим. Глинобитные стены уже готовы.

— Хорошо. Где человек строит дом, там поселяется его любовь.

— Только вот лесоматериалы на крышу нигде не можем достать. Если бы вы переехали к нам, то можно было бы разобрать этот дом и использовать...

Бабушка перестала смотреть на отца. Ее взгляд был устремлен куда-то вверх. Увидев это, отец сбился и покраснел. Не зная, как поправить положение, он тяжело вздохнул и умолк. Я невольно вспомнил слова бабушки: «Птицы улетают, но гнездо не разрушают».

— Земля в степи хорошая, работы много. Сейчас я бригадирствую, мама, — проговорил отец, как бы оправдываясь.

— Это хорошо. Осенью приедем к вам на помощь. Будешь, Базарбай, ходить в четвертый класс в новую школу, — сказала бабушка, и в глазах у нее опять блеснули слезы.

— Если вы будете с нами, наши силы удесятятся, — обрадовался отец.

— И Базарбай подрост за эту весну, совсем стал взрослый!

К вечеру бабушка встала и принялась готовить еду. Я был просто удивлен, как быстро вернулись к ней силы.

— А может быть, и до открытия школы нам с Базарбаем съездить к вам в гости? — задумчиво сказала бабушка, провожая отца.

— Как же так, раньше вы ни за что не соглашались ехать в степь, а теперь вдруг передумали?! — спросил я бабушку, когда отец уехал.

— Помолодело мое старое сердце, внучек, когда посмотрела в горячие глаза твоего отца. Теперь я рада, что сын мой за большое дело взялся. И знаешь, Базарбайджан, сегодня ночью я увидела во сне дедушку твоего. Как будто бы среди большого белого поля собирает он хлопок и манит к себе рукой. Видимо, обиделся покойник, что отца твоего одного я отправила в степь. Надо поехать. Когда все были здесь, помогала то советом, то делом. Аллах не пожелал, чтобы так было всегда. Дети мои уехали, а я осталась одна. Зачем мне так жить на свете, никому не нужной, — сказала бабуш-

ка, задумчиво глядя на меня. Она долго сидела неподвижно, опершись подбородком на веретено, с которым опять не расставалась.

А я-то подумал, что бабушка просто соскучилась по маме, папе, по моим младшим братишкам и сестренке... Нет, это было не простое желание повидаться с родными. Бабушкой владело какое-то необъяснимое, огромное чувство, недоступное моему уму. И как оно было непохоже на мои мечты уехать далеко-далеко — мимо Марджанбулакская, мимо обрыва Мушукджар, чтобы увидеть наконец то место, где вода выбирается на зеленые поля!

В воскресенье бабушка повела меня на Ойкор. Для нас привычна эта дорога к мельнице, туда, где Марджанбулаксай срывается с горы. На плоскогорье за старой мельницей находится кладбище. Там покоятся наши предки. Бабушка рассказывала мне, что давным-давно, когда Шейбанихан разбил войско узбеков, людям надоели бесконечные войны и притеснения. Тогда многие ушли в горы. Наши предки поселились здесь, на Марджанбулаксае. С тех пор прошло по траве Ойкора одиннадцать поколений. Бабушка — двенадцатая, отец — тринадцатый, а я — представитель четырнадцатого поколения.

«Сколько рождений и похорон видел Марджанбулаксай! Так и течет он, — говорит бабушка, — как бы повторяя: «Все в мире преходяще». Ручьи стекают с холма, где покоятся наши предки, и несут воду нам, живущим и возделывающим землю. Плакучие ивы растут у реки, склоняя до самой воды свои длинные косы, — это знак уважения к памяти наших предков. День и ночь вращаются каменные жернова мельницы, движение их тяжело и непрерывно, будто все тяготы мира — у них на плечах. Усталая стоит мельница, вся в мучной седине. А у ног ее копошатся воробьи и горлинки, выскивая пшеничные зерна среди белого праха.

Горлинок совсем не узнать! Боже мой, сама вся в муке, а еще зерно ищет! Да-а, таков мир. Птицы эти — как люди. Только когда глаза заполнятся землей, тогда и успокоятся, — сказала бабушка, глядя на хлопочущих у мельницы птичек.

По мокрым камням мы перешли на правый берег сая. Бабушка шла впереди, я за ней. Поднялись на холм. Отсюда мельница и ее окрестности видны, как на ладони. Вон мельник, дедушка Халназар, выносит мешки с му-

кой. Он весь белый от муки, как и сама мельница, и мешки, и мельничный двор. Под навесом на крыше мельницы кто-то лежит. Наверное, это спит внучек Халназара. Как он может там спать?! У мельницы не слышно даже гомона птиц, все заглушает шум жерновов и грохот падающей воды. Водяная пыль мешается с пылью мельницы.

Поработав у дедушки Халназара, сай спешит в кишлак. Там его тоже ждут: раскрыты устья арыков. Вода степенно, не торопясь, обходит сады и огороды, давая земле напиться вдосталь. На Мушукджаре сай опять становится бурным и порывистым. Ему надо побороть крутой холодный обрыв. Внизу — необъятные поля, они расстелят на дороге победителя свой зеленый праздничный ковер.

Марджанбулаксай, я думаю, похож на жениха — бесстрашного и сильного. А зеленая долина ждет его, как невеста. Встретившись, они превратятся в цветник, такой же яркий, как свадебное покрывало. Такое покрывало было у нашей соседки красавицы Ойбуви, когда ее выдавали замуж. И радость ароматов весны разнесется по земле, и ветер донесет запах цветов ко мне в Бешбулак, и я начну петь от радости:

Песни родников
Превратятся в реки...

Я слышал, бабушка пела такую песню.

Мы подошли к кладбищу, и бабушка что-то тихонько шептала про себя, наверное, молилась. Вдвоем присели у могилы дедушки, повернувшись лицом в сторону Мекки. Бабушка прочитала молитву вслух, и мы провели ладонями по лицу.

Я рассматривал мелкие камешки, усеивающие могильный холмик, как звезды — небо; потрогал чайник и пиалу, которые по обычаю всегда стоят на могилке.

Бабушка говорила с дедушкой...

— Здравствуйте! Заждались вы меня, отаси *, давно не приходила. Хочу с вами посоветоваться. Дети наши переехали в степь, со мной один Базарбай остался. Хороший у нас внучек, очень на вас лицом походит. Не дай аллах ему вашу судьбу! Смотрю на Базарбая и вижу: хороший человек и вправду не умирает совсем, в

* Отаси — отец моих детей.

потомках ему суждено воскреснуть. Вы воскресли в Базарбае. Мне тоже хотелось бы поскорее быть с вами и вновь возродиться. Все хорошо, отаси, ваши дети осуществляют то, о чем вы мечтали.

Я молчал, пока бабушка не провела ладонями по своим сморщенным щекам. Потом поднял чайник и пиалу с могильного холмика, и мы пошли обратно. У выхода с кладбища — там слева возвышается глинобитная сторожка, ханака — нам встретился старик Уринбай.

— Аймума-апа! Давно вас не видать. Я думал, уж жива ли? — бесцветное, с сухими нервными чертами, лицо Уринбая-бобо сложилось в подобие улыбки.

— Жива покуда, славу аллаху. Сына с невесткой в степь отправила, осталась одна с внуком. Вот и пришли мы с ним мертвых навестить, — ответила бабушка, подходя к кошме, расстеленной на глиняном полу.

— Нынче у людей память стала короткой, забыли: кто навещает предков, того аллах навещает. Все реже вспоминают мудрую старую пословицу: «Ни в богатстве, ни в нужде не забывай дорогу на кладбище». Но вчера я одного прогнал отсюда, — сказал старик, перебирая слабыми пальцами шерсть кошмы перед собой. — У тебя глаза молодые, сынок, не видишь ли ты здесь мой платок?

Я подал платок Уринбаю-бобо. Он положил свою сухую руку на мой лоб.

— Спасибо, мальчик мой. Ты сын Рахманкула? Да пошлет аллах тебе здоровье, чтобы ты жил столько, сколько лет праху твоего деда.

— Вы сказали, что прогнали кого-то с кладбища, Уринбай-ака? За какие прегрешения? — спросила бабушка.

— Забыл, как звать его, — ответил Уринбай-бобо, утирая рот платком. — Ну этот... сын Нарбека мясистого...

— Бурибай, — подсказала бабушка.

— Правильно. Говорили мне, что он — начальник над всеми магазинами. Когда хоронили мать Акбуты, встретил я этого Бурибая у ворот кладбища и сказал ему: «Верблюжонок мой, говорят, ты большой начальник всех магазинов, вот и хочу попросить у тебя один ковер. Овчины в нашей ханаке очень старые и полны блох. Не подобает такое убожество святому месту».

А вчера он пришел сюда и сказал мне: «Передам

вам ковер через одного человека. Заплатите, сколько стоит, и еще немножко сверху. Дефицитный товар сейчас не идет без «шапочки». Я ответил: «Хорошо, что знаю твоего отца, сейчас пойду попрошу его, пусть шапку тебе он заплатит». До чего дошли, мародеры, с мертвых шапку требуют! Жаль, что нет прежней силы в моих руках! Воткнул бы нож в него четыре раза! Убить такого подлеца — святое дело. И не было бы на мне греха перед богом и людьми.

— Аллах всемогущий! Что люди творят! — покачала головой бабушка.

Мы развязали узелок с едой, поставили на огонь старинный медный чайник. Бабушка ополоснула водой чайничек и пилалу, которые мы взяли с могилы бабушки. Говорят, если попьешь чая, заваренного в этом чайничке, душа привыкнет к разлуке с умершим.

С кладбища бабушка шла унылой. Я молчал и не мешал ей думать. Когда вышли на каменистую дорогу, бабушка сама обратилась ко мне:

— Послезавтра переезжает в степь семья Акмирзы. С ними и мы поедem.

— А кто же за домом будет следить?

— Дедушка Бахрам присмотрит. Корову оставим соседке, бабушке Чинни. У бедняжки в этом году корова нетельная. Чинни подоит нашу корову. А осенью, когда закончится сбор хлопка, я вернусь обратно, — сказала бабушка и опять замолчала, занятая своими мыслями.

— Почему кладбище нашего кишлака расположено на горе, и кишлака Джарбулак тоже?:

Я давно думал спросить об этом бабушку. И вообще мне не хотелось, чтобы она сейчас шла, не разговаривая со мной.

— Ты видел там, у подножия горы, родники?

— Да! Вон они тонкими прожилками текут среди мельничной пыли!

— Эти родники — несбывшиеся мечты наших предков, текут они от них к нам, и продолжается жизнь.

В душе у меня что-то сжалось, как будто холодный звонкий ручеек пробежал по сердцу. И показалось мне, что вот-вот с холма съедет к нам на белом стройном коне воин-богатырь, наш предок, закованный в латы. На боку у него рекой струится исфаханская сабля, в правой руке — огромное, как тополь, копье, а слева — блестящий, как солнце, щит. «Мы помним вас, — скажу я

ему, — слушаем мудрый говор ручьев, стекающих в Марджанбулаксай, заботимся о тихих ивах и бархатных арчовниках, бережем, как зеницу ока, Ойкор, который вы сделали нашим домом».

После долгих уговоров водитель грузовника согласился взять нас с собой. Мы поехали, и я увидел то место, где Марджанбулаксай, поборов Мушукджар, выбирается на зеленые поля Туваксай. Мне стало так радостно: сбылась моя мечта! Я всю дорогу пел песни. А бабушка не могла оторвать взгляд от Ойкора. Она не плакала, а только иногда утирала проступавшие слезы рукавом.

IV

Я быстро познакомился с кишлаком Янгнабад, куда переехали мои папа и мама. Он окружен хлопковыми плантациями. На западе от него лежит зерновое поле, простирающееся до горы, такой голой, что за это ее прозвали Еттимтаг — «гора-сирота». С правой стороны от кишлака — кладбище, а слева, в отдалении, — аэродром, где живут маленькие желтые самолеты.

Саттар, — правильно про него бабушка сказала, что он чабаном родился, чабаном и помрет, — пас на Еттимтаге большое стадо, в которое вошла и отара моего отца. Животноводством в новом совхозе занимались только немногие из наших бывших односельчан. Большинство людей вошло в бригады, осваивающие земли массива Кызыл Учкун. Сам совхоз тоже назывался «Кызыл Учкун» — «Красная Заря».

Бабушка думала, что нам надо вернуться до начала учебного года домой в Бешбулак. Но когда коробочки хлопка еще только начали раскрываться, все изменилось.

В понедельник утром бабушка опять заболела. Она дышала тяжело, казалось, воздух из ее легких выходит с большим трудом. Мать послала меня в бригаду за отцом. Когда мы вернулись, бабушка лежала тихо-тихо. Дыхание ее было еле слышно, глаза потускнели. Изредка ее пальцы, как будто жившие отдельно от неподвижных рук, царапали одеяло.

Я выбежал во двор, чтобы не разреветься.

— Иди, позови Хакима-бобо, — крикнул отец мне в окно.

Хаким-бобо, месивший глину у себя во дворе, оставил кетмень и поспешил к нашему дому. Я бежал, не успевая за его широкими шагами, и плакал во весь голос. Казалось, мне тоже не хватает воздуха, как бабушке.

— Зачем мы приехали сюда?! Хаким-бобо! Вылечите бабушку! Когда я вырасту, я сделаю для вас много-много добрых дел! Бабушка сказала: «Мы с тобой, Базарбай, обязательно должны вернуться в родной кишлак». Что будет, если она умрет?!

Хаким-бобо у нас в кишлаке — всем голова. Подойдя к бабушке, он взял ее руку в свою широкую ладонь — послушал пульс и стал дуть ей в рот. Он не очень старый, Хаким-бобо, но у него усы и большая борода. Я слышал о нем много интересного: то рассказывали, как он выведал про склад басмачей, где они хранили золото и оружие; то говорили, что в войну он побывал в фашистском концлагере.

— Хроническое удушье у бедняжки. Дефолиацию вчера проводили, надышалась ваша мать химикатов. Доктора надо, — сказал Хаким-бобо, опуская голову бабушки.

— Уже отправили за врачом Абдусамада, — ответил отец. — Почему так рано, не предупредив нас, начали дефолиацию?

— Кому-то из начальников захотелось поскорее выполнить план, — рассердился Хаким-бобо. — Знамя им, премию давай!

— Надо было еще подождать. На каждом кусте по три-четыре зеленых корбочки.

— Мать умирает, а ты думаешь о хлопке?! Ну его к черту, этот хлопок! Отара овец в тысячу раз лучше.

— Если не принимать в расчет пору окота и зимовку. Дехканни, говорят, успокаивается осенью, а чабан — только когда умрет. Люди виноваты, а хлопок тут ни при чем, — ответил отец серьезно.

— Ты, Рахманкул, у себя в бригаде командуй, а над моим языком ты не начальник. Как стал бригадиром, сразу поумнел, что ли? Много ли ты в своей жизни повидал? Когда я воевал, крови навидался, ты еще и говорить не умел. А я так скажу: человеческий ум весь мир с ног на голову переворачивает. В космос полетели, а Землю свою из-под ног у себя того и гляди потеряем. Скоро с нейтронной бомбой за кекликами охотиться будем. Вон, посмотри на мать свою...

— Зачем вы так, Хаким-ака? Не вы один думаете о мировых проблемах, — сказал наш сосед Назрулла, пришедший помочь нам.

Хаким-ака был очень сердит. Выцветшие его брови сошлись на переносье, маленькое лицо от злости сжалось в комок. Он резко заправил выбившийся у правого уха конец чалмы и через плечо взглянул на отца. Правильно говорит бабушка: характер Хакима — как порох, загорится — отца родного не пожалеет.

Стон бабушки заставил Хакима-ака повернуться обратно. Взглянув на больную, он забыл свой гнев. Бабушка лежала без сознания, лицо ее свела мучительная судорога.

В нашем недостроенном глинобитном доме стало многолюдно: соседи заходили, выходили, беспокоились.

— Никому здесь в степи не нравится, — сказал Назрулла.

— Живем, как собаки, — ни кола, ни двора, — добавил Яманкул-бобо.

— Надо поскорее возвращаться, пока не сравняли наши дома с землей. Не то приедем, а на месте кишлака застанем бахчу или пшеничное поле.

— Назрулла, брат, не говори так, прошу тебя! Иначе я за себя не отвечаю, — рука отца, схватившая локоть Назруллы, дрожала. Отец чуть не ударил парня, но усилием воли сдержал себя.

— А что, я не первый говорю об этом, — нерешительно возразил Назрулла.

Принужденно ровным голосом отец продолжал:

— Там ты не нужен. Пожили в горах, среди камней, а теперь степь надо осваивать. Эх, Назрулла!.. Не вовремя ты... Подожди, потом поговорим. Ты же ложе человек!

Послышался треск мотоцикла: Абдусамад-амаке* привел за собой медицинскую машину, белую, как молоко. Врачи сказали, чтобы люди разошлись. Дали бабушке подышать из какой-то подушки и сделали укол. Она даже не почувствовала боли и не открыла глаза. А так, я думаю, ни за что не согласилась бы делать укол. По спокойному виду доктора я понял, что бабушка скоро поправится.

Через некоторое время ей стало лучше. Бабушка мед-

* Амаке — старший брат, почтительное обращение к старшему возрасту.

ленно приподняла руку, чтобы стереть капли пота со лба. Услышав слова доктора о том, что ее надо отвезти в больницу, она отрицательно покачала головой.

— Вряд ли она согласится, ни разу в жизни не была в больнице, — прошептал отец.

Они еще долго говорили с врачом вполголоса.

Чтобы доктора успокоились и быстрее ушли, бабушка старалась держаться бодрее. В конце концов те, пожимая плечами, вышли из дома и уехали на своей белой машине.

Все разошлись, мы с бабушкой остались вдвоем. Я сам не заметил, как очутился у ее мягких рук. Бабушка погладила мои волосы, сухими губами прижалась ко лбу. Что-то прохладное и мокрое пробежало по моему лицу около уха. Бабушкина слеза, как ручеек у старой мельницы, прочертила влажный след на моей щеке.

— Чуть не умерла... — сказала бабушка, и голос ее дрожал. — Хотелось бы мне дожить до твоей свадьбы, чтобы увидеть, каким силачом-красавцем станешь ты, Базарбай... Чтобы, когда умерла я, ты мог положить полный кетмень земли на мою могилу.

Я промолчал. Когда бабушка плачет, мне трудно смотреть ей в лицо. Тихо сижу, съежившись в комочек, пока она сама не успокоится и не отпустит меня. В объятиях бабушки я чувю запах оленьей травы, горького перца, который мы собирали на Галлахирманджае и нанизывали на ниточку, как бусы. А то мне припоминается запах чабанского шалаша из сухих веток и дым костра. В ущелье Коккутан, где ночевала наша отара, костер не затухал всю ночь. Неужели я увез этот запах с собой? Он живет во мне, родной и неповторимый, как песни чабанов Ойкора.

Каждый вечер я чуть не дерусь с братишками, оспаривая место в объятиях бабушки. Если в наш спор вмешиваются родители, бабушка достается младшим.

Ночью я услышал шепот отца и матери: «Хорошо, что бабушка приехала в степь. За нею еще пять-шесть семей перебрались сюда из кишлака. Люди, вроде Яманкула-бобо, твердившее, что «степь — не наше дело», примолкли».

А бабушка всем навещавшим ее говорила: «Лучшего нельзя желать. Вон какой здесь в степи размах! Как говорится, если умрешь, имей достойную могилу».

Бабушка поправлялась, в доме у нас все ходили веселые. Теперь я решил напомнить спор Хакима-бобо и

Назруллы. Бабушка сказала, что отец терпеть не может несправедливости, это — у нас в крови. Вот и досталось в тот день Хакиму-бобо и Назрулле от отца.

Хаким-бобо — наш родственник, и тоже такой же. Ему одного слова мало, двух — много. Про таких говорят: пока черный рассердится, желтый подерется. Да что Хаким-бобо! Абдусамад-амаке — совсем молодой, а и то на все свое мнение имеет.

Когда бабушка встала с постели, она начала подумывать о возвращении в Бешбулак, но не решалась об этом заговорить с отцом. Я чувствовал беспокойство бабушки, и сам страдал — мне было очень ее жалко.

Шла подготовка к сбору хлопка. В субботу сыграли свадьбу сына Раджаба-ака и дочери Марджанкула-бобо. Моя бабушка была самой почетной гостьей на свадебном тое.

Вечером в воскресенье к нам зашли Хаким-бобо, Абдусамад-амаке и Назрулла. Мать поставила на огонь чайник, отец тонко резал помидоры на салат и слушал рассказ об одном из приключений Хакима-бобо.

— Это случилось, когда я шел из Пяджикента через Ойкор, — говорил Хаким-бобо, сам увлекшись своим рассказом. — Хотя к тому времени басмачей уже одолели, но в горах еще можно было наткнуться на остатки какой-нибудь шайки. Поэтому чабаны не ночевали на горе, к вечеру спускались с отарой в кишлак, а с рассветом опять поднимались обратно. Так что ночью в горах не было видно ни одного костра.

Верховья Ойкора плоские, как вспаханное поле. Конные состязания можно устраивать. С вершины Кункар, когда идешь от Пяджикента, диву даешься, до чего ровное у нас плоскогорье.

Места я знал, сколько раз по ним дрова возил! Поэтому шел спокойно. Луна уже прошла над Ойкором, тело горы чернело на фоне темного неба, вверху поблескивали остатки ледников. Внизу редкие огоньки кишлачных окон мигали, как глаза сатаны. Я шел, ориентируясь на лай собак.

Вдруг мне послышался какой-то шорох. Я обернулся и окаменел от страха! Волосы дыбом встали, в глазах темно, никак не могу понять, что происходит. Недалеке, вижу, — два маленьких огонька. «Волк или медведь», — думаю. Схватил я нож, — как говорят, кто боится, тот первым наступает, — и шагнул навстречу

этим дьявольским огонькам. Еще подумал в эту минуту: «А вдруг и вправду сам сатана?!»

— Ну и загнули вы, Хаким-ака! Врать тоже уметь надо, — недоверчиво засмеялся Абдусамад, — еще немного послушаем, скажете, что это не медведь, а дракон был! Сатане на Ойкоре делать нечего. Дьявол не ходит там, где люди дорогу протоптали. Что мы, дети, что ли?

— Помолчи, Абдусамад, когда говорят старшие. Я в десять раз больше тебя рубашек износил. Хоть и не учился, а голова у меня работает, как у этого бригадира, — Хаким-бобо кивнул головой в сторону моего отца так, как будто хотел его боднуть.

— Аллах свидетель, в ваших историях девяносто девять процентов выдумки. Сколько живу на свете, столько слушаю ваши рассказы, и с каждым разом выдумки становится все больше. Рассказывали бы лучше то, что вправду было, — не унимался Абдусамад, разоблачая Хакима-бобо.

— Ничего с нами не случится, Абдусамад, если еще раз послушаем, — утихомирил их обоих отец.

— Как назначили главным чабаном парня, так и стал у Абдусамادا нос вверх расти. Людям слова сказать не даст, — зло вставил Хаким-бобо.

— Это уже лишний разговор, Хаким-бобо! Ладно, я умолкаю. Простите, пожалуйста, — ударил правой рукой себя в грудь Абдусамад.

— А вы рассказывайте дальше, Хаким-ака! Мы не знаем и десятой части из того, что вы повидали, но мы мастаки с ходу хвататься за воротник, — с издевкой проговорил Назрулла, сообщнически пригибаясь к Хакиму-бобо.

— Нет! С сего момента при вас буду говорить только то, что есть на самом деле.

— Да простите же! — примирительно повторил покрасневший Абдусамад.

Хаким-бобо не ответил. Назрулла играл кисточками цветных нитей на кончике дастархана*. Неловкую тишину нарушил отец:

— Хаким-ака, лучше расскажите, с чем ко мне пришли. Ведь не без дела заглянули вы в мой дом, а об этом молчите.

— Вы все мозги закрутите! Скажешь — плохо, не

* Д а с т а р х а н — скатерть.

скажешь — опять плохо... Один — бригадир, другой — главный чабан, ни к кому не подступиться. Из-за вас другие люди страдают...

— Разве мы кому-то сделали плохо? — серьезно спросил отец.

— Все говорят, один ты ничего не знаешь. Вы нарушили спокойствие целого кишлака! Зачем нам жить в степи? Нюхать эти вонючие «лекарства» с самолета?! Так мы далеко не уйдем, браток!

— Не к лицу нам бежать при первых трудностях, Хаким-ака! Я — коммунист, не для этого вступал в партию. В горах мы жили, как жилось. А сюда переехали, чтобы изменить течение жизни, убыстрить, что ли. Ведь неинтересно всю жизнь плыть по течению... Если надо будет, я и в пустыню поеду.

Отец сказал все это на одном дыхании, так уверенно и гордо, что мне показалось, другие ничем не смогут ему ответить.

Назрулла действительно раздумал говорить то, что минуту назад вертелось у него на языке. А Хаким-бобо, хлебнув из пиалы холодного чаю, продолжил как ни в чем не бывало:

— Рахманкул, я хочу, чтобы ты правильно понял меня. Можно подумать, я государственное дело не поддерживаю! Если ты считаешь так, я сейчас же замолчу и, хоть убей, рта не раскрою. За нашу землю, за наше государство я сражался на войне, получил семь ранений. Контузия у меня была, поэтому если что не так говорю, не обижайся. Слова я могу перепутать, а в жизни меня не запутаешь.

Вот ты сам рассуди: раны у меня до сих пор гноятся. Ноги не годятся никуда — сесть как человек не могу. А к врачу пошел, врач меня, вместо того, чтобы посмотреть как следует, использовал как наглядное пособие для студентов-практикантов. Пришлось придумать какой-то предлог и потихоньку удирать, пока не выставили нагишом перед юнцами и сопливыми девчонками. Вовек не забуду я этому врачу его проклятую практику!

У тебя в бригаде, Рахманкул, я — простой поливальщик. Скоро пенсия, а разве я проживу на нее? Зарплата-то не бригадирская! Ладно. Есть у меня две пары овец, обувь умею ремонтировать, — проживу. Жду не дождусь этой пенсии. В воде за день навозишься, ночью ноги — хоть отрезай, до утра уснуть не могу.

Вдобавок эти химические «лекарства» так воняют, что кажется, будто душит тебя кто.

Больница у нас не близко — в Джизаке. На автобусах с двумя пересадками туда ехать надо. А есть у меня хоть один свободный день на неделе? Ведь ты, бригадир, и в субботу, и в воскресенье нам покоя не даешь. Имеет совхозный рабочий право отдыхать в воскресенье? Ты почему законы нарушаешь?! В городе, слышал я, рабочие даже два дня в неделю отдыхают!

Я — не бездельник, не собираюсь играть в камешки, как играли мы в горах, когда нечего было делать. Взрослым мужчинам надо иметь дело, достойное их сил. Я горжусь даже, что мы в числе первых, кто пришел осваивать степь. Раз пришел человек в этот мир, он должен поработать от души, насладиться трудом и плоды своих рук оставить после себя. Но пусть поработают и ученые. Ты говорил, что они могут создать хлопчатник, листья которого сами будут опадать, когда хлопок созреет. Где же этот хлопчатник?

На дастархан принесли айвовый плов, и спор сам собой прекратился. Гости молча, движением руки приглашая друг друга разделить трапезу, потянулись к плову. Мать тихо, кивком головы велела мне пойти к братишкам.

V

Все мысли бабушки были обращены к родному кишлаку. Она тосковала о доме, о корове, которую оставила на попечение соседки Чинни. Каждый день бабушка строила планы переезда, утром за завтраком и вечером после ужина всегда старалась завести разговор об этом.

— Не надо, мама! Вот — теплый дом, вот — готовая еда, чего вам еще не хватает?

— Ну... что ты... надо возвращаться... Дом наш без жильцов сам собой развалится, — виновато говорила бабушка.

— Не обижайте мать, пусть она живет, где захочет. Ведь для нас главное — ее здоровье и благополучие, — вставляла мама, как бы советуясь с отцом.

— С вами не сговоришься, — согласился наконец папа. — Хорошо! Закончим уборку урожая, отвезу вас обратно.

— А ты не отрывайся от дела, сынок. Усади меня и Базарбая на автобус — и все. Мы сами доберемся. Не заблудимся, на свете много добрых людей, попросим, они дорогу подскажут.

— Зачем спешите? Кто вас гонит? — сказал отец и поспешно вышел. Его ждала машина, на всю улицу раздавались ее долгие гудки.

Бабушка прикрнула у старой подушки, незаметно вытирая слезы. Я увидел, какая она у нас маленькая... В этот день я действительно обиделся на отца. Все в доме знали, почему он не отпускает бабушку, только, словно по команде, молчали об этом. Я сам слышал, как отец однажды тихо сказал маме: «Если что-нибудь случится, люди наговорят, что я не сумел ужиться с матерью, оставил старуху в горах одну, и некому было ухаживать за нею в трудную минуту. Что бы ни произошло, она должна жить с нами».

Весь ужин бабушка просидела, ничего не взяв в рот. Она несколько раз подолгу смотрела на меня. После ужина я потихоньку подобрался к ней. Бабушка крепко обняла меня, смахнула слезинку со щеки. Так мы и сидели с ней, молча прижавшись друг к другу.

В полночь меня разбудило бабушкино жаркое дыхание. Сначала подумал, что вижу сон. Потом понял, что не сплю, но продолжал лежать, не раскрывая глаз, чтобы бабушка не почувствовала, что я проснулся. Если почувствует... тогда... не знаю, что будет.

Бабушка гладила мои волосы и шепотом разговаривала со мной. Она плакала, я чувствовал ее слезы.

— Базарбайджан! Верблюжонок мой! Свет моих очей! Я долго не проживу. Чувствую это. Что делать, некому мне открыть свое сердце! И отцу твоему тяжело: работа, дом, тут еще я!..

Оказывается, самые чистые периоды жизни человека — детство и старость. И у тебя, и у меня одна боль, верблюжонок мой! Ты привык ко мне. Как переживешь разлуку? Зачем я, старая, так приучила тебя к себе? Я умру в степи. Как теперь дух твоего деда найдет меня?

Бабушка говорила еще что-то, но я не расслышал. В голове шумело, чтобы заглушить рвущийся наружу плач, я повернулся и уткнулся лицом в подушку. Не хватало воздуха, но в эту минуту мне не хотелось дышать совсем.

Сон ушел. Я не мог спать и не мог молчать. Мрач-

ные мысли одолели меня. Почему бабушка так говорила со мной? Теперь она уснула, ее седые волосы белым снегом серебрятся на подушке. А вдруг она сейчас уйдет от нас в тот мир, откуда никто ее не вернет?! А если утром бабушка проснется и посмотрит мне в глаза, как я удержусь от слез? Я не сумею сделать вид, что не слышал ее ночного разговора. Мне надо исчезнуть, спрятаться. Утром я погоню корову в стадо на Эттимтаг, а обратно не вернусь. И бабушка никогда не увидит меня. Прощайте, моя дорогая бабушка!

На рассвете, раньше обычного, я отправился на запад к горе Эттимтаг через богарные поля. Я шел, не разбирая дороги. Слезы застилали мои глаза.

Люди будут ходить по земле, петь песни, собирать хлопок, а моя бабушка... Не-е-е-ет! Ойко-о-ор! Где ты-ы-ы? Слышишь ты меня? Бабушка моя, самая лучшая на свете моя бабуленька... неужели она нас покинет? И не будет по утрам рассказывать свои сны Марджанбулаксаю? И не пойдем мы с ней на Галлахирманджай собирать травы? Неужели?! Лю-у-ди! Бабушка моя уходит! Скажите, что мне теперь делать?

Обессилев, я упал на землю. Весь мир завертелся вокруг, как вода у Мушукджара. Казалось, небо водопадом упадет на меня. Громом отдавался в ушах лай собак, утреннее пение жаворонка, голос чабана, звавшего овец...

Я очнулся... Голова болела, во рту было жарко и сухо. Тело мое покачивалось из стороны в сторону. Чабан Саттар вез меня на своем ишаке в кишлак.

Хотелось крикнуть: «Отпусти меня! Я сам», но язык не слушался. Уши тоже: по движению губ Саттара я видел, что он говорит со мной, но звука не было.

И вдруг я подумал о том, что, наверное, происходит сейчас у нас дома. Подумал, и похолодело все внутри.

Когда проехали по железному мосту через канал, я понял, что приближаемся к дому. Первый звук, который я услышал, был плач, доносившийся со стороны кишлака. Я тоже заплакал. Вот сейчас у ворот дома нас встретит отец, мать, братья, наши родственники в траурной одежде.

Саттар, что-то приговаривая, размазывал мне по щекам слезы своей шершавой рукой. Хотел меня утешить.

Вот он, наш дом. Глинобитная стена, куча верблюжьей колючки и стеблей гузапан у огорода, ще-

бень, сложенный у недостроенных ворот. Все спокойно, людей нет. Значит, мне все приснилось? Надежда теплой искоркой засветилась в моем сердце.

Моя бабушка жива! Моя дорогая, самая лучшая на свете бабушка никогда не умрет! Она всегда мечтала: «Даст аллах, выращу своих внуков и попляшу на их свадьбе». Я восторженно радостно. Теперь надо как-нибудь освободиться от Саттара, который все еще болтает без умолку. А то наговорит родителям всякого!

Я сделал вид, что устал лежать и мне надо подняться, а сам соскользнул со спины ишака и что было силы побежал в сторону канала.

— Я сам пойду-у! — закричал я в ответ на вопли удивленного Саттара.

Спрятавшись за кучу земли, насыпанной во время рытья канала и поняв, что Саттару меня уже не догнать, я даже перекувырнулся на радостях. Потом сел отдышаться и еще раз все обдумать. И тут опять услышал плач. Плакали в стороне кладбища. Кого же сегодня отнесли в вечный дом? Может быть, старика Закира-бобо, приехавшего из кишлака Равват?

Я пошел домой. По дороге мне попадались люди, идущие по направлению к дому Закира-бобо. Отца и мамы дома не было, видно, они тоже ушли на похороны.

Крадучись, как вор, я прошел через калитку. Бабушка сидела во дворе, ее лицо было обращено к небу.

Хотелось есть. Я потихоньку зашел в дом и взял хлеба. Весь день я только и делал, что старался не попасться бабушке на глаза. Мне очень хотелось подойти, прижаться к ней, но я боялся. Думал: вдруг заплачу? А к вечеру так соскучился, что когда бабушка спросила: «А где же мой Базарбай?», ноги сами принесли меня к ней. Я так обрадовался этим словам, что даже забыл про слезы.

Отец вернулся с похорон Закира-бобо усталым и сердитым.

— Почему так поздно? — спросила мама.

— Слышал я раньше про такое, но слухам не верил. Теперь своими глазами убедился, — сказал отец сурово. — Закир-бобо завещал похоронить его в Раввате. Отвезли мы его тело на Равватское кладбище. Стали рыть могилу. Там попробовали, тут попробовали — земля, как камень.

Что греха таить, Закир-бобо был человеком, ни разу в жизни не державшим в руках кетмень. Как стала расти у него борода, сложил ладони лодочкой и всю жизнь кормился с кладбища, можно сказать, глину с него лизал...

На свете много добрых людей, среди них один-два бездельника, казалось бы, могут прожить незаметно. Когда мне раньше говорили: «Земля не хотела принять этого человека», я думал, это образное выражение. Но, поверишь ли, в четырех местах начинали мы рыть и постоянно наткнулись на камень. Когда уже стемнело, решили разрыть старую могилу и похоронить в ней тело Закира-бобо. Оказывается, правда: земля отличает плохого человека от хорошего.

— А что, нельзя было похоронить его тут? — удивилась мать.

— Последнее желание умирающего надо было исполнить. Когда наткнулись два раза на камни, кто-то сказал, что не стоило Закиру-бобо оставлять такое завещание. Перед землей все равны. Если человек начинает заранее выбирать себе место вечного покоя, земля на него может рассердиться.

Потом подумали, не отвезти ли и в самом деле обратно в Янгиабад. Но староста на это не согласился: «Нельзя, — сказал, — возить туда-сюда, мучить покойника».

Бабушка очень внимательно слушала рассказ отца. Потом она долго шептала что-то про себя, и ее трудное дыхание мешалось с этим страстным шепотом.

Беспокойство опять овладело мной, и, когда все улеглись спать, я, как ни старался, не мог сомкнуть глаза. Потихоньку я выбрался из объятий спящей бабушки и перелег к братишкам.

Утром бабушка онемела. Дом опять наполнился людьми. Абдусамада-амаке на его стареньком мотоцикле опять отправили за доктором в центр. Пришел Хаким-бобо. По его совету мама прикладывала ко рту бабушки вату, увлажненную водой. Бабушка как будто бы ничего не чувствовала, ее провалившиеся глаза смотрели неподвижно в потолок.

— Ноги холодеют, — шепнул Хаким-бобо отцу.

— Что нам делать?!

— Все. Прощайтесь. У нее уже кровь отливает от лица.

В этот момент мама, сидевшая у бабушки в изголовье, нетерпеливым жестом позвала отца.

— Вас зовет, — сказала мама.

Отец тяжело подошел и встал на колени перед бабушкой. Его руки, как плети, висели вдоль тела.

— Мама... Мамочка... Как вы себя чувствуете?.. — в голосе отца дрожали слезы.

— Рах... Рахманкул, сыночек! Я довольна... Хорошо, что приехали в степь...

Бабушка умолкла, она устала говорить. Ее глаза беспомощно закатились под веки.

— Аймум-апа! Где вас положить? — громко спросил Хаким-бобо, наклонившись к самому уху бабушки.

— Здесь. Вода Ойкора... течет сюда...

Она хотела еще что-то сказать, моя дорогая, моя самая любимая бабушка... но больше не смогла говорить.

И тут я заревел. Мой плач подхватили женщины во дворе и все, кто был дома. Я ходил от одного плачущего к другому. Мне казалось, что они — самые близкие мне люди.

Джаназу — погребельную молитву над телом — читал мулла Мансур. Я со всеми мужчинами пришел на кладбище. По дороге, чтобы не отстать, держался за поясной платок отца.

Когда все по очереди стали забрасывать землю в могилу, отец передал мне кетмень из своих рук.

— Держи, сынок.

Все забрасывали по три кетменя. Таков обычай: первый кетмень значит, что все мы созданы из матушки-земли, второй — что все вернемся в нее, а третий — опять вырвемся из земли.

Я почувствовал, что кто-то торопится перенять из моих рук кетмень, повернулся и увидел Рахима-бобо, подоспевшего на кладбище. Не обошлось без него и это погребение.

По утрам долго лежу, не раскрывая глаз. Я часто вижу во сне бабушку, и мне не хочется с нею расставаться. Но утро мне не подчиняется, солнце будит меня.

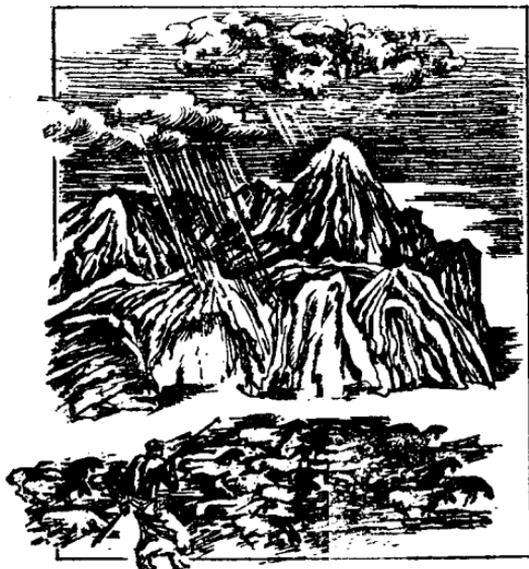
— Бабушка скоро вернется? — спрашивает сестренка Мунира.

— Да, — отвечаю я, но знаю, что это неправда. Нету нашей бабушки, которая рассказывала нам сказки, пела песни и водила нас в горы. Бабушка погребена на степном кладбище, и я с тех пор навсегда остался жить в степи.

Когда Мунира спросила отца: «Где бабушка», отец серьезно ответил: «Она превратилась в реку». Скоро я поведу Муниру на Еттимтаг, чтобы она могла встретиться с нашей бабушкой. С горы видно большую реку Сангзар, которая несет в себе воды Марджанбулаксайа.

Каждое утро, отогнав корову в стадо, я взбираюсь на Еттимтаг, чтобы поздороваться с рекой. Река моей бабушки течет полноводно и весело. Пусть бабушка теперь не может обнять и поцеловать меня, зато я пою реке нашу с бабушкой любимую песню:

Песни родников
Превратятся в реки...



НУРАЛИ КАБУЛ

НЕ ОПОЗДАЙ ЖИТЬ

Перевод Д. Рубиной

I

...Предвещая начало зимы, уже к середине ноября на вершины и склоны гор лег первый снег. Чернели вдали верхушки елей да укрытые от ветра проплешины на скалах. В долине горного ручья из овчарен поднимался густой пар. Холодный резкий ветер уносил снега, но к рассвету вершины и склоны гор вновь покрывались снегом.

Зима настойчиво напоминала о себе, а я все еще находился в плену томительных осенних дум. Люблю осень, люблю ее больше других времен года. (Весна — иное, она не умещается в моем сердце. Слишком мало одно человеческое сердце для этой беспредельной красоты).

Между тем зима горопила прощание с обильной и

мудрой осенью, расстилала белоснежный подол по полям, гнала ароматы земли и дождя, те печальные запахи, что будят в сердце страстное, томительное ожидание, ворошат воспоминания, укрытые в самых потайных уголках души.

Моя любимая осень скатывалась с вершин по склонам гор, отступая в предгорья, оттуда уходила на свежеспаханые поля, с которых поднимались густые запахи влажной почвы и гузапай, сквозила тенью в прозрачных садах, теряющих последние листья, затем укрывалась в зарослях камыша вокруг озера Арнасай, выпивающего все горные ручьи, и удалялась дальше — в степь.

Кишлачные коровы, раздобревшие на остатках семян из хлопковых коробочек, косо поглядывали на тракторы, с грохотом вспарывающие пласты почвы с гузапай; тянулись жадно к последним зеленым побегам осенней пальчатки, словно предчувствуя, что очень скоро лишатся этого жирного пастбища и вернуться на голые склоны гор.

С сиденья стального плуга я любовался осенним пейзажем. Вокруг, не отставая от трактора, с гвалтом и карканьем носились вороны и скворцы, охотясь за насекомыми в разломах вывороченной почвы. Деловитые серые вороны, неуклюже переваливаясь, ковыляли мимо на расстоянии вытянутой руки, не обращая на меня ни малейшего внимания. Они старательно ковырялись в жирных пластах, склевывая червяков, забившихся в землю.

Последний урожай айвы собрали в нашем саду, где каждое дерево посажено дедом и отцом с хозяйственной сметкой — в нашем саду, перед домом с террасой, обращенной к востоку. Помню, нынешним летом ветви персиковых деревьев клонились к земле под тяжестью желто-розовых, замшевых на ощупь, плодов... Сейчас последние листья, под ласковым солнцем переливаясь теми же оттенками, словно прощались с урожаем осени. По тихому целомудренному саду летали опавшие листья.

— Что-то жаворонка не слышать, а вчера в стогу видела кизилтуша*... — сказала бабушка, щурясь на солнце. — Должно быть, холода близко, Нурулла...

Она сидела во дворе, на сури, и пряла пряжу.

* Кизилтуш — снегирь.

— Какая благодать... У осени все целебно — и солнце, и ветер. Недаром в народе говорят: на осеннем солнышке грей дочь, а на весеннем — невестку.

Она подняла глаза, и мы улынулись друг другу — смуглая, круглолицая, с морщинками у карих глаз, моя бабушка сама была похожа на благодатную осень..

* * *

За неделю до Нового года ударили морозы. На промерзшую, словно каменную землю выпал глубокий — по пояс — снег, и односельчане, вроде бы и ожидавшие зиму, но, как всегда, не успевшие до морозов переделывать всех дел, засуетились, встревожились; кто умчался за углем на попутном самосвале, кто принялся утеплять крышу овчарни, латать и плести плетень, кто бросился осматривать шифер на кровле и подноглять желоба.

...Приблизительно за месяц до этих лютых холодов в совхоз назначили нового директора. Привез его и представил на общем собрании лично Ибрагим Кучкаров — неугомонный первый секретарь райкома. Но, представляя нового директора, был сдержан, петъ хвалу не стал, сказал просто:

— Опытный партийный работник, последние годы находился на посту секретаря горкома партии...

По залу пролетел шумок, словно вздох, многие выразительно переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Ведь это тот самый Кулматов?»

— Если работал в городе секретарем, то и надо было назначить его директором завода или чего там еще. Ну что он в совхозе делать будет? — пробормотал себе в усы бригадир зерноводческой бригады Эшбай Джаббаров. — И сам намучается, и людей замучает...

Его сосед беспокойно заерзал на стуле, оглядываясь по сторонам.

— Потихе, как бы не услышали, — прошептал он.

— А что? Говорю что думаю, чего тут шептать? Очередная «мягкая посадка», видно... Народ говорит, что его супруга любила брать подношения и тем самым скомпрометировала мужа.

— Э-э, придержи язык! — сосед бросил на Джаббарова хмурый взгляд и отвернулся, явно не желая поддерживать разговор.

...Приготовленный в совхозной гостинице «чай» так и остался нетронутым. Кучкаров распрощался с активом совхоза и, пригласив с собой знатного чабана Садыка-бобо Мамарахимова, уехал в соседнее хозяйство. Новый директор тоже возвратился в город на попутной легковой машине. Оказывается, он принимал курс укол-ов, а в этом деле, как известно, нельзя пропускать ни дня.

Собравшийся в просторной столовой гостиницы актив во главе с парторгом Нарзиевым, шумно прихлебывая, съел сначала шурпу, затем и плов. Негромко переговаривались:

— Говорят, новый директор свояк первого секретаря обкома?

— Э-э, брось, если б он был своим в обкоме, разве б его убрали из горкома?

— Кучкаров-то рекомендовал другую кандидатуру на должность директора совхоза, а обком не утвердил. Приказали брать этого. А Кучкаров разве откажет?

— Помалкивай, Нарзиев услышит — неприятностей не оберешься...

— Ладно, проживем — увидим...

Назавтра, как всегда, день начался с повседневных забот. В приемной директора уже сидели рядком бригадиры, старшие чабаны и управляющие отделений. Самого директора еще не было.

По коридору сновали члены правления совхоза, озабоченно заглядывали в приемную, усталую истертой дорожкой, — каждый с тревогой ждал вызова к новому начальству.

И только парторг Низамиддин Нарзиев ждал Кулматова во дворе, спокойно расхаживал по асфальтированной дорожке. Он один знал час приезда директора, потому что с утра отправил к нему машину. Нарзиев был глубоко убежден, что после директора является вторым человеком в совхозе, и старался вести себя соответственно: держался с важным достоинством, посматривал искоса и говорил мало — и то сказать, не выдался голосом Нарзиев, не вязался с осанистым видом его дребезжащий тенорок...

Спустя час после ожидаемого срока в низине наконец показался желтый «УАЗик». Нарзиев одернул пиджак и бодрым деловым шагом пошел навстречу машине.

Кулматов сдержанно поздоровался в ответ на приветствие Нарзиева.

— Ну, как? Все в порядке?

— В порядке, Кадыр Кулматович. Но есть несколько дел, которые надо бы обговорить.

— Что ж, обговорим...

В приемной директор за руку поздоровался со всеми ожидающими приема и прошел в свой кабинет. За ним неслышно вошел Нарзиев и притворил за собою дверь. Несколько минут он почтительно молчал, ожидая, что директор заговорит первым, но тот не торопился — пересмотрел какие-то бумаги у себя на столе, открыл сейф, заглянул в него и снова закрыл. Осваивался в своем новом кабинете... Наконец Кулматов сел напротив Нарзиева за длинный стол, примыкающий к письменному.

— Так о каких делах вы хотели поговорить?

— Хотел уточнить, где вы собираетесь жить? В нашей гостинице неплохие условия, — проговорил Нарзиев, заглядывая в непроницаемое лицо директора, как бы стараясь разгадать, что прячется за этим спокойствием. — Но подходящего дома для вашего переезда пока нет.

— Так... Сколько комнат в гостинице?

— Десять. Хоть завтра переезжайте. Один из директоров там жил.

— А будет ли удобно? — засомневался Кулматов.

— Ну, тогда коттедж построим... За месяц, пожалуй, построим, — прикинул Нарзиев.

— Ладно, подумаем... Пока буду ездить из города. Мне необходимо ежедневно принимать уколы.

Нарзиев понял, что пора перейти к главному вопросу. Он старался говорить осторожно, выбирая убедительные слова.

— Кадыр Кулматович, в вашей приемной сейчас сидят несколько человек, это старшие чабаны. Они принесли вам на подпись акты о падеже овец, которые накопились за те три месяца, что не было директора. Так вот, считаю своим долгом сообщить, что главный зоотехник не хочет брать ответственность за эти акты... Как бы у вас не было неприятностей. Овцы пали до вашего приезда, пусть зоотехник и отвечает. — Нарзиев слегка подался вперед, наклоняясь к директору, и доверительно добавил: — В крайнем случае можно заставить самих чабанов возместить убытки. У каждого из

них по сотне собственных овец, вот пусть и платят. Послушайте мой совет: если не приметесь за дело жестко, они на голову сядут. Так скрутят, что вздохнуть не сможете.

Директор внимательно слушал его, молчал, задумчиво вертя шариковую ручку.

— Ну, хорошо, — наконец сказал он. — Передайте чабанам, чтоб обращались к зоотехнику, и вообще, впредь подобные вопросы пусть решают с ним.

Нарзиев удовлетворенно кивнул и, осторожно ступая, словно боясь разбудить кого-то, пошел к дверям.

— Кто здесь с актом на подпись? Обращайтесь к главному зоотехнику! — громко объявил он в приемной, аккуратно прикрывая за собой дверь кабинета.

Чабаны зашумели, повскакивали с мест.

— Но зоотехник отказывается подписывать!

— Что ж, мы этих павших овец воскресим, что ли?

— Не знаю, не знаю! — повысил голос Нарзиев. — Утрясайте вопрос с зоотехником. Скажите, что директор велел разобраться.

Чабаны — расстроенные, понурые, вышли из приемной и долго стояли гурьбой в коридоре, совещались.

— Этот гад уже успел нашептать на ушко, разъяснил положение... Не может быть, чтоб директор с этого начал работу! — возмутился чабан Тагбай.

— Зайдем, братцы, выясним!

— В самом деле! Ну, не подпишет акты — бог с ним, есть о чем другом поговорить.

А в приемной Нарзиев отдавал распоряжение девушке-секретарше:

— На прием к директору записывай заранее — имя, фамилия, должность. Придет посетитель — зайди в кабинет, спроси — примет или нет. Довольно панибратства, какое было при бывшем директоре, — к тому, бывало, каждый чабан запросто заходил... Да! Утром приди пораньше, пыль вытри, цветы полей. И чтобы в приемной народ не толпился.

Среди тех, кто горячо обсуждал в коридоре — идти ли с актами к главному зоотехнику или вернуться на прием к директору, — был старший чабан четвертого отделения Абдумалик Мирзаев. До прошлого года этот поджарый энергичный парень с быстрым взглядом горячих глаз работал учетчиком на овцеводческой ферме и заочно учился на зоотехническом факультете Самаркандского сельхозинститута... Но в прошлом году, бли-

же к зиме, стряслась беда с его говарищем, чабаном Абдусаматом. Нелепая, трагическая смерть: в гололедницу Абдусамат ехал на мотоцикле и, не сумев притормозить, на полном ходу врезался в прицеп трактора. Осталась в Мохидаре бесхозная отара Абдусамата... Как ни старался директор подыскать для отары старшего чабана, ничего не получалось. Абдумалик долго думал — целую ночь все ходил по комнате, от окна к двери и обратно, выходил во двор, смотрел на белую, словно заледеневшую от мороза, луну и, наконец, решился. Утром зашел к директору и просто, спокойно выложил: мол, принимайте меня вместо Абдусамата. Директор даже вскочил от радости — подошел, обнял его.

— Ну, братишка, молодчина! Считаю — я твой подпасок. Что ни прикажешь — все сделаю, — сказал он сердечно. — Вот это и называется — настоящий комсомолец! Да что там — тебя в партию пора принимать! Я лично дам тебе рекомендацию. Такие, как ты, должны быть коммунистами.

Абдумалик не ожидал такого, сильно смутился.

— Да вы мне только хорошего подпасака найдите, — пробормотал он, — а больше мне ничего и не надо...

...Абдумалик не рвался на прием к новому директору. Он решил вернуться в Мохидару этим же вечером.

«Погорел я на три овцы, — размышлял он по дороге к дому, — но это бы ничего, если б знать, что дальше дела выправятся... Боюсь, не повезло нам с директором...»

Дома он был немногословен, торопился, обедать не стал, отхлебнул только чаю из пиалы. Мать, напротив, сегодня разговорилась, разулыбалась — в последнее время ей редко доводилось видеть сыновей (младший, Турсунбай, тоже был в Мохидаре — подпаском), и сейчас, собирая старшего в дорогу, она говорила без умолку: рассказывала кишлачные новости, то и дело любующимся ласковым взглядом окидывая заметно возмужавшего Абдумалика.

— Вот здесь, сынок, лепешки, кислое молоко. Вроде все собрала... Что же ты не ешь ничего? Смотри, как похудел за последний месяц. Все торопишься, все наспех, все боишься опоздать куда-то. — Мать подседа к сыну, налила и себе чаю в пиалу. — А я так редко вижу тебя.

Он улыбнулся рассеянно.

— Ничего, мама. Как поется в песне, «все у нас впереди...»

— У тебя — впереди, сынок... А у меня уже очень многое позади, и одному аллаху известно, сколько мне еще отпущено. Я мечтаю о том, чтобы хоть дни моей старости согрелись теплом.

Сын понял, что мать заговорит сейчас о том, что беспокоит ее уже давно.

— Хочется мне внуков увидеть, Абдумалик, хочется в своем доме услышать детский голос, понимаешь, сынок? Хочется, чтобы этот голосок назвал меня бабушкой. Устала я... Устала ночами думать. Только и мысли о тебе да о Турсунбае. Конечно, это хорошо, что ты близко к сердцу принимаешь все совхозные дела, но, сынок, надо и о своем благополучии подумать. Учетчиком был на хорошем счету, вот бы и работал спокойно — дом, мать — все под боком... так нет — дал обвести себя вокруг пальца, дал уговорить себя перейти в чабаны. Ты как покойный твой отец, никому отказать не можешь. А зачем тогда учиться, спрашивается? Овец гонять и неграмотный может. Люди вон говорят: «Видно, Абдумалик хочет орден получить и героем соцтруда стать, если в чабаны подался».

Абдумалик расхохотался так, что чай выплеснулся из пиалушки в руке.

— Ну, никак не могу объяснить вам, мама, — сказал он, отсмеявшись. — Никто меня не уговаривал, сам я напросился. Вы же знаете, я упрямый. А насчет образования... Пока, может, людям и в диковинку, что человек с образованием в чабаны подался, а в будущем неученому не то что отару — кролиководческую бригаду не доверят.

— Не знаю, — вздохнула мать. — Я в этих умных разговорах ничего не понимаю. Знаю только, что и в будущем никакая работа не заменит жену, детей. Наоборот, когда у человека семья крепкая, то любая работа спорится. В народе так испокон веку идет: парню следует вовремя жениться... А счастье не станет тебя дожидаться. Чем больше ты будешь робеть, тем дальше оно от тебя уходит. — Голос матери дрогнул, и она отвернулась.

Абдумалик, с серьезной ласковостью глядевший на мать, поднялся и подошел к ней.

— Да я за этим самым счастьем пешком пошел бы в Мохидару, мама! — негромко проговорил он, прикинув головой к ее плечу.

— Знаю. Я верю в твою работу, сынок. Но я хочу,

чтобы жизнь твоя была полноценной. Хочу, чтоб и мои старые плечи осветило солнце, чтобы невестка подхватила работу из моих слабеющих рук.

Сын заглянул в глаза матери, повлажневшие от слез. Впервые она говорила с ним так серьезно, так проникновенно. И впервые в душу его закралась тревога за ее здоровье. Он улыбнулся, чтобы развеять как-то грусть, и воскликнул, обнимая мать:

— Все так и будет, мама! Как порешите, так все и сделаю. Только чур потом не жаловаться, что мои дети заморочили вам голову.

— Не говори так, сынок! — всерьез обиделась она. — Разве я скажу такое о своих внуках! В народе говорят — детей на плечах носят, внуков — на голове.

— Ну, я поеду, пожалуй... — он поднялся, но мать мягко придержала сына за руку.

— Не спеши. Успеешь на эту свою работу. Побудь немного возле матери. Она ведь не вечная, сто лет не проживет. Что за время пришло, господи, — со своим ребенком всласть не наговоришься! Да, кстати, ты все еще переписываешься с дочерью лесника Усманкула?

Мать задала вопрос вскользь, словно ее не очень это интересовало, но Абдумалик смутился.

— Какая еще переписка! — буркнул он, покраснев, как мальчишка.

И мать осталась довольна его смущением.

— Думаешь, я не знаю! — лукаво улыбнулась она. — От меня тайны скрывать — бесполезное дело. Змея под землей шевельнется — и ту учую. Про материнское сердце не зря песни поют. Не понимаю только — к чему тянуть! Давай я наведаюсь к ее родителям, все обговорю.

— Охо-хо! Какая вы быстрая! — Абдумалик решил обратить все в шутку. — А ну как ее родители не пожелают отдать дочь за чабана?

— Пусть попробуют! Костями лягу у их порога! — мать оскорбилась от одного только предположения.

— Не переживайте, мама, — усмехнулся сын. — Всею свой срок. Пусть закончит учебу, да и я к тому времени диплом получу...

Мать молча собирала сына в дорогу, обе половинки хурджуна туго набила лепешками, сюзьмой, фруктами. Когда же Абдумалик сел на коня, она, пристально и нежно глядя снизу на сына, проговорила негромко:

— Наверное, ты прав, сынок. Друг друга дождаться, добиться, прорваться через долгую разлуку, тогда и любовь будет крепче и радостней.

...В полдень Абдумалик достиг урочища Тераклисай. В Мохидару надо было поспеть до заката солнца. За семь верст обходили чабаны это беспокойное место. Удобная для зимовки скота, запрятанная в глубине гор Мохидара за многие годы приобрела дурную славу. Редко кто из чабанов выдерживал испытание ледяным горным ветром да нападением на отару кровожадных волков Жандарлиса.

Голые холмы постепенно сменялись заросшими миндалем и арчовником. «Странное дело, — думал Абдумалик, глядя на холмы, говорят, всего несколько десятилетий назад все вокруг было покрыто густой растительностью. Но люди годами вырубали деревья на растопку, и природа отомстила — обмелели источники, оскудел животный мир предгорий. Теперь спохватились, стали сады разводить на холмах, в низовьях расчистили засыпанные родники, и вновь появилась вода. Пора бы уже понять, что природа не прощает неблагодарности. А сейчас хлопок сажают всюду, теснят фруктовые сады, и тем самым опять-таки нарушают равновесие в природе. Ну, каково крестьянину, работающему на хлопковом поле, обходиться в зной без тени, без фруктов? При таком положении, того и гляди, иные фруктовые деревья в «Красную книгу» угодят.

Почувяв влажный воздух Мохидары, конь заржал и припустил рысью. Осенний порывистый ветер приносил с гор пронзительные ароматы зрелых трав. Возникла и оборвалась песня кеклика, отбившегося от стаи, и эхо унесло эту песню ввысь. Слышно было, как птица с шумом улетала в сторону горного ручья.

Показался домик, где жили чабаны. Возле дома, сидя на задних лапках и запрокинув голову, протяжно даял сторожевой пес.

II

— Турсунбай бросил отару! Сбежал, негодяй! Абдумалик остался один! Один-одинешенек в этом огромном ущелье! Что будет, если он замерзнет? — кричал отец в возмущении. — Что ж у них в сердце — ни жа-

лости, ни любви друг к другу? Родные братья! Нет, лучше умереть, чем быть таким вот братом! Да что ж это творится? Настанет день, когда отцы и дети не захотят знаться!

— Что, что случилось, отец? — мама испуганно бросилась к нему, но отец продолжал возмущаться, не замечая никого вокруг.

— Абдумалик тоже хорош! Неужели нельзя подействовать на младшего лаской и человеческим словом? Дождались позора!

— Да что он натворил, отец?! Что вы кипите? Рассказывайте толком! — перебила его мама.

— Абдумалик избил Турсунбая. А тот, бросив отару, пешком — ты слышишь? пешком! — добрался сюда из Мохидары.

— Ой, горе мне! За что он его избил?

— Почему я знаю! От одного толкового слова не добьешься, другой чем больше учится, тем меньше на человека смахивает. Размахался кулаками, хозяин-бай! Ничего не скажешь, я восхищен таким чабаном!

Отец, багровый от возмущения, надел длинный меховой тулуп, никак не попадая в левый рукав. Я подскочил, помог ему.

— Придется кому-то из нас идти на подмогу Абдумалику, — в сердцах сказал мне отец. — Пока не найдут подпaska для замены.

— Если вы поговорите с Турсунбаем построже, он вернется в Мохидару, отец, — вмешалась в разговор мама.

— А, оставь! — раздраженно отмахнулся отец. — Не говори мне об этом дикаре, смотреть на него противно! Он и поздороваться толком не умеет.

— Молод еще, отец. Подрастет, поумнеет.

— Брось заступаться за него! Говорят, один в десять лет — глава семейства, а другой и в тридцать — сопляк. Наши еще не скоро людьми станут.

Мать промолчала, чувствуя, что лишнее слово вызовет новый взрыв отцовского возмущения, подошла и молча стала помогать отцу обуваться.

Он открыл дверь, собираясь выйти, и в приоткрытый проем видна была грузовая машина, ожидающая отца.

— Поговори со своим директором, чтоб отпустил тебя, — сказал он мне, придерживая дверь. — В такой

тяжелой ситуации он отказать не должен. Если упрется — сам с ним поговорю... — вышел и захлопнул дверь.

Его слова взбудоражили меня. Я всегда жил в предвкушении по-настоящему важных, огромных дел, для которых понадобится все мое мужество, вся решительность. Я уверен, что люди должны восхищаться тем, что ты делаешь, а иначе — в чем смысл существования?

И вот теперь мне предстояло трудное и важное дело — там, в снежных предгорьях, в легендарной Мохидаре. В волнении я заходил по комнате, от стенки к стенке, хотелось бежать куда-то, немедленно что-то делать. Я просто задыхался от бездействия.

...Тут мне придется отвлечься и рассказать все начистоту. Собственно, ради этого я и взялся за перо. Ведь жизненные обстоятельства подчас заставляют нас делать то, чего мы не хотим делать, и даже лгать. А чистый лист тетради, раскрытой перед тобой одним, так и взывает к правде, пусть даже и неприятной.

Итак, я не прошел по конкурсу на исторический факультет пединститута. Но я обрел Сабо, которая осветила мою душу, как освещает яркий источник света спящий дом. А Сабо — это... это.... Когда Сабо смеется, вы не найдете вокруг лица, которое не расцвело бы улыбкой в ответ на ее заразительный смех. А голос у нее негромкий и нежный, как проникновенная мелодия.

Весь этот месяц, на консультациях, мне хотелось каждое мгновение быть рядом с ней, говорить с ней, смотреть на нее. Но как только я оказывался рядом с Сабо и видел лукавые ямочки на ее щеках, колени мои начинали дрожать, а мысли путаться. Я стоял и молча смотрел на нее — дурак дураком. Наверное, я не добрал баллов из-за того, что на экзаменах смотрел только на Сабо, а ночами не спал, сотни раз повторяя про себя ее слова, сказанные мне днем. Как-то во время экзамена, когда под столом я передавал ей шаргалку, наши руки соприкоснулись, и в эту минуту я понял, что готов на все ради того, чтобы всю жизнь держать в своей руке ее маленькую нежную руку.

Когда выяснилось, что на дневное я не добрал баллов, мне в приемной комиссии посоветовали поступать на заочное. Пока пришлось вернуться домой. А у нас, в совхозе, каждый человек на виду, все знали, что я поступать уехал. От вопросов односельчан было некуда скрыться, ну, я и соврал, впервые в жизни: мол, поступил на заочное, весной поеду на сессию. Противно,

конечно, но это было единственным спасением от досужих языков. Впрочем, думаю, кое-кто догадывался об истинных результатах моей поездки.

— Подумать только, это сын бригадира Эшбая Джаббарова! — сокрушался дядя Мусурманкул, с которым мы принимали хлопок на хирмане. — Если б твой отец расщедрился для сына хотя бы на половину премиальных за сезон, то тебе не пришлось бы сейчас топтаться здесь, в пыли.

Меня эти сочувствующие слова хлестнули больнее плетки.

— С каких это пор честный труд считается унижительным? — спросил я хмуρο.

Дядя Мусурманкул махнул рукой, словно не желая меня слушать:

— Оставь эти громкие слова! Начитался книжек. Месяц околачивался в городе, теперь приехал сюда учить людей правильным взглядам на жизнь.

Была пора уборки урожая. От каждой семьи на хлопковое поле должен выйти один человек. Само собой разумеется, что в нашей семье этот жребий выпал на меня.

Холодно на поле ноябрьским утром, от ночной росы хлопок мокнет, разбухает, трудно достать его из коробочки. Мы бредем по грядкам, ежась от холода, стараюсь удержать в запахнутом чапане остатки тепла, и перебрасываемся шутками. Из потрескавшихся от холода пальцев сочится сукровица, и чувствуешь острую боль, едва дотронешься до края колкой твердой коробочки. И только к полудню, когда пригревает слабое ноябрьское солнце и просыхает ночная роса на кустах, работа у хлопкоробов начинает спориться.

Возвратившись домой после хлопкоуборочной страды, я услышал от учителя Мамарасула, что нашей восьмилетней школе добавили в штат новую единицу — должность пионервожатого. Мне всегда нравилось возиться с младшими, соседская ребятня со своими маленькими и большими заботами и бедами всегда бежала ко мне — кого рассудить и помирить после драки, кому помочь сделать змея, кого научить свистеть в два пальца; словом, я посоветовался с отцом и, получив его «добро», пошел к директору школы.

До сих пор не могу прийти в себя от этого разговора. Как вспомню его, так кажется, прикоснулся к чему-то липкому.

— Понимаешь, в чем тут дело, дружок, — пробормотал директор, не глядя на меня, перекладывая как-то бумаги на своем столе... — Хочу, чтобы ты правильно меня понял и, по возможности, оставил этот разговор между нами. Я не против того, чтобы ты работал у нас, ты парень хороший, но... Чтобы выбить эту штатную единицу, старший инспектор района ездил хлопотать в областной центр и с огромным трудом... Ну, ты понимаешь, о чем я хочу сказать?

— Не очень. — Я, растерянно улыбаясь, глядел на директора и действительно не очень понимал, что мне хотят втолковать.

— Ну, ты же умный парень. Я хочу сказать, что надо отблагодарить человека, который добился для тебя такой должности.

— Для меня? — переспросил я.

— Ну конечно! — удивился директор. — Ты ведь претендуешь на место пионервожатого?.. Так что первые две зарплаты придется отдать старшему инспектору. Все-таки бегал человек, хлопотал...

Я кивнул, отводя взгляд от холеных рук директора, суетливо перебиравших на столе бумаги. Я даже не сразу отдал себе отчет, что это открытое взяточничество.

Позже, уже приступив к работе, я не раз обрушился на директора с обличительными речами.

— С какой стати выполнение своих обязанностей считается чем-то особенным? — восклицал я. — С такими людьми необходимо бороться. Они наносят вред нашему обществу! — тут, как правило, я обнаруживал, что обращаю свое красноречие к самому себе, и меня охватывал яростный стыд. Единственным оправданием и отрадой для меня было то, что новая моя работа спорилась, дети привязывались ко мне все больше, да и я их всех уже знал и любил.

И вот в это-то время, когда дела в школе налаживались, нужно было бросать все и идти на помощь Абдумалику. В этом году старики обещали снежную зиму, а тогда в Мохидару никакой транспорт, кроме трактора, не пройдет.

Директор школы отпустил меня нехотя, не скрывая своего явного неудовольствия.

— Если б не авторитет твоего отца... — он не договорил и отвернулся, показывая, что на этом разговор окончен.

...Мы с отцом уже пообедали и собирались в дорогу, когда вошел хмурый и подавленный Турсунбай. Отец снял очки, протер их полой чапана и, водрузив на нос, пристально взгляделся в задубевшее от мороза лицо Турсунбая. На несколько минут воцарилась напряженная тишина.

— Почему ты бросил отару?—наконец спросил отец.

— Вы же знаете, Абдумалик меня избил, — не поднимая глаз, ответил тот, шмыгая носом, как обиженный ребенок.

— И что же ты натворил?

— Не я. Волк задрал трех овец.

— Поделом бит.

— Но ведь волки напали и тогда, когда он сам выводил отару! — запальчиво возразил Турсунбай.

— Ну, так выгоните всю отару в горы, только чтоб свалить на другого вину, а мы посмотрим — что из этого выйдет! — в сердцах воскликнул отец. — Вы как гром в июле — без скандала в кишлаке не появляетесь. Старший не умеет быть старшим, а младший не приучен быть младшим. В народе говорят — отбившегося медведь съедает, так-то, племянник. Был бы ты моим сыном, я б тебе голову оторвал.

— Но пусть и Абдумалик не дерется, отец! — как обычно, вмешалась мама. — Негоже избивать парня, которому жениться пора. Нет, как хотите, я считаю, всему виной старший.

— Оба хороши! — прикрикнул отец. — Что ты их защищаешь? Если сильно жалеешь их, то иди, паси овец! Вместо них!

Маме пришлось замолчать. Турсунбай сидел, понурив голову, не отрывая глаз от пола. Мне даже не по себе стало от жалости к нему.

— Отец, если Турсунбай виноват, пусть повинится перед братом. Давайте возьмем его с собой, помирим их.

— Что ты посредничаешь? У него самого есть язык. Во всяком случае, глупости с этого языка слетают в большом количестве, — бросил отец недовольно. Он никак не мог успокоиться. — Бессовестные! Бедная мать надорвалась, пока вас на ноги поставила, а у вас в сердце ни вины, ни благодарности!

После его слов надолго наступила тишина. Мама налила Турсунбаю кульчатая* в касу, и он, ни на кого

* Кульчатая — мясной бульон с кусочками крупной лапши.

не глядя, низко пригнувшись, громко хлебал бульон. Отец, нацепив очки, просматривал газету.

— Сходи к тете, проведай ее, — сказал отец, бросив на меня взгляд поверх очков. — Наверное, переживает из-за шалопаев. — Потом строго посмотрел на Турсунбая: — И ты иди, попроси коня у сторожа Рахмата. Если сегодня же мы не поедem, можем отары лишиться.

Мы с Турсунбаем молча поднялись, оделись и вышли. Темнело. Вороны на снегу — жирные, крикливые, скандальным криком тревожили снежную тишину. Некоторое время мы шли молча. Вдруг Турсунбай всхлинул и проговорил надрывно:

— Не веришь — можешь посмотреть на мою спину, на плечи — все в синяках от посоха! И я же оказался виноват, а этот Абдумалик опять хороший.

— Брось, никто его не защищает.

— Да твой отец и не скажет ему ничего! — чуть не плача, выкрикнул Турсунбай. — Как же — он старший чабан, круглый год пасет бесплатно ваших четырнадцать овец! Вот и получается, что виноват стрелочник!

— Наверное, ты препирался с братом, грубил ему. Ведь без причины человек не станет бить другого человека? — спросил я.

— А он долго не разговаривает. Как что не по нему — кулаками орудует. Два года уже пасу с ним овец — ни копейки не получил. Ничего, кроме побоев. — Он помолчал и добавил: — Ну и дурак же я, что не пошел учиться после восьмого класса.

Я засмеялся, подтолкнул его плечом:

— Вот это ты толково заговорил. И сейчас не поздно учиться...

— На худой конец стал бы, как ты, пионервожатым, — ехидно продолжал он, искоса взглянув на меня.

Вот человек! Обязательно должен ляпнуть что-нибудь, задевающее самолюбие. Я разозлился, но не подал виду, только сказал небрежно:

— Извини, дружище, но пионеры — не стадо овец. Для того, чтобы увлечь столько детей, надо кое-что в голове иметь.

— Куда нашей бедной голове до ваших высококачественных мозгов!

— Ты не обижайся, Турсунбай, — сказал я, — нельзя жить, делая все кое-как. Человек рожден для того, чтобы любое дело, за которое он берется, делать от души. Ты думаешь — это просто? Нет, надо еще

научиться такому отношению к труду. Надо заставлять себя, надо уметь бороться с самим собой. А ты, за какое бы дело ни принялся, работаешь спустя рукава. Поэтому от брата получаешь зуботычины, а от дяди — ругань.

Я замолчал, потому что Турсунбай соорудил благоговейную физиономию примерного ученика, внимавшего словам учителя.

— Что, лекция уже кончена? — спросил он. — Почему так коротко? Я еще не стал хорошим мальчиком. Ты-то сам, пайныка, кем готовишься стать? Учителем — в единственном костюме и лоснящемся от старости галстуке?

Я остановился и, сдерживая себя, сказал:

— Не смей говорить так об учителях. Тебя грамоте обучили эти люди в старых костюмах. На свете нет благородней профессии.

— Вот это правильно, — усмехнулся он. — Профессия благородная, потому что детей не купишь и не продашь. Ну, ладно, не злись, учитель. Пойдем, что ты встал, как столб?

Дальше мы шли молча. Но уже минуты через три Турсунбай нарушил молчание.

— И все-таки интересно, кем ты собираешься стать? Не секрет?

— Не секрет. Я во что бы то ни стало поступлю на исторический факультет института. Собственно говоря, я собираюсь стать археологом, а для этого надо хорошо знать историю. Все археологические экспедиции всегда возглавляли историки. Когда-нибудь и я приеду сюда с экспедицией, буду производить раскопки холмов. Я уверен, что и Дунетепе, и Кургантепе и Михтепа хранят тайны древности...

Я вырву из их утроб эти тайны!.. Это моя мечта — раскрыть все тайны прошлого наших мест. И я знаю, что она сбудется, и готов ради этого на все.

— Да, башка у тебя варит неплохо. Лучше бы ты, при твоей голове, стал директором нашего совхоза. Представляешь, как бы я запросто захаживал в твой кабинет, этак пнув ногою дверь?

— Ну, если б я стал директором, то я бы не позволил тебе открывать дверь ногами.

— Знаю, знаю. Ты бы меня к своей двери и близко не подпустил.

Я усмехнулся:

— А ты там, в горах, стал философом. В жизни разбираешься, знаешь, что к чему. Вот только серьезно работать не научился.

— А ты уже научился? — презрительно спросил он. — Ну так вот, потрудись, попаси овец одну зиму. Славная работенка... Заодно, можно и археологией заняться, в Мохидаре много холмов, старых захоронений... Может, клад откопаешь, ученый?

— А я, между прочим, с радостью еду в Мохидару. Разомнусь на природе, подышу свежим воздухом...

— Вот-вот, — подхватил он злорадно, — отморозишь нос да уши, тогда и пой хвалу труду чабана. Только смотри, не сбеги с первым же трактором.

— Увидим. Цыплят по осени считают.

— Там тебе придется считать павших от мороза овец. А можешь, как и я, по мордасам схлопотать, товарищ пионервожатый. Это тебе не «Будь готов! Всегда готов!» Овцы лозунгов не понимают. Может, пока не поздно, раздумаешь ехать? — он прищурился в едкой усмешке. Ясно было, что Турсунбай нарочно «заводил» меня.

— Не дразни меня, Турсунбай. Не то схлопочешь «добавку к обеду», — и, не удержавшись, я рассмеялся. — Собственно говоря, Абдумалику следует премию дать за то, что он работает с такой занозой, как ты. Мало он тебя лупил!

На это Турсунбай разозлился всерьез. Он пнул ногой камешек, подвернувшийся на дороге, и выпалил:

— Ну, если его дядя твой папаша, то что ждать от племянника?

— А ты-то чей племянник?

— А я знать никого не желаю! Дядя не отец! — он осекся, видимо, вспомнив своего отца. И я вспомнил в эту минуту слова бабушки об отце Турсунбая:

«Дяденька твой, Ходжаберды, с детства был нечестивцем. Его мать, бабушка Бувайда, в голодный год объелась тутовых ягод и умерла прямо под шелковицей. Ходжаберды в то время был уже взрослым парнем, но вышло так, что тело матери похоронили чужие люди, соседи. И я тогда говорила — не будет добра никому от такого человека. А муж твоей тети, отец Абдумалика — замечательный парень — погиб в горах от селя. Очень она горевала, бедная... Ну, и посватался к ней Ходжаберды, она и пошла. Родила от него Турсунбая, думала, заживет по-человечески. Но разве сло-

жится жизнь с грубияном и охальником, который родную мать не почитал?

Ушла от Ходжаберды твоя тетя, с двумя детьми ушла, и уж после нее никто за него замуж не пошел. И верно в народе говорят: зло, причиненное людям, бог возвращает обидчику сторицей. Турсунбай к отцу не навевывался, хотя характером в него пошел — тоже грубиян. Ходжаберды в одиночестве умер. Так оно и выходит — что посеешь, то и пожнешь...»

Турсунбай, видимо, догадался, о чем я думаю. В хмуrom молчании мы подошли к его дому. Увидев меня, тетя расстроилась, всплакнула, стала жаловаться:

— Измучилась я, Нурулла. Как тут не благодарить бога, что у меня всего двое детей, а не десять, как у многих... — Она высморкалась, вытерла слезы. — Перед людьми стыдно!

— Сама таких воспитала! — оборвал Турсунбай мать. — Нечего жаловаться. Теперь похвали своего старшего — кормильца, и мы услышим полный набор твоих причитаний!

— Ты видишь, Нурулла. Никакими словами его не проймешь. Силу, здоровье, молодость — все им отдала, и вот что слышу в награду... Бедный Абдумалик, собирался женить его, как отец. Он ведь вместо отца...

— Не вмешивай отца! — выкрикнул со злостью Турсунбай. — Он из могилы тебя за подол не тянет!

— Замолчи, Турсунбай! — крикнул я, сжимая кулаки. — Замолчи, а то!..

Он вздрогнул от моего крика. Несколько секунд глядел мне в глаза, потом отвел взгляд и молча вышел, топя сапогами — направился к сторожу Рахмату, просить лошадь для поездки в Мохидару...

III

Студеный вечер опускался в глубокое, укрытое снегом ущелье. Необъятная морозная белизна внушала человеку страх перед природой. Горным ручьям, разворившимся в вечерней тьме, было тесно в руслах, грозно гремели они по камням, временами заглушая протяжный и саднящий душу вой волков.

— Волки воют — к долгой зиме, — озабоченно проговорил отец, левой рукой в перчатке поглаживая усы, припорошенные снегом. — По преданиям стариков, та-

кие суровые зимы случаются каждые двенадцать лет или двадцать четыре года.

Взмыленные, несмотря на мороз и вьюгу, лошади шли по грудь в снегу, пришлось даже укоротить стрелена.

— Хоть бы все обошлось в нынешнюю зиму, — продолжал отец, как бы размышляя наедине с собой. — У нашего-то совхоза званье высокое, да скатерть пустая. На собраниях все хорошо, а на деле — развал... Скотные дворы, допустим, как-то выдержат эту зиму, они от кишлака недалеко, но вот овчарни... Ни одной крепкой овчарни не осталось. Кто поверит, что «золотая овца», которой в самой Москве восхищались, выведена у нас? А все почему? О себе думаем, о своем благополучии. Во время войны, бывало, человека, опоздавшего на работу, судили. Это, конечно, суровая мера, но неужели необходима война, беда, чтобы призвать людей к труду и порядку?

Мы помалкивали, не решаясь вставить слово в рассуждения отца. Мохидара вставала перед нами в громадном снежном величии. Сильный гнедой конь сторожа Рахмата, на котором мы с Турсунбаем сидели вдвоем, шел споро, пофыркивая, разбрызгивая пену с морды. Изголодавшись, он выщипывал из-под снега полынь и жевал ее вместе с удилами. Олакашка, на которой ехал отец, шла как бы дремля, устав от утомительной белизны снегов.

Турсунбай вертелся сзади меня. Ему, наверное, очень хотелось поговорить, но он побаивался отца.

— Вожатый, ты что, ослабленный? Погоняй коня живее! — шепотом задирали он меня, то и дело тыча кулаком в мои бока. — Похоже, что ты и на осле не умеешь ездить...

Но, несмотря на его подшучивание, чувствовалось, что на душе у Турсунбая тревожно. Абдумалик — парень с характером, мог и при нас прогнать брата.

Черными контурами в ущелье наметилась овчарня, вся вокруг заваленная снегом. Вскоре послышался отрывистый лай сторожевых псов.

— Ну, добрались, наконец-то. — Отец, тяжело вздохнув, огляделся. — Теперь этот снег пролежит до самых майских праздников.

Собаки, выбежавшие из овчарни нам навстречу, застряли в снегу и хрипло лаяли.

— Куктай, прекрати! — прикрикнул Турсунбай.

Узнав голос, собаки замолчали, виляя хвостами и поджидая всадников, чтобы вернуться в овчарню. Пар, вылетающий из собачьей пасти, быстро таял в вечернем морозном воздухе, а стекающая слюна замерзала на шерсти сосульками. Кони, обеспокоенные лаем собак, озирались, наставив уши, а гнедой сторожа Рахмата — он привык гнать расхитителей сена — тот злобно фыркал на собак, низко опустив голову. Олакашка коротко проржала низким голосом.

Бабушка говорит, еще с давних времен, едва на земле возникла разумная жизнь, лошадь и собака соревновались между собою в преданности человеку. И по сей день, завидев собаку, лошадь настораживается. Собаки же, завидев лошадь, оглушительно лают. Эти преданные животные ревнуют человека друг к другу.

Тут почему-то я вспомнил дедушку Девана-бобо, того, что долгие годы жил на мельнице в полном одиночестве. «Собака — друг, а женщина — мучительница, — говорил старик. Он считал за великий грех разговор с женщиной. — Нет на свете ни одной женщины, которая умела бы хранить и тайну и была бы преданным другом. Только попадет в твои объятия — все твои тайны по соседям разнесет...» О чудачествах старика знали все, и женщины на мельницу с зерном не приходили. А когда к роднику за кизяком прибегали девушки, Девана-бобо скрывался на мельнице, и хохотушки поднимали визг и хохот, нарочно дразня бедного старика.

...Из дома, плоская крыша которого тяжело держала толстый слой снега, вышел Абдумалик и остановился, поджидая нас. Его фигура с посохом напоминала позу скорбящего человека. Он стоял, опираясь подбородком на сцепленные руки, держащие посох, — обросший бородой, в шапке с опущенными ушами, — и глядел на нас бесконечно усталыми глазами. Видно, у него не было времени не то что поспать, но даже отряхнуть шапку от застрявших в ней соломинок.

Я сразу вспомнил почему-то, что Абдумалик всегда был защитником для нас, малышей, и бесстрашно бросался в драку со старшими, если те обижали нас. Я проникся сочувствием и жалостью к нему и испытал сильнейшую неприязнь к Турсунбаю, сидевшему за моей спиной. Ни при каких обстоятельствах тот не должен был бросать Абдумалика одного в ущелье, среди этих бесконечных снегов. Когда мы подъехали

вплотную к Абдумалику и я взглянул в его усталое лицо и заметил, что на глаза его навернулись непрошеные слезы, я понял, что останусь с ним до конца; в почерневшее лицо вьелась гарь, смешанная с потом, и это еще больше выделяло горящие, ввалившиеся глаза. Похоже, он не умывался несколько дней, ведь в такую вьюгу сходить к ручью — одно мученье. Наверное, пил чай из талого снега, скорее всего, сидел на хлебе и воде.

Мы с Турсунбаем пошли привязать коней у плетня, огораживающего стожок сена, которого едва бы хватило на одну кормежку. Отец с Абдумаликом направились к овчарне.

Положение в отаре было тяжелым. Из-за непрерывного снегопада овец нельзя было выгнать из овчарни. В открытом загоне овцам было тесно, сильные затаптывали слабых, из-за сырости бедные животные с обледенелой коркой шерсти на спине напоминали обмытых после стрижки. С голодухи они жевали все, что попадалось.

— Турсунбай, ты предатель! — в сердцах сказал я, привязывая коня к плетню. — Даже если Абдумалик прибил бы тебя, ты не должен был бросать его.

— Заткнись! — огрызнулся он. — Ты еще меня не поучал! — Видно было, что его расстроила холодная встреча с братом. — Что изменилось бы, если б я остался? — выкрикнул он. — Нашли козла отпущения! Все равно сена нет! И овцы все равно будутдохнуть! Увидишь, что станет, когда кончится этот клок сена.

— Кто мог подумать, что грянет такая зима. А овцы, как и люди, в холодное время едят больше, чем обычно. Зимой скотина жует беспрестанно. Согревается...

— Если не подвезут сена, все полетит к чертям! — продолжал раздраженно Турсунбай. — И старшего чабана Абдумалика Мирзаева, который дубасит всех без разбору, мы увидим за решеткой. Да еще ему приплюсуют избиевание невинного человека, так что всю десяточку он получит. Будет сосны валить в Сибири, энтузиаст.

— Что ты болтаешь, дурень, тебе не стыдно?

— А ты не учи меня, я тебе не пионер! Прочитал пять книжек и думает, что он умнее всех. Посмотрим, как ты с отарой справишься, овцы ведь не пионеры, им галстуки не напялишь. — Он рассмеялся, доволь-

ный своей шуткой, и долго хохотал, похлопывая себя ладонями по коленям. Так заразительно смеялся, что и мне смешно стало.

— Ты знаешь — кто? — спросил я. — Ты самый настоящий отрицательный герой.

— Это у какого писателя? У Абдуллы Каххара? — и он еще громче захохотал. На этом вроде помирились.

Привязав лошадей, мы пошли к овчарне. Казалось, весь мир был завален снегом. Двухметровые ели укрылись им по самые макушки. Ослепительная, мертвенная белизна зимы...

Такие глубокие снега я видел только раз, в детстве, именно в этих сказочных местах Ойкора. В то зимнее утро отец поднялся, как всегда, спозаранку — встал посмотреть за скотиной. И мы, дети, просыпались, сонно толкая друг друга коленками и локтями.

Комната до потолка была залита белым, крахмальным светом от инея, густо покрывавшего наши окна. Но то оказался не иней, а снег. Ни звука не доносилось снаружи, лишь лай Алпара звучал приглушенно, словно издалека.

— Неужели за ночь могло выпасть столько снега? — отец поспешно одевался. Загон под навесом, в который с вечера были запущены овцы, должно быть, весь завалило снегом.

Отец навалился на дверь плечом, с трудом открыл ее и вышел. Яркая белизна хлестнула по глазам — снегу навалило по пояс человеку. Мы мигом оделись и выбежали наружу — снег, какой глубокий пушистый снег! Взрослым — хлопоты, нам — радость.

...Воспоминание о том давнем дне звонким эхом тронуло мою душу и, как почти всегда бывает со мной в минуты волнения, тотчас возник нежный образ Сабо, и я вновь и вновь стал твердить те слова, что хотел сказать ей: «Сабо! Я счастлив только тем, что ты есть на свете! Я преодолеваю дни только потому, что живу надеждой скоро увидеть тебя! Сабо! Как хотел бы я рассказать тебе все, что тревожит и волнует меня! Я привезу тебе красоту и величие моего края, моих гор — звонкие песни ручьев и яркие полотнища зеленых пастбищ!»

Отец приказал выдать овцам немного сена.

— Разделите оставшееся пополам, — велел Абдумалик, взбираясь на крышу овчарни. — Другая на завтра останется...

Они с отцом отгребали снег ногами и внимательно осматривали крышу овчарни.

Мокрое сено замерзло и торчало колом. Турсунбай, чертыхаясь шепотом, выковыривал серпом клоки сена и подталкивал его ногами в кучу. Овцы, уже почуяв, что их собираются кормить, сгрудились, толкаясь, возле плетня и возбужденно блеяли.

— Давай я стану выбирать сено, а ты раздавай им, — предложил я Турсунбаю.

Он возразил:

— Одному надо возле дверей стоять, а то они нас затопчут. Смотри, с голодухи уже деревянную стену грызут.

И вправду, две овцематки грызли опутанный проволокой кусок дерева. Спиною подпирая дверь, я сдерживал натиск овец. Они яростно стремились к сену, просовывая в дверь морды, стараясь пролезть вперед. В тот день я впервые заметил сходство между глазами человека и овцы. Невозможно было без сострадания смотреть в глаза этих голодных, измученных холодом животных.

Турсунбай ловко хватал клоки сена и раздавал овцам. Лицо его блестело от пота. Как ни раздражал он меня, но сейчас его было жалко, мне даже захотелось сделать для него что-то хорошее. Такой уж с детства у него характер тяжелый: он, бывало, и овцу свою пасет отдельно, и обедает один, в сторонке. Думаю, в характере его виноваты родители, их сложные взаимоотношения.

К ночи мороз окреп. Ташакур, северо-восточный ветер, наметал гигантские сугробы, швырял снег в открытый загон возле овчарни, и снег, утопанный сотнями овечьих ног, превращался в толстый слой льда. Казалось — еще несколько сильных порывов ветра, и овчарня развалится. Сквозь прогнившую крышу, подпираемую трухлявыми столбами, сочилась вода.

Прислонясь плечом к опоре, Абдумалик в глубокой задумчивости слушал отца, который ходил вокруг и возбужденно говорил:

— Ни в одной отаре нет подпаска, работающего по штату. А все почему? Нет определенного заработка. Иные чабаны нанимают подпасков за триста-четыреста рублей. Откуда они берут эти деньги? Прodelывают махинации с шерстью, приплодом, выдают жирную сохзную овцу за тощую и таким образом рассчитывают-

ся с подпаском. А куда тут деваться, когда главное — сохранить поголовье скота.

— Но ведь есть и такие чабаны, которые сдают государству своих ягнят, лишь бы выполнить обязательства, — возразил Абдумалик.

— Да, есть. Так это — липовый патриотизм, скажу я тебе. Такой сдаст своего ягненка, чтобы его на собрании наградами и премиальными не обошли. И его наградят, будь спокоен. А с тебя строго спросят!

Абдумалик молчал, погруженный в тягостные размышления, а отец продолжал возмущаться:

— Сено собираются везти из соседнего района! Хотя в районной газете черным по белому писалось, что совхоз перевыполнил план по заготовке сена!

— Если сегодня-завтра не привезут сена — плохи наши дела, — мрачно вставил Абдумалик.

Отец остановился напротив него, положил руку на плечо:

— Как только вернусь, немедленно пойду к директору, к парторгу — обрисую положение.

— Лишь бы сено подвезли, остальное — не важно...

Отец долго еще ходил, осматривая овчарню, сурово качая головой. Потом сказал:

— Вот что: лед надо сколоть, загон просушить, иначе у овцематок начнутся выкидыши. Завтра заставь ребят смести с крыши снег, натаскать сверху слой мелкого хворосту и земли и утрамбовать хорошенько ногами. Все это прихватит морозом и крыша не будет течь...

На другой день утром отец уехал, ведя на поводу гнедого дяди Рахмата. Мы остались втроем, с голодной отарой, в глубоких снегах. Мы знали, что стоит немного расслабиться — и отара погибнет. Здесь, в Мохидаре, стойкость и выносливость были необходимы, как на фронте. Даже Турсунбай помалкивал, безропотно выполняя все приказания брата.

Оставшегося сена не хватило и на два дня. Хотелось укрыться куда-то от беспрестанного бляенья голодных овец. А снег все валил и валил без устали, нагромождая снежные барханы.

На третий день, к полудню, мы прорыли в снегу дорогу к роднику. Вокруг русла намело снегу высотой с человеческий рост. Эти огромные белые пространства угнетающе действовали на психику, а от бляенья овец,

удесятеренного эхом, хотелось выть по-волчьи, хотелось заткнуть уши, упасть в снег, зарыться и ничего не видеть и не слышать. Но нас было трое, с отарой, в глубоких снегах Мохидары, всего трое. Всего трое...

После обеда, выгнав половину отары в открытый загон, мы с Абдумаликом принялись чистить овчарню. Я сгребал навоз и слякоть с земли, Абдумалик перебрасывал лопатой через ограду. Мы молчали. Говорить было не о чем, мы только напряженно прислушивались — не раздастся ли в гнетущем белом безмолвии рокот приближающегося трактора. Абдумалик с каждым днем становился мрачнее. Видя это, Турсунбай молча и рьяно работал — колол дрова, отгребал лопатой снег, готовил пищу; бранился шепотом, чтобы не услышал брат. Со дня приезда он еще не умывался, и то сказать — когда дрожишь от холода и на душе неладно, не очень-то думаешь о собственной физиономии...

Спали мы в единственной комнате дома — сырой и темной, на полу, устланном соломой. Балки потолка, черные от копоти, давно потеряли свой первоначальный цвет. В железной «буржуйке», чадя, горел кизяк, окунутый в солярку. В казане на печке обычно варилась нежирная баранина. Я уже привык к этому убогому быту, мне казалось, что я живу здесь давно.

Всего два раза из родника удалось притащить воду, — снежные метели вмиг завалили узкий проход к нему. Напились сами, напоили овец. Истощенные голодом овцематки жадно пили теплую ключевую воду. На завтра придется заново прорывать тропу к роднику.

— Надо предпринимать что-то, иначе пропадет скот, — устало сказал Абдумалик утром, не сводя с дороги измученного взгляда. — Но ведь тракторы уже свободны от вспашки! Неужели трудно прицепить прицеп и отправить сюда кузов сена! Вот увидишь, когда погибнет половина отары, они тут же дадут транспорт для перевозки трупов.

Я молчал, прекрасно понимая его настроение. Что мы могли? От зари до зари по колено в грязи мы чистили овчарню, задыхаясь от кисло-удушливого запаха навоза, не чувствуя одеревеневших от холода и влаги ног в кирзовых сапогах. Руки были черны от грязи и пота. Стекая со лба, пот едко щипал глаза: голодные овцы, уже сутки не евшие ничего, кроме снега, тянули нас за полы одежды. Турсунбай говорил, что челове-

ческое существо не в состоянии выдержать такое. Он вполголоса матерился и всячески поносил руководство совхоза.

IV

Сено не привезли и на четвертый день. От пронзительных голосов блеющих овец можно было оглохнуть. Абдумалик вынес из дома охапку рисовой соломы, которая была подстелена под домотканый палас, и через несколько секунд от соломы не осталось стебелька. В свалке были затоптаны два барашка. Настроение у нас испортилось вконец.

— Здесь не у овец, здесь у нас будут выкидыши, — пробурчал Турсунбай, поднял лопату и, волоча ее за собой, направился к овчарне. Там, ругаясь, он шлепал по мордам овец, лижущих снег.

— Э-э-эй! Сю-да-а-а! Идите сюда-а-а! — вдруг заорал он.

Мы с Абдумаликом выскочили из дома, ожидая увидеть трактор, волокущий прицеп с сеном. Турсунбай, с испуганной физиономией глядел на овец, не переставая вопить:

— Сюда-а, гляньте: они едят шерсть друг у друга!

Овцы, как бы почесывая мордами друг друга, жевали шерсть.

— Бей их по мордам! — закричал Абдумалик.

Турсунбай не замедлил выполнить это приказание.

— Плохи дела, — сказал Абдумалик с обреченным видом. — Овца, объевшаяся шерсти, погибает.

Животные неприкаянно бродили вокруг овчарни, хрипло блеяли, взрыхляли копытами снег. Наскоро пообедав, мы вернулись в овчарню и увидели, что несколько овцематок, выстроившись вдоль стены, что-то жевали. Почувяв неладное, мы подбежали, и от удивления я замер: овцы лизали стены овчарни, как лижут соль. На морды налипала глина. Одна овца уже лежала на земле и сучила ногами в предсмертной агонии — в горле у нее застрял кусок глины. Абдумалик не вынес зрелища ее мучений, схватил нож и прирезал бедное животное. Я закрыл глаза и отвернулся. Турсунбай с криком и руганью бил овец по мордам и гнал от стены, но те снова и снова упрямо бросались к ней.

Абдумалик стоял, уронив голову, оцепенело глядя

на лужицу глинистой слюны, вытекающей из перерезанного горла овцы.

— Сними шкуру, — глухо велел он Турсунбаю и вытер рукой пот со лба. На лице остались пятна крови — в спешке Абдумалик поранил себе руку.

Медленно он вышел из овчарни, опустил руку в снег, чтобы остановилась кровь, потом вернулся и тяжело опустился на выступ опоры.

— Что делать будем, Нурулла? — мрачно спросил он.

— Может, сегодня все-таки подвезут сено, — ответил я в растерянности.

— Что-то не похоже... Еще несколько дней — и овцы нас сожрут. — Он помолчал, оглядывая овец тяжелым взглядом из-под воспаленных век, и заговорил опять в отчаянии. — Не понимаю... Ведь дядя Эшбай все видел, ведь он должен был сказать!

— Он наверняка передал, только ты же знаешь Нарзиева... — предположил я.

— Все может быть... Директор новый, не осмотрелся еще. А Нарзиев только тем и занят, что ловит рыбку в мутной воде...

Неожиданно он вспомнил эпизод, произошедший летом...

Группа чабанов и бригадиров выехала на собрание, где должны были вручать нашему району переходящее Красное знамя. К правлению подогнали грузовик, в кабину сел Нарзиев, остальные, перебрасываясь шутками, разместились в кузове. Ехали весело и собранием остались довольны — участников наградили отрезами атласа и ситца, чайными сервизами. После собрания сидели в чайхане, что в центре скверика, ели плов, запивали зеленым чаем.

— Товарищ парторг, дело к вам, — обратился к Нарзиеву известный чабан Садык-бобо Мамарахимов. В годы войны он был председателем колхоза, поэтому все звали его по старой памяти «раис-бобо» — «дедушка-председатель». Садык-бобо снял ордена, будничным жестом опустил их в карман и продолжал: — В этом году, похоже, зима будет лютой — сизоворонки рано улетели. Надо бы вокруг овчарен запасы сделать, хотя бы верблюжьей колючки. В поле ее видимо-невидимо. Сенокосилки за день накосят столько, что на три района хватит. А мы бы сами убрали...

— Машина еле с сеном справляется, а вы вспомнили о верблюжьей колючке, да еще на каменистой почве! — тонкий голос Нарзиева звучал насмешливо.

Садык-бобо посерьезнел.

— Ну что ж, придется позвать на помощь наши семьи, — сказал он, — но верблюжьей колючкой записаться необходимо, иначе скот будет голодать. — Он взглянул на Нарзиева внимательно. — А с вами стало невозможно решать даже самые простые вопросы!

— А вы к директору обращайтесь, раис-бобо, мы люди маленькие, — Нарзиев пожал плечами и неприятно усмехнулся.

— Что? Маленькие? Кто вам это сказал? — голос раиса-бобо напрягся, и все невольно стали прислушиваться к разговору. — Мы вас в парторги избирали не как маленького, нам маленькие не нужны. А если впредь будете приbedняться, то ваш авторитет и вправду будет становиться все меньше и меньше. Вы думаете, это скромность? Нет, это бессилie и равнодушие, брат мой. А если вам тяжело заниматься таким важным делом, то у нас есть и молодежь — толковая, энергичная...

Садык-бобо слегка кивнул в сторону Абдумалика, который с видимым удовольствием ел плов, основательно с утра проголодавшись. Нарзиев тоже взглянул в его сторону, и краска медленно поползла по его одутловатому лицу. Заметив общее внимание, Абдумалик смутился, а Садык-бобо продолжал:

— Бог даст, в будущем августе сорок лет стукнет, как я в партию вступил. И до сих пор не слышал в свой адрес худого слова. И партия на меня вроде не в обиде. А вспоминаю, какие горячие, огневые парторги были у нас — случалось, невозможное делали возможным. И сами покоя не знали, и другим бездельничать не давали! Абдумалик! — он с серьезной ласковостью взглянул на парня. — Вот ты, как кандидат в партию, что думаешь по этому поводу? Все у нас в порядке?

Его теплый и сердечный тон подстегнул Абдумалика, и парень решил высказать то, о чем давно думал.

— Я полагаю, что следует с разбором рекомендовать людей в партию, — сказал он спокойно. — Например, когда нас принимали в кандидаты, один из чабанов не смог ответить ни на один вопрос членов бюро. Может, он не понимал сложных вопросов? Но под конец его спросили, сколько ягнят он получает с сотни

овцематок и сколько оставляет в рост, так он и на этот вопрос не ответил... Думаю, в партию все же надо рекомендовать грамотных, толковых людей. Времена другие.

— Грамотные начнут поучать всех подряд, как ты! — разозлился Нарзиев. Лицо его по цвету напоминало спелый помидор.

— Верно говорит Абдумалик! — нахмурился Садык-бобо. — Те, кто делали революцию, тоже были людьми образованными. Многие из них были голодные и раздетые, но знаний и понимания дела — хватало! Поэтому они и свергли царя. А теперь мы сыты, довольны, одеты и ни о чем не думаем, кроме своего блага. Ты, Низамиддин, вместо того, чтобы хватать за шиворот говорящего правду, лучше бы попытался в делах разобраться. А то вся твоя работа — это чайники с чаем директору таскать. Вот что я скажу тебе — человек прежде всего себя уважать должен, тогда он и других уважать научится...

Нарзиев нахохлился, но ни слова не сказал старику. А тот поднялся, нахмуренный, молча вымыл руки и пошел к машине: Садык-бобо приехал на собрание на своей новенькой белой «Волге».

— Идем со мной, — бросил он, проходя мимо Абдумалика.

Парень не знал, зачем его зовет Садык-бобо, но спрашивать не стал. Наспех допил чай и пошел следом за стариком. Нарзиев, вытирая платком вспотевшее багровое лицо, пристально смотрел вслед обоим. Затем поднялся и направился к грузовику, возле которого уже собирался народ.

— Заедем на базар, прихватим кое-что, — сказал Садык-бобо, неловко садясь за руль и включая зажигание. — Бабушка приготовила жареное мясо, надо отвезти в районную больницу. Там односельчане лежат, Шакир и Абдувахит.

Старик вел машину медленно, осторожно, как человек, недавно севший за руль. Он говорил, и голос его прерывался, а руки подрагивали от волнения.

— Не знаю, может, у меня мозги прокисли, как у той вороны в зной, и я, старый пень, ничего не понимаю, но кажется мне, пора уже ставить заслон всем этим восхвалениям и пустозвонству. На прошлой неделе статью обо мне в газете поместили. Поверишь ли, когда старший внук читал, мне дурно стало — чего

только не понаписали! Как это говорят теперь — сплошная «липа» и вода. Пустая, никому ненужная болтовня! Не упомяну, когда со мной встречался этот бойкий журналист. Ну скажи, кому нужны эти ничего не говорящие слова, унижающие человеческое достоинство! Ты умеешь водить! Садись за руль, веди эту железяку. Руки трясутся, как бы чего не натворить. — Старик оставил машину на обочине дороги, обернулся к Абдумалику и добавил: — Нет ничего лучше лошади. Чем ближе человек к железу, тем он и сам жестче становится...

— Если к вечеру не привезут сена, пойду пешком в кишлак, — глухо проговорил Абдумалик. — Дальше ждать бесполезно. Или привезу корм, или... натворю там что-нибудь! — он сжал кулак и стукнул им по колену.

— Себе хуже сделаешь! — возразил я. — Тогда плакала твоя партия — скандалиста не примут ни за что.

— Худо, Нурулла... Беда, что овцы глину лижут. От этого в желудке образуется твердый, как камень, ком. Это гибель. А овца — глупое, доверчивое животное, что на язык попадет, то и хватает. Так что, если и подвезут сено, считай, что урон уже понесен. Гибнут овцематки, значит, гибнут и ягнята, вот беда... — Он помолчал, размышляя о чем-то, потом поднял на меня глаза: — Слушай, Нурулла, а что если мы разберем плетень и оградим хворостинами стены овчарни? Пусть уж дерево грызут, это не так страшно.

До вечера разбирали плетень и заграждали стены овчарни.

Овцы, как дети, ходили за нами по пятам. Мы прогоняли их, но они возвращались и смотрели нам в глаза изможденным своим, человеческим взглядом.

В дом мы зашли уже затемно. Возле раскалившейся «буржуйки», сидя на овчине, спал Турсунбай, запрокинув голову, тяжело дыша. В казане варилось мясо той овцы, что прирезал Абдумалик утром. От долгого кипения шурпа побелела.

— Устал мальчуган... — проговорил Абдумалик, взглянув на брата и присаживаясь рядом. — Завари-ка чай, дружок, да покрепче, чтоб сон прогнало. А то ночью не сможем работать...

Проснувшийся от звуков наших голосов Турсунбай встрепенулся и, гремя посудой, принялся разливать шурпу в алюминиевые миски. Потрескивали в печке сухие арчовые ветки, воздух в комнате прогрелся, пахло сырым войлоком и кралином, который летом хранили здесь чабаны, и от этого кислого запаха муторно было на душе.

— Невозможно есть, — сказал Абдумалик, попробовав кусок мяса. — Овцы, наверное, уже несколько дней лижут глину. Она даже в мясо въелась...

И правда, шурпа отдавала глиной, разогретой на солнце, землей. Долго потом меня преследовал этот вкус, этот запах. Казалось, все вокруг, весь мир — деревья, животные, люди — сотворены из глины. А в тот момент я впервые ощутил, что человек — живая частица земли, и вспомнил слова, которые так часто повторяла бабушка: «Человек создан из праха, в прах и вернется...» Я подумал тогда о том, как редко осознаем мы эту кровную связь с природой, как мало благодарны ей за то, что породила нас, и кормит, и в конце концов, принимает в свои объятия...

Турсунбай быстро хлебал шурпу, энергично прожевывая затвердевшее от долгого кипения мясо. Даже лоб его вспотел от усердия. Абдумалик, с отрешенным лицом, словно нехотя, ел хлеб с изюмом, запивая его чаем... Нас измучило сознание, что рядом умирают животные, а мы, возле горячей печки сидя, едим их мясо. Кто виновен в этом? Кто за это ответит? На Абдумалика было жалко смотреть — он с трудом глотал прожеванный хлеб, видно, не шел кусок в горло... На целом свете, казалось, существует лишь один звук — беспомощное и пронзительное бляенье.

И в этот момент, когда наше отчаяние достигло своего предела, до нашего слуха донесся еще один звук — далекое стрекотание трактора. Мы не шелохнулись, лишь Абдумалик зыркнул на меня каким-то диким взглядом. Гул трактора становился все различимее. У Турсунбая из рук выпала алюминиевая миска, затарахтела по полу. Приоткрыв рот, он уставился на нас. И тогда Абдумалик вскочил, словно подброшенный какой-то мощной пружиной, и выбежал из дому. Гул трактора приближался.

— Сено!! Хватайте вилы, сено при-бы-ло-о-о!! — орал Абдумалик, как сумасшедший.

Схватив лежавшие в сенах вилы, мы выскочили за

ним. Рокот трактора, черным жучком ползущего к овчарне, казался нам гимном...

Сено! Сенушко! Ты ли это? Только сейчас я узнал тебе цену! Что мне золото! Сено — вот величайшая из драгоценностей в снежную эту зиму. Поклон до земли тем людям, что отправили тебя к нам! Спасибо тебе, тракторист, отважный парень, не побоявшийся пуститься в дорогу в такую морозную ночь! Если б знал ты, скольких животных спасаешь! Э-эй, овцы, овечки мои! Слышите, сено прибыло! Се-но-о-о!

Я что-то говорил самому себе в бреду горячечной радости, переполнявшей меня. Мы побежали навстречу трактору. Споткнувшись, Турсунбай нырнул в глубокий, по грудь, сугроб. Абдумалик опередил нас шагов на десять... Он размахивал шапкой и кричал. Ущелье наполнилось истошными криками овец. Они бегали по загону, и страшно было показаться им на глаза. Иные овцематки, уже не в силах поднять голову, отупело жевали жвачку, провожая нас жалобным взглядом. Невозможно было смотреть в эти потухшие глаза. Со дня на день мог начаться окот.

Не доехав до расчищенной от снега площадки, трактор остановился. Сквозь оглушительный грохот мотора доносился голос надрывающегося в крике Абдумалика. Я бросился к трактору, но, увидев прицеп, от неожиданности споткнулся и упал. В яростном бессилии я замолотил кулаками снег, заплакал в голос: прицеп был пуст. Застрявший в щели клок сена трепетал на ветру. Абдумалик кричал надрывно:

— Мерзавец, почему ты оба прицепа отдал отаре Мавлана? Овцы гибнут, жрут глину!

— Не ругайся, Нарзиев приказал!! — кричал в ответ Джуракул, по пояс высовываясь из кабины трактора. — Велел все везти в отару Мавлана! Я по пути решил захватить к тебе, может, что захочешь в кишлак передать?

— На кой ты мне сдался, баран! — в ярости Абдумалик схватил Джуракула за отвороты куртки и вlepил ему оплеуху.

Оторопевший от неожиданного удара огромный Джуракул рванулся и, выскочив из кабины, ударил Абдумалика так, что тот отлетел в снег, на несколько шагов... Не ожидая, пока он поднимется, Джуракул вытащил из-под сиденья трактора какой-то длинный предмет, должно быть, гаечный ключ. Я оцепенел... Абдумалик поднялся и с бранью ринулся опять на Джуракула,

тот хладнокровно и ловко ударил его ключом по голове. Ударил, как мне показалось, не в полную силу, иначе раскроил бы череп. Абдумалик молча рухнул на бревно спиленного тополя.

— Уберите вашего покойника! — крикнул нам в бешенстве Джуракул. Из носа и разбитой губы у него текла кровь. — И только попробуйте подойти ко мне — башку раскрою! Сукины дети!

Он нырнул в кабину, резко развернул трактор и поехал по ущелью вдоль ручья.

Усевшись в снег, Турсунбай плакал, как ребенок. Овцы иступленно блеяли, как бы объявляя траур по нашей радости, обернувшейся несчастьем. Многие из них уже потеряли голос, и из раскрытых ртов вылетал только хрип.

Вдвоем мы перенесли Абдумалика в дом. Он был без сознания, из-под шапки текла кровь, мы уложили его.

— Надо остановить кровь, — пробормотал я. От пережитого испуга у меня дрожали колени.

— Да-да, сейчас! — торопливо подхватил Турсунбай, раздеваясь. — Сейчас приложим сажу, вмиг перестанет течь.

Он стал ножом соскабливать с казана сажу.

— Ну вот, Нурулла, убедился? Увидел своими глазами? Ну, скажи, чем виноват бедный Джуракул? Его это сено, что ли? Куда приказали, туда и везет... Я же говорил, что мой братец без драки жить не может. Из-за того, что овцы голодают, надо человеческую кровь проливать? А что если он умрет? А? Что я маме скажу? — он всхлипнул. — Если государству нужен скот, сено доставят!

Трясущимися руками он положил горстку сажу на кровоточащую рану, прикрыл сверху клочком бумаги и обвязал голову брата полотенцем. Осторожно приподняв, я держал еле дышащего Абдумалика.

— Повезло еще — шапка смягчила удар, — продолжал Турсунбай. — А то у старшего чабана вместо одной головы сейчас было бы две.

Мы вымыли руки, поливая друг другу теплую воду из кувшина.

— Плеснуть ему в лицо холодной воды, чтоб очнулся? — спросил я.

— Не надо. Если сейчас в себя придет, то будет чувствовать сильную боль. А от этого проклятого бляенья

вообще сойдет с ума. Пусть отдохнет несколько часов. Если б его не уложили таким способом, он бы всю ночь вокруг овец бегал, этот кандидат.

— Какой кандидат?

— Ну, какой — в члены партии! А чего он старается, дубасит всех без разбору? В партию рвется, проявляет активность в общественных делах.

— Ты бы уж молчал, — оборвал я его. — Надо понять Абдумалика. Завтра он головой ответит за погибших овец. И нас с тобой не спросят, как было дело... Ты бога моли, чтобы он скорее поднялся. Иначе нам хана.

— А по нас давно уже плачут все медведи Ойкора, — горько усмехнулся Турсунбай. — И сами мы уже хуже медведей — дохлятиной питаемся. Разве это жизнь!

— Не скули, людям и не такое приходилось переживать! — раздраженно сказал я. — Надоела твоя болтовня. Пойдем, проведем отару. Теперь за Абдумалика надо работать. — Я поднял с пола фонарь и, прикрыв его полой чапана, вышел наружу.

К подветренной стене дома прибилося несколько овец. Они стояли, не шелохнувшись, непонятно было — живы они еще или уже окоченели.

— Переноси их в загон, скорее! — крикнул я Турсунбаю, бросаясь к овцам и взваливая одну на плечи.

— Теплые еще, не замерзли! — Схватив под мышки двух барашков, он припустился бегом в загон.

Минут десять мы, как грузчики, перетаскивали овец на плечах в загон. С нас градом катился пот, я слышал хриплое дыхание Турсунбая. Правда, на бегу он успевал отпускать свои ехидные замечания:

— Глянь, как они горестно подпирают стенку. Выражают заболевание старшему чабану.

— Прекрати дурацкие шуточки!

— Я не могу все время ходить с постной физиономией, как ты и Абдумалик.

— Помолчи хоть пять минут, а? — попросил я.

— Вот чудак-человек! Если я замолчу, я, как овца, окоченею!

Мы принялись загонять в овчарню тех овец, что еще держались на ногах. Дрожь от холода, сбившись в кучу, животные толпились на месте, где прежде стоял стог сена, и опустив головы, что-то искали, разгребая снег, слизывая его.

Мы гнали их в овчарню, но обезумевшие от голода и вьюги животные не реагировали ни на окрики, ни на побои. Голод и безысходность лишили их покорности. Они не верили больше человеку. Страшно высвечивался в темноте голодный блеск множества глаз — боже, как эти глаза были похожи на человечьи!

Турсунбай бегал вокруг овец, бил их по мордам, пытаясь загнать в овчарню.

— Ах, чтоб вы сдохли, твари! — чуть не плача, кричал он.

— Подожди, не бей! Они еле на ногах держатся! — крикнул я. — Как бы завтра у них не было выкидышей!

Одна совершенно истощенная овца упала от удара посохом, забилась на снегу, широко раскрыв пасть, судорожно глотнула воздух и замерла.

Мы совсем выбились из сил. Немыслимо было перетаскать на плечах всю отару, а сами овцы в загон не шли. Надо что-то предпринимать! И тут меня осенило. Я заскочил в дом, схватил в сенях большое ведро, в котором мы таскали корм овцам, и заколотил в него, сопровождая этот грохот криками и понуканием. И побежал к овчарне. Словно невидимая сила согнала с места овец. Вся отара с отчаянным блеяньем ринулась за мною.

Они хватали зубами полы моего чапана, забежали передо мной и прыгали, пытаясь достать ведро; бежали к овчарне, давя друг друга. Слюна животных замерзала сосульками на моем чапане.

— Молодец, пионервожатый! — ликовал Турсунбай. — Я всегда говорил, что у тебя котелок варит!

— Когда зайдут все в овчарню, запирай двери! — крикнул я ему.

Обман удался. Я бросил ведро в дальний угол загона, и вся отара устремилась туда. Потом побежал назад, помогать Турсунбаю. Загнав оставшихся овец, мы заперли загон на крепкую палку. А с десятков слабых больных животных перенесли и положили в маленький загончик в углу овчарни. У меня кружилась голова, подташнивало. От душераздирающего блеянья овец хотелось плакать.

«Не расслабляться, Нурулла! Если ты не осилишь эти тяжкие дни, то и светлые, радостные дни будут не по плечу тебе, потому что не сможешь ты по-настоящему ценить их! Если сейчас спасовать, опустить руки

перед этим испытанием, тогда конец всему — твоей вере в справедливость, в самого себя. Да разве могут сравниться эти дни с муками войны, сотрясающими людские сердца!

Вспомни — твои дяди, Хикмат и Рахманкул, погибли на фронте, как и десятки их односельчан! Рахманкул прибавил себе два года — так он рвался защищать эту землю, каждая горсть которой дороже была для него горсти золота. И он защитил ее, отдал свою жизнь, любовь, будущее — тебе, Нурулла, чтобы ты берег эту землю и защищал ее — от холодов, от невзгод. Так неужели ты смалодушничаешь сейчас,пустишь прахом все, над чем бился Абдумалик, чему отдавал он всего себя? Кто же ты, Нурулла? Что ты за человек?»

— Бери лопату, Турсунбай! — крикнул я. — Будем овчарню чистить.

— Может, завтра почистим? — жалобно спросил он. — Зачем отару беспокоить в полночь.

— Лопату!! — заорал я, не узнавая своего голоса. — До завтра вся овчарня обледенеет!

Турсунбай вздрогнул от моего бешеного крика, испуганно бросился за лопатами. В эти минуты я по-настоящему понял Абдумалика, понял суть того, что называют ответственностью. Не подчинись сейчас Турсунбай — не знаю, что б я с ним сделал...

Он вынес из дома лопаты и, перемахнув через плетень, мы принялись ожесточенно работать — сгребать снег, смешанный с овечьим пометом, бросать его через ограду.

Не помню, сколько мы так работали — час, два... Только взмахи лопат, тяжелое дыхание и мерцание в глазах, разъедаемых потом.

Мы почти дочистили овчарню, когда перестала сыпать снежная крупа. Небо высветилось, показалась круглобокая ледяная луна, мороз окреп и соединил все вокруг хрустящими звуками крахмального снега. Измученная отара затихла. Оцепеневшие от голода и мороза овцы дремали, сгрудившись под навесом. Я оглянулся — измотанный Турсунбай спал, неловко съездившись в середине отары. Одна из овец билась в судорогах на земле. Так и есть — недоглядели. Я побежал к ней, крикнув на ходу:

— Вставай, Турсунбай! У овцы выкидыш!

Он вскочил, бормоча ругательства, сонно пяля на снег заплывшие от усталости глаза.

— Стыдно перед Абдумаликом, — проговорил я в сердцах. — Как мы завтра посмотрим ему в глаза? — На душе было тяжело...

Покряхтывая, Турсунбай растирал руками затекшие плечо и шею.

— Значит, она несколько дней на льду лежала, — сказал он, — сразу выкидыша не бывает, не кори себя... Отдохни, ты совсем спятил от всех этих дел.

— Завтра надо прокопать тропинку к роднику... — проговорил я, окидывая тоскливым взглядом всю отару.

— Ладно. Утро вечера мудренее. Давай отдохнем, говорю тебе. Сил больше нет.

Я приблизил фонарь к лицу Турсунбая. Грязь с его вспотевшего лба отслаивалась полосами. Над верхней губой ссохлась почерневшая пыль — ни дать ни взять — усы.

— Ты бы умылся. На твою физиономию смотреть тошно, — сказал я. — У самого черта случился бы разрыв сердца при взгляде на твою рожу.

Он устало улыбнулся.

— Бесштаный смеялся над заплатами... На себя посмотри. Ты похож на кота, которого собака трепала... Светает уже! Долго ты будешь измываться надо мной, пионервожатый? Или хочешь, чтоб мы свалились рядом с Абдумаликом? Иди спать! Я лягу здесь, в доме наверняка не теплее...

— Смотри, как бы тебя овечий див не сцапал, — пошутил я вяло.

Он побрел к отаре, протиснулся в середину, и не успел я выйти из овчарни, как он уже храпел вовсю.

Вьюга, наконец, утихла. Звенела хрупкая тишина, а может, то звенело в моих ушах, привыкших к непрерывному блеянию.

По снежному насту бежало холодное отражение луны.

В доме было холодно. Абдумалик метался, бредил, тулуп сполз с его плеч. Я накрыл его потеплее, затопил печь и прилег рядом с Абдумаликом. Страшная усталость не давала мне уснуть. За покрывшимся инеем окном, едва различима, плыла на восток луна, озаряя острые зубцы гор.

Я лежал, следил за скольжением луны и думал о том, что ожидает нас завтра...

В тот день, когда бригадир Эшбай покинул Мохидару, уводя на поводу гнедого коня сторожа Рахмата, до дома своего он так и не добрался.

В полночь гнедой заржал у ворот дома, который он отыскал бы на краю света. Рассерженный тем, что его разбудили, позевывая и почесывая спину, сторож Рахмат вышел во двор в белых кальсонах и чалане, наброшенном на плечи. Увидев своего коня — покрытого снегом, без всадника, — сторож оторопел. Он привязал гнедого под навесом, бросил ему сена и, одевшись, направился к дому бригадира, не переставая бормотать что-то и качать головой. Сердце его чуяло беду.

Несмотря на поздний час, окно спальни в доме Эшбая тихо светилось. Рахмат осторожно стукнул в окно согнутым пальцем, и тут же за шторой возник силуэт жены бригадира.

— Эшбай не вернулся еще, Бувниса? — спросил он, делая вид, что пришел за конем.

— Нет его до сих пор! — ответила женщина встревоженно. — Я уже волнуюсь, жду, не могу уснуть.

— Спи, куда он денется, — хмурясь, пробормотал Рахмат. — А мне конь понадобится, хотел завтра в поле выехать... Спи, спокойной ночи...

Выйдя со двора на улицу, он остановился, не зная, как быть дальше. Постоял так, подумал и направился к дому мастера Хаитбая — поднимать соседа, вместе решать, что делать. Тот молча выслушал встревоженного Рахмата.

— Утром выедем в Мохидару, — сказал Хаитбай. — Смотри, не проговорись жене Эшбая, что мы отправимся на розыски, не то в доме паника поднимется.

— Мой конь не в духе, — мрачно проговорил Рахмат. — Что-то стряслось, вот увидишь. Гнедой должен нас провести на место преступления.

— Преступления? — ошарашенно переспросил Хаитбай.

— А ты как думал? — тихо ответил сторож, устремив на него пронзительный взгляд.

Еще не рассвело, когда они отправились в путь. Рахмат опустил поводья, предоставляя коню самому искать дорогу, лишь временами натягивая их, как бы предупреждая: «Не сбейся с пути».

Вьюга лютая расходилась все пуще, неистовствова-

ла, залепляя снегом лошадиные морды. До ночи блуждали Рахмат с Хаитбаем, но ни бригадира не нашли, ни дороги в Мохидару. Только когда в полночь мелькнули вдалеке огоньки, им стало ясно, что они спустились в степь, и огоньки — это казахский аул. Лишь к полудню, измученные, они добрались кое-как до кишлака и, уже не скрывая, рассказали все жене бригадира.

— О-ой, горе мне, дом мой горит, дым глаза выел! — запричитала истошно Бувниса, раскачиваясь, как в похоронном плаче.

— Успокойтесь, не пугайте детей раньше времени, — мягко остановил ее Хаитбай, много повидавший на своем веку. — Завтра мы опять выедем на поиски...

На середине дороги Джуракул вынужден был остановить трактор — кровь текла из носа, не переставая. Он лег навзничь на сиденье, подтянул повыше колени... От усталости и потери крови кружилась голова, подташнивало. Он прикрыл глаза и минут через пять уснул, задремал в тяжелом забытьи. Вдруг — во сне ли, наяву ли — ему почудилось ржание. Он открыл глаза и прислушался, и тут же явственно услышал ржание, совсем близко. Приподнялся и в луче фар трактора увидел коня — тот бил копытом и ржал.

Натянув поглубже шапку, Джуракул открыл дверцу кабины. Он узнал коня бригадира Эшбая. Конь крутил головой и явно звал куда-то. Когда Джуракул приблизился, он заржал и трусцой направился в сторону ручья, поминутно оглядываясь, как бы проверяя, идет ли следом Джуракул.

После строительства газопровода Бухара—Казахстан—Урал в горах осталось множество глубоких рытвин. Зимой, заваленные снегом и потому скрытые от глаз, они представляли для людей изрядную опасность. Не доходя до одной из таких ям, Джуракул услышал слабые стоны. Он подбежал и наклонился: на дне ямы, почти погребенный под снегом, лежал и стонал, временами теряя сознание, бригадир Эшбай. Похоже было на то, что конь споткнулся и упал, а хозяин вылетел из седла и, угодив прямоиком в яму, сильно покалечился. Джуракул проворно спустился вниз, наклонился над бригадиром, вглядываясь в обмороженное лицо.

— Эшбай-ака, вы слышите меня?

— Помоги... — простонал тихо бригадир, открывая воспаленные глаза, — Кто... ты?..

— Я Джуракул, Эшбай-ака. — Парень обхватил тяжелого бригадира и приподнял его. — Вы что, не узнали меня?

Бригадир сморщился и застонал громче.

— Ноги... Обе ноги, похоже... переломал. Тащи меня, сынок... Как-нибудь... Буду стонать — не обращай внимания... — и он снова потерял сознание.

Джуракул, схватив пригоршню снега, сильно растер лицо и руки бригадира и, с трудом взвалив на спину грузного Эшбая, доволол его до трактора и уложил в кабине на сиденье. Парень действовал быстро, его лихорадило, он понимал — во что бы то ни стало надо скорее доставить бригадира в кишлак...

Минут через десять Эшбай пришел в сознание, сначала не мог понять, где он и что с ним, потом, ощутив уже привычную боль в перебитых ногах, проговорил, с трудом разлепляя почерневшие губы:

— Спасибо тебе, парень. Если бы не ты... Как это меня угораздило попасть в эту яму? Не знаю, который день так лежу... Думал, конец мне... Выходит, еще живу... — Он перевел дыхание. — У Абдумалика тяжелое положение... Отара погибает. Сено подвезти надо... в первую очередь...

Конь бригадира бежал рядом с трактором, не отрывая взгляда от кабины. На рассвете они добрались до кишлака.

— Смотри же... сено... Абдумалику, срочно...—выдавил Эшбай-ака и уже на носилках потерял сознание.

А голодный, с распухшим носом Джуракул отправился в контору совхоза, мысленно кляня себя последними словами и думая только о том, чтобы обошлось все у этого забияки Абдумалика, только бы обошлось...

VI

К утру Абдумалик пришел в себя. Хотел подняться, но перед глазами поплыли круги, в комнате потемнело... Стоило заговорить, как в затылке возникла острая пульсирующая боль.

Абдумалик отпил глоток воды из пиалы и откинулся на подушку. Когда мы зашли в дом, он лежал на боку, лицом к печке, видимо, хотел погреть рану.

— О сене слышно что-нибудь? — слабо спросил он, не поднимаясь.

— Нет... — ответил я.

— Не грей голову, еще сильнее разболится, — заметил Турсунбай, ставя на печь кумган.

— Ловко он меня... — пробормотал Абдумалик, пытаясь улыбнуться. — Мало мне, дураку... Еще бы надо...

— Ну... сначала ты его треснул, — я пожал плечами, не зная, что еще сказать.

Он повернулся на другой бок, слегка застонав, и проговорил морщась:

— Стыд какой... Люди узнают... Позор.

Я промолчал. Турсунбай искоса взглянул на нас и вышел в сени, за дровами. Вдруг там что-то загремело, вероятно, он выронил дрова, и через секунду раздался его крик:

— Эй, слышите? Оглохли вы, что ли?! Трактор! Это сено привезли, правда, сено, ур-ра-а-а!!!

Я бросился из дома, не веря уже ничему, а он вылетел следом, крича:

— Сено, говорю тебе, сено! Ур-ра-а!

Снизу к овчарне поднимался трактор с двумя прицепами, доверху полными сеном. У меня перехватило горло. Я оглянулся — Турсунбай ревел в голос, как ребенок.

Трактор приближался, мы разглядели уже тракториста в кабине и рядом с ним — дядю Гаффара, сторожа совхозных полей — известного говоруна и балагура.

Мы даже поздороваться не успели, стали сразу же охапками разбрасывать сено нашим истстрадавшимся животным. Ну и суматоха тут началась! Мы с Турсунбаем выкрикивали какие-то глупости, гоготали, стараясь перекричать блеянье овец. Вообще этот день я считаю самым счастливым в своей жизни. Надеюсь, будут и другие счастливые дни. А тогда мне на радостях самому хотелось сено жевать.

Дядя Гаффар вел себя как заговорщик. Перед отъездом тракториста он отвел того в сторону, вручил деньги и говорил что-то долго, с таинственным видом, до тех пор, пока, досадливо поморщившись, парень вскопчил в кабину трактора.

— Ладно, завтра вечером, — крикнул он. — Когда корм привезу.

Дядя Гаффар проводил ревнивым взглядом удаляющийся трактор и только тогда подошел ко мне и стал осторожно объяснять цель своего приезда.

— Браток, — начал он, — такое дело, понимаешь... Дома соломинки не осталось. Дойную корову с телятком приходит хлеб кормить...

— Ну? — я еще не понимал, куда он клонит.

— Разреши, браток, привезти сюда моих четырех овец... А я здесь останусь до самой весны, помогу вам, и зарплаты никакой не надо...

Он просил преувеличенно жалобно, мне даже смешно стало. Но я сделал вид, что прикидываю и взвешиваю, и наконец вздохнул:

— Ладно, дядя Гаффар... Для отары пять-шесть овец — небольшая обуза. А вот то, что вы остались, — это для нас очень дорого. Теперь, вчетвером, полегче будет с делами управляться.

Сено забросили в дощатую пристройку без крыши и впервые за эти десять дней сели спокойно обедать. Даже Абдумалик поднялся, хоть и морщился от боли и тяжести в голове. Мы были счастливы, счастливы от того, что есть сено, а завтра ожидается подвоз кормов, счастливы, что появился среди нас четвертый — неунывающий дядя Гаффар. О том, что отец в это время лежит в районной больнице с переломом обеих ног, мы не знали, — мама просила дядю Гаффара не рассказывать о несчастье, не расстраивать нас, сердцем чуяла, что и без того нам тяжело здесь, в бескрайних снегах Мохидары...

После обеда мы вышли осмотреть отару. Овцы бродили вокруг, подбирали остатки разбросанного сена, несколько коз взобрались на пристройку и, потряхивая бородами, выхватывали оттуда и жевали сено. Чтобы согнать с пристройки нарушительниц, Турсунбай закричал и швырнул в них посох. Но козы продолжали невозмутимо лакомиться сеном. Пришлось Турсунбаю самому взбираться туда и скидывать вниз наглых животных.

В загоне дела обстояли не лучшим образом. Три овцы погибли на наших глазах — они бились в конвульсиях и взглядом молили о спасении. Турсунбай опрометью бросился в дом за ножом и, вернувшись в загон, прирезал бедных мучениц. Это преследовало нас вчерашнее несчастье — голод и иступление животных,

несколько дней кряду лижущих глину, грызущих все подряд.

Турсунбай освеживал туши, но мы уже знали по опыту, что мясо погибших овец будет невозможно есть — все тот же навязчивый вкус глины отравит пищу. Пришлось нам по пояс в снегу пробираться к ручью — выбрасывать туши на прокорм серым хищникам.

Эту дорогу в снежных барханах мы называли «канавой смерти». Муторно становилось на душе при виде освеженных туш погибших овец — глаза привыкли, а душа болела, шутка ли, за последнюю неделю погибло около пятидесяти овец.

Джандарлисайские волки, бродившие целыми стаями, среди бела дня наведывались к ручью и утаскивали туши. Волков иногда приходило до двадцати, и тогда наши псы поджимали хвосты и скулили.

— Опять за добычей явились, — негромко сообщил Турсунбай, на всякий случай сжимая покрепче ружье. И хорохорился передо мною: — А что, Нурулла, не отправить ли тебя по комсомольской путевке старшим чабаном в волчью стаю? — И добавил потише: — Лучше Абдумалика отправить, он у нас самый грамотный в политическом отношении, он их вмиг перевоспитает... — Оглядывался — не слышит ли брат — и плутовато ухмылялся.

При виде волков сердце сжималось от тревоги и страха. Ясно было, что, не найди они ничего серьезного у ручья, могут и на нас пойти. За несколько дней хищники стали полными хозяевами того места, куда мы сбрасывали овечьи туши.

С утра Абдумалик, все еще слабый, но уже деятельный и неугомонный, засыпал в ясли, сделанные из резиновых шин, соль и велел нам расчищать в снегу проход к роднику Сарыбулак.

Мы принялись за работу. Дядя Гаффар, веселый, разговорчивый, тоже вертелся с лопатой в руках, но больше развлекал нас поучительными историями, мало смахивающими на правду, или давал советы. Меня это забавляло, а Турсунбай злился. Чувствовалось, что дядя Гаффар раздражал его.

— Вы бы эти советы припасли для своего оболтуса Нарбая! — высказался наконец Турсунбай.

Дядя Гаффар слегка оторопел, но и не подумал сдавать позиции.

— Ты, парень, с какой стати лезешь в беседу взрослых? Я тебе в отцы гожусь!

— Не годитесь! — отрезал Турсунбай, продолжая орудовать лопатой. — Я червонец готов вам заплатить, только чтобы вы помолчали. Пожалейте наши уши.

— Отвратительным характером ты мне напоминаешь своего покойного отца, да будет земля ему прахом! — в сердцах воскликнул обескураженный дядя Гаффар. — Тот же нор, та же бесцеремонность! Я советую, болван, как лучше дела делать!

— Спасибо за советы. Если бы еще вы трепались поменьше, — не отставал Турсунбай.

— Умение вести беседу — украшение умного, братец! Бог дал нам язык, чтобы разговаривать... — Похоже, эти двое не уступали друг другу в болтовне.

Я тихонько усмехался, молча слушая их перебранку.

— Ошибаетесь, бог болтовню прощает. У болтливового три слова — ложь, одно — правда.

— Ну и что? Весь мир из обмана. На свете существует такая чудовищная ложь, что по сравнению с ней мои байки — молитва ангела.

— Посмотрите на этого ангела! С вами говорить невозможно!

— Вот и молчи, не петушись!..

За перебранкой не заметили, как расчистили проход к роднику, принялись таскать воду в ведрах и флягах. Нализавшиеся соли, овцы с удовольствием потягивали воду из резиновых яслей. Да и мы впервые за последние пятнадцать дней вымылись вволю, вдоволь напились. К вечеру тракторист, приятель дяди Гаффара, привез корм. В прицепе толкались овцы, их оказалось восемь.

— Мои красавицы, — любясь, пробормотал дядя Гаффар. Отделив четырех овцематок, которые вот-вот должны окотиться, он загнал их в овчарню, дал сена. Мы с Турсунбаем в это время чистили загон. — Ради бога, ребята, не говорите ничего Абдумалику, — попросил дядя Гаффар, воровато оглядываясь на двери овчарни. — Сами знаете, этот коммунист из-за государственного добра может человека убить.

Турсунбай подмигнул мне и сказал сурово:

— Да, наш брат не любит расхитителей государственного имущества.

— Ну, посудите сами, братцы... разве прокормишь семью на совхозную зарплату! Какая это зарплата? Это

суюнчи*.—Дядя Гаффар выгнал наевшихся овец из загона, похлопывая их по спинам. — Я существую за счет этих вот овец, братцы... А семья, как говаривала моя покойная матушка, что пещера: сколько ни притащишь в нее, все не заполнишь.

VII

В следующие три дня снега не было, но мороз держался, и тот, первый снег, толстым слоем укрывший мерзлую землю, не таял...

Вечером, сам управляя трактором, приехал друг Абдумалика, секретарь совхозной комсомольской организации Ташпулат Ахмедов. Мы все обрадовались.

— Все! Сегодня остаешься у нас, — обнимая его, сказал Абдумалик. — Затопим печку еловыми дровами, кизяком, состряпаем что-нибудь...

— Но я еще должен проведать отару Мавлана, — сказал Ташпулат, доставая из сумки пачку писем и передавая их Абдумалику. — Да! В совхоз приезжали преподаватели института. Оказывается, у тебя много задолжностей. Тебе бы надо съездить.

— Что ты, пока не пройдет период окота, я и шагу не смогу отсюда сделать.

Абдумалик с плохо скрываемым нетерпением просматривал пачку писем, вылавливая конверты, надписанные явно девичьей рукой — аккуратным убористым почерком.

— Ну ладно, если и впрямь сегодня оставаться, то надо съездить к отаре Мавлана. — Ташпулат направился к трактору. — Наговоримся сегодня от души. Хоть надышусь запахом еловых дров...

Абдумалик, отойдя в сторону, вскрывал письма одно за другим и жадно читал их, смущенно и радостно улыбаясь. Кажется, он не замечал сейчас ничего вокруг. Как я завидовал ему!

— Из Ташкента письма? — ухмыляясь, спросил Турсунбай. — От невестушки?

— Чего скалишься? — Абдумалик не в силах был прятать улыбку.

— Это я от нетерпения, — мгновенно ответил Тур-

* Суюнчи — подарок за радостную весть.

сунбай, который за словом в карман не лез. — Скорей бы сыграть твою свадьбу, тогда бы и я женился.

Абдумалик покраснел от удовольствия, хлопнул пачкой писем Турсунбая по лбу:

— Кто за тебя пойдет, оболтус!

— В крайнем случае у тебя отобью! — невозмутимо отвечал тот.

По-моему, нет на свете прекраснее ощущения, чем то, когда ты твердо знаешь: где-то далеко есть человек, который тебя беспредельно любит, тоскует и ждет писем. Я так мечтаю написать письмо Сабо, я мысленно пишу десятки этих писем — нежных и пылких, откровенных до предела и вдумчивых. Но в действительности... Я просто боюсь, что не получу ответа. Тогда не знаю, доживу ли я до весны. А весной... весной я снова приеду, привезу ей охапку горных цветов и скажу: «Здравствуй, Сабо! Я приехал...»

...В сенях, распространяя дурманящий аромат, горела арчовая ветка. На печи кипела шурпа. Турсунбай, задумавший жарить шашлык в тандыре, кропотливо нанизывал кусочки мяса на арчовые прутья.

— Эй, писатель, — позвал он меня, — занеси в свою потрепанную тетрадь: Турсунбай впервые в жизни готовит тандыр-кебаб. В будущем напишешь воспоминания, хе-хе...

— Обязательно напишу, смотри только, как бы он не пригорел...

За последние дни Турсунбай преобразился, и я видел, как радуется этому Абдумалик, хотя внешне и относится к брату с прежней насмешливостью. Они по-прежнему поддевали друг друга шутками, подчас довольно колкими, но все чаще замечал я теплоту во взгляде Турсунбая и заботливость в каждом движении Абдумалика.

До поздней ночи мы работали — хлопот с отарой не счесть. Когда вернулся Ташпулат и мы собрались в доме все вместе, было уже очень поздно. Мы ели тандыр-кебаб, приготовленный Турсунбаем, и похваливали его. И вправду — шашлык удался на славу!

— Ну, Турсунбай, считай, что ты остался в истории! — похлопав его по плечу, сказал я.

Потом, отяжелевший от сытной еды, я лежал на овчине и молчал, прислушиваясь к разговору Абдумалика и Ташпулата. Турсунбай и дядя Гаффар играли в карты, то и дело перебрасываясь едкими замечаниями.

Меня же очень заинтересовало то, о чем говорили два друга.

— Но ведь люди рождены, чтобы понимать друг друга, — говорил Абдумалик. — В одной книге я прочел, что в главных своих чувствах люди одинаковы. Значит, каждый должен понять другого. В главном. Разве не так? Но сплошь и рядом я натываюсь на стену непонимания очевидных вещей. Скажи на милость, что ты представляешь под словами «хороший человек»?

Ташпулат ответил не сразу. Он сидел, обхватив руками свои худые долговязые ноги, поднятые чуть не к подбородку, и щурился на огонь в печке.

— По-моему, хороший человек тот, кто желает людям добра, кто радуется чужому счастью и сочувствует чужому горю, — наконец ответил он.

— Верно, но слишком общо, по-моему. Кроме того, невозможно делать добро всем, без разбору, люди — разные, иным и плетка не помешает. Мне кажется, хороший человек — это в первую очередь человек прямой, правдивый во всем. Правдивый не только в словах, в поступках, но... как бы это сказать... в самом образе жизни.

— Что-то туманно...

— Я объясню. По-моему, самая великая, самая древняя правда на земле — это труд крестьянина, который пашет, сеет и собирает урожай.

— Это так, конечно, но времена-то сейчас другие, — возразил Ташпулат. — Прикажешь всем землю пахать? А кто у тебя в институте задолженность принимать будет?

— Не передергивай! — разгорячился Абдумалик. — Я не настолько прямолинеен. И имел в виду другое. Я хотел сказать, что за последние годы у нас развелось много личностей, которые вроде бы живут по нормам закона — не воруют, не совершают откровенного зла, но и не приносят никакой пользы. Абсолютно равнодушные люди....

— Да, и, как правило, мы относимся к ним с симпатией. Думаем: «Вот человек — скромный, не выскочка, не горлопан».

— Вот именно! — воскликнул Абдумалик. Он поднялся, принялся ворошить кочергой дрова в печке. По лицу его заплескали отблески огня. Какое прекрасное, вдохновенное лицо, подумал я, не в силах отвести от него взгляд. — А они живут, паразиты, общественный балласт, по принципу «мое дело — сторона» и «после

нас хоть потоп». А теперь представь себе такого человека на ответственном посту, где необходимо принимать важные решения каждый день, каждый час. Решать судьбы людские...

— А чего там представлять... — неохотно проговорил Ташпулат, хмурясь. — Все и так перед глазами... Новый директор всех выслушивает, но не принял еще ни одного важного решения. Целыми днями совещается с Нарзиевым и главным зоотехником... Все зло в том, что такие люди ждут не дождутся, когда сломают шею те, кто осмеливается мыслить, решать, вкладывать в свое дело всю душу и рисковать. И вот тогда — они торжествуют. И наказывают виновного. Или выражают искреннее соболезнование. Балласт общества, ты сказал? Не-ет... Это не только балласт, это коррозия, разъедающая нас...

Они замолчали, думая, по-видимому, об одном и том же. Потом заговорил опять Абдумалик — негромко, серьезно:

— А очковтирательство, развращающее людей? Восхваления и раздача наград там, где нужно судить за обман народа? Откуда берутся эти гигантские цифры в отчетах о собранном хлопке, когда специалисты утверждают, что за один сезон хлопкоуборочная машина «Узбекистан» может собрать самое большее — пятьсот-шестьсот тонн хлопка? Или взять хотя бы метод искусственного осеменения с применением препарата СЖК... Все знают, что этот метод испортил наследственность овец Средней Азии, качество всемирно известного бухарского каракуля. Но кто наберется смелости сказать всю правду там, где положено, когда ошибка уже ограждена заслоном грамот, медалей, газетных статей и даже звездочкой! Вот и превращается ошибка в ложь. Притом в ложь торжествующую...

— Как же ты полагаешь бороться с этим? — спросил Ташпулат, пристально глядя на друга.

— Правдой. Везде идти напролом и говорить только правду. А она всегда побеждает, рано или поздно. И ее услышат и поймут. Бороться надо — с ложью, с очковтирательством, и не давать никакого послабления равнодушным... Знаешь, я здесь, в Мохидаре, чувствую себя, как на передовой... Мне кажется, только так и надо жить — всю жизнь чувствуя себя на передовой. И оружие в наших руках только одно — труд и правда!

Потрескивали в печке еловые дрова, Турсунбай уже спал, прикорнув на овчине, а я все лежал и мысленно перебирал в уме все слова, услышанные сегодня. Беседа двух друзей встряхнула меня, перевернула душу. Я впервые задумался над тем, что называют смыслом жизни, и понял, что многого еще не знаю, не понимаю, о многом сужу поверхностно, по-детски. И главное, понял, сколько мне еще надо передумать и перечесть, чтобы разобраться в людях, в себе, в окружающей жизни...

VIII

Наконец, мороз переломился и начал слабеть. Каждый день к полудню из-за туч проблескивало солнце и исчезало опять. Ели отряхивали от снега ветви. К овчарне стали слетаться птицы в поисках пищи. Они выстраивались на выступе плоской глиняной крыши овчарни и высматривали крошки. Нужда пригнала к людям этих неунывающих птах...

К концу недели в Мохидару приехал Нарзиев. Вылез из трактора, поздоровался со всеми одним холодным кивком. И без лишних слов, вытащив блокнот, спросил Абдумалика:

— Сколько пало овец?

От заданного вдруг вопроса Абдумалик насупился, ответил не сразу.

— Около ста пятидесяти, и еще падут... — ответил он.

— Как это понять — «еще падут»? — Нарзиев опустил блокнот, уставился на Абдумалика с откровенной неприязнью. — Мы подвезли вам сено, корма... У вас и без того большие потери.

— Корм и сено запоздали, — сдержанно ответил Абдумалик. — Овцы с голодухи глину лизали, ослабли, много больных... Положение в отаре тяжелое.

— Ну, а за что ты избил Джуракула? — вдруг спросил Нарзиев.

Абдумалик смешался, не зная, что ответить, потом взглянул исподлобья:

— Пустяки. Подрались — помирился. Сами разберемся...

— Нет уж, голубчик, слишком ты обнаглел. Ты дерешься, а мне за тебя в райкоме отвечать?

— Я за себя сам отвечу! — упрямо возразил Абдумалик.

— Да уж, ответить придется. Думаешь, за мордобой тебя в партию примут? Опозорил всю совхозную парторганизацию.

— Не знаю, что позорнее: драться по делу или лакействовать и унижаться перед директором. Беспокоитесь о собственном авторитете? — Абдумалик резко повернулся и зашагал прочь, к овчарне.

— Что? Что ты сказал, наглец? — запоздало выкрикнул тенорком Нарзиев. Ему никто не ответил. Он оглянулся на нас — суетливо, не зная, что сказать и куда себя деть. Потом, видимо, вспомнив о цели своего приезда, велел Турсунбаю: — Приведите все в порядок, завтра директор будет объезжать овчарни! — он потоптался, словно соображая, что еще сказать, и добавил: — Может, будут из района люди... Настало время поговорить с этим грубияном! — И, не прощаясь с нами, он торопливо пошел к трактору.

Его последние слова встревожили нас. Турсунбай сбежал, передал их Абдумалику.

— Пусть приезжают, кто угодно! Вот жаль — оркестр выставить не смогу, — нервно бросил он, провожая тяжелым взглядом удаляющийся трактор. — Представляешь, как бы облегчил работу на ферме этот совхозный трактор, который гоняют взад-вперед для пустых разъездов!

— Зря ты так, Абдумалик, — вмешался дядя Гаффар. Весь разговор с Нарзиевым он слушал, испуганно и почтительно вытаращив глаза, а теперь, видно, решил высказать свое мнение. — Ведь, как-никак он парторг совхоза... Звание высокое!

— Звание-то есть, — мрачно согласился Абдумалик, — да человека-то при нем нет. Нет, верно говорят люди: лучше получать тумаки от честного, чем угощение от подлеца.

— Разные поговорки существуют, парень. Еще люди говорят: по одежке протягивай ножки. Ты простой чабан, а он...

— А ему надо дать работу, с которой он справился бы: например, должность мираба или что-нибудь в этом роде, — резко ответил Абдумалик. — Может, тогда от него была бы какая-то польза.

— Ишь, разошелся! — пробормотал удивленный дядя Гаффар. — Решает судьбы, как секретарь райкома. Кто скажет, что это — рядовой чабан?

— Ахунбабаев в юности был простым кетменши-

ком, — возразил запальчиво Абдумалик. — По-вашему, если я чабан, то мне надо рот кляпом заткнуть, и, не смотря на то, что знаю положение дел в своей отаре лучше, чем Нарзиев, должен слепо выполнять его идиотские приказы? Так, что ли?

— Он начальник, вот он и приказывает.

— Пусть приказывает своей тетке.

— Э-э, парень, все-таки не мешало бы тебе поосторожней быть... — покачал головой дядя Гаффар.

— Поосторожней? Нет, это не для меня... Осторожность ходит рука об руку с трусостью. Вот вы осторожничаєте, Гаффар-ака, живете тихо-мирно, и думаете, что большую пользу приносите совхозу, если сторожите поле. День-деньской гоняться за мальчишками на беременной кобыле, отбирать у них сжатую траву — ничего не скажешь, серьезное занятие для не старого еще мужчины! Зато у вас все тихо-мирно...

— Ну, знаешь, и сторожем кто-то должен быть! — возразил задетый за живое дядя Гаффар. — А я двадцать лет скот пас, между прочим...

— Ну и что? — Абдумалик уже распалился, его невозможно было остановить, пожалуй, он не замечал сейчас, что обижает человека. — Вот взять Марданкула-бобо, — он в Отечественную первым из кишлака на фронт ушел, добровольцем. Вернулся весь израненный, инвалид. А как работал! Сейчас ему уже за семьдесят, пенсию получает хорошую. Казалось бы, сиди спокойно дома, газетки почитывай да ноги грей в сандале*. Но этот человек не может жить, не принося пользы. Поля сторожит...

По лицу дяди Гаффара было заметно, что слова Абдумалика больно его задели. Он казался озадаченным, огорченным.

— Ну, если Нарзиев не нашелся, что тебе ответить, так где уж нам, братец... — Он стоял, опершись на лопату, пристально, с прищуром глядел на Абдумалика. — Только дай тебе бог одиннадцать детей, как у меня, тогда посмотрим, что ты запоешь. Детей лозунгами и призывами не накормишь. И на одном хлебе они сидеть не станут, не те времена. Вот и будешь вертеться да соображать, как их всех накормить, одеть, обусть...

* Санда́л — низкий столик над углублением в земле с горящими углями, накрытый одеялами, — служит для согрева зимой.

— Вы меня не так поняли, Гаффар-ака. Я совсем не то хотел сказать... — попытался объяснить Абдумалик, но дядя Гаффар обиделся всерьез.

— Как живу, так живу, дорогой мой. И не тебе меня критиковать, да и толку с этого не будет. Ты, правдолюб, давай, наставляй на путь истинный людей вроде Нарзиева. А я уже шестой десяток разменял, и жизнь прожил честную. Званий высоких не имел, но и проклятий ничьих не заработал.

Голос дяди Гаффара пресекался, и он отвернулся. Когда я увидел, как, наклонившись, он быстро утер глаза рукавом чапана, мне стало не по себе. Да и Абдумалик расстроился.

— Простите меня, дядя Гаффар, я погорячился, — смущенно проговорил он. — И не хотел вас обидеть. Вы правы — мир держится на простых и добрых людях, вроде вас...

— Да что — мы... Мы свое отскакали, теперь в больших скачках жизни участвуете вы, молодые... Только, если хочешь к финишу прийти не последним, знай: как бы ты ни был ловок, как бы ни был горяч твой конь — без поддержки друзей тебе не достичь цели. Много на твоём пути будет тех, кто захочет преградить дорогу твоему коню — ты нетерпелив, энергичен и не любишь унижаться. За это тебя многие невзлюбят. Не будешь осторожным — далеко не уедешь, сломают тебе хребет.

Дядя Гаффар говорил искренне, какая-то горечь была в его словах, словно он знал о судьбе Абдумалика такое, чего никто не знал. Удивительные это были слова. Будто произносил их не дядя Гаффар, безропотно выполняющий любое приказание начальства, а мужественный и сильный, умудренный жизнью боец...

Абдумалик, оставив лопату, внимательно слушал дядю Гаффара. А Турсунбай улыбался втихомолку, он был доволен, что прочили его задиристого брата.

— Бывает, живешь, живешь... Целую жизнь проживешь, а многого так и не поймешь... Я не семи пядей во лбу, но чужого хлеба не ел и чужую жизнь не заедал. Что только ни сваливалось на мою головушку! Всякое от людей повидал — и хорошее, и плохое... Всюду, где нарождалась или уходила жизнь, по мере своих сил старался делать добро... Так вот, скажу тебе — все горести и все удовольствия жизни не стоят одного настоящего друга. А друга надо беречь. Погоди

ему за ошибку глаза колоть своею правдой. Правда — она всякая, она кругом рассыпана, пополам с жизнью. И ты ее всю жизнь по крупинке собирай.

Молча сгребая лопатами снег, мы с Турсунбаем прислушивались к словам дяди Гаффара. Когда Абдумалик направился к дому, за вилами, дядя Гаффар пробормотал самому себе:

— Ребенок еще, настоящей беды не видел. Однажды расшибет голову о стену, тогда глаза откроются... Но молодец, цельный парень. Слова-то какие говорит — веские, настоящие... — Он вздохнул и совсем тихо добавил: — Не отказался бы я от такого сына...

Под вечер опять повалил снег и унялся лишь на другой день, к обеду. Мороз, уже слабевший, вновь окреп, с северо-востока задул тугой резкий ветер, не позволявший вывести овец из загона.

За последние дни овцы погибали реже, но из-за холодов у овцематок часто случались выкидыши. Никто, кроме Абдумалика, не знал настоящего числа павших овец и ягнят.

Почти три месяца длились эти холодные дни, до отказа забитые тревогами и заботами. С самого детства я не помнил таких холодов, таких глубоких и долгих снегов, не знал такого изнурительного труда. Мы были совершенно оторваны от жизни совхоза. Обыкновенная домашняя жизнь — в своем доме, с близкими, с часами, предназначенными для чтения книг — представлялась несбыточной мечтой. Но нам не казался подвигом этот тяжелый, выматывающий все силы труд. Это был наш долг, наша жизнь, наша трудная радость.

...В начале марта уставшая отара уже бродила вокруг овчарни, пощипывая показавшиеся из-под снега веточки полыни. И как раз в эти дни началось время тревог и забот, время, которое все мы ждали со страхом и нетерпением. Ослабленные, с воспаленными от мороза легкими, едва державшиеся на ногах овцы начали ягниться одна за другой.

В первый же день мы приняли сразу десять ягнят. Сначала принесла белоснежного ягненка пятнистая овцематка с глазами страдальцы. Как мы радовались!

— Белый ягненок, да еще первый — хорошая примета, — говорил дядя Гаффар, очищая мордочку но-

ворожденного от слизи. — Теперь нам повезет, вот увидите!

Хлопот у нас, как говорится, был полон рот. Мы брали новорожденных ягнят в дом, отогревали, откармливали сливочным маслом и несли к овцематкам. Дядя Гаффар, мастер этого дела, расцвел — он чувствовал себя необходимым, и даже более того — незаменимым. Ягнята не сразу вставали на ноги. Иные овцы, у которых забирали ягнят до того, как мать облизывала своего детеныша, не подпускали их к себе. Таких во время кормления приходилось держать, а иных и связывать. Так мы заставили кормить тех овец, у которых погибли ягнята.

Целыми днями в овчарне не умолкало бляенье голодных ягнят, не насыщающихся молоком своих тощих матерей.

Овцы ягнились круглосуточно. Ночами мы дежурили по двое, держа овец под неусыпным наблюдением, ели наспех, на ходу, что придется...

Шли дни, ягнята подросли и резво прыгали по загону. Мы бегали, играли с ними, забавными, милыми. В эти мгновения казалось — нет ближе этих невинных существ. Мы были связаны с ними древними святыми узами. В иные минуты я не мог себе представить, что настанет день — и я оставлю их и вернусь в кишлак.

IX

И только в начале апреля дрогнула зима, поползли, стали таять снега на склонах. Появились черные проплешины на скалах, забурлили переполненные ручьи, раздавшись в берегах.

Впервые в жизни в полной мере, с утра и до утра, наблюдал я приход весны, и душу переполняли восторг и удивление перед этой неповторимой красотой. Душа жаждала высказаться, поделиться чувствами с другим человеком. А Сабо была так далеко...

Несмотря на значительные потери в течение зимы, костяк отары сохранился, и овцы продолжали ягниться. По подсчетам Абдумалика, потери отары были меньше среднего числа потерь совхоза. Правда, многие овцы страдали воспалением легких. Их следовало откормить и сдать на мясо — от таких уже нельзя ждать здорового приплода.

Абдумалик мучался своей виной, не мог простить себе этой зимы, ее потерь, метался в страшном беспокойстве, вставал в полночь и шел проведать отару. Его беспокойство передавалось и мне, и у меня пропадал сон. Я поднимался и плелся за ним, волоча за собою посох.

Каждый день мы встречали рассвет на холмах Джийдали. За далекими зубцами гор занималась пламенная заря, и вместе с нею — наши надежды. Поднималось величавое мать-солнце, нежно и грозно прикасаясь огненными лучами к вершинам и склонам гор, окрашивая их в алые горячие тона жизни и любви.

Я глядел исподтишка на лицо Абдумалика и видел, как менялось с зарею это лицо, каким волнением блестяли глаза, с какой одухотворенной надеждой смотрел он вдаль, на зоревые вершины.

В такие минуты он пел во весь голос странную и прекрасную песнь. В ней не было слов, но каждый звук передавал любовь к родным горам Ойкора, к ручью Каттасай, дарящему жизнь окрестным кишлакам, к пастбищам Заркамара, где пасутся тучные стада, к белоснежным хлопковым полям и к первым вестникам весны — подснежникам, фиалкам, василькам. И звуки этой песни мешались с запахом кизячного дыма, поднимающегося над кишлаком, с мирным блеянием совхозного стада, бредущего к горам, со звонкими криками мальчика-пастушка, погоняющего скот... Это была песнь о великой непрерывности жизни, о ее красоте и тревогах. Ее пели наши предки и будут петь потомки, на ней держится мир, потому что эта песнь — о любви и труде... И я учился этой песне, чтобы потом передать ее дальше — людям, я учился у гор, у солнца, дарящего жизнь, у матери-природы, у Абдумалика и бессонных рассветов...

А заря разгоралась все ярче, все ослепительней переливались в ее лучах вечные снега Ойкора, и самая высокая вершина венчалась, наконец, солнечным диском.

— Кто встает с рассветом, тот не опоздает жить! — волнуясь говорил Абдумалик, глядя на вершины гор. — Чтобы жить в полную силу, надо уметь любить. Надо жить любовью и трудом.

Я втайне записал его слова в свою истрепанную записную книжку, куда обычно записывал полюбившиеся мне стихи и песни. «Пригодится, когда буду писать о

нем, — подумал я и мысленно добавил: — И чтобы уж писать — надо уметь любить».

Да, я учился песне Абдумалика, песне, в которой была правда, сила и любовь. Он стоял рядом со мной, этот человек, просто и искренне верящий в справедливость, борьбу и счастье, и я верил в него, как верил в рассвет над вершинами гор...

Хлопоты изнурительной окотной кампании подходили к концу. В воскресенье к нам приехал Синдар Санакулов, секретарь рабочего комитета совхоза, и вручил транзистор «Вега».

— Награда за высокие показатели в окотной кампании! — Он белозубо улыбнулся и похлопал Абдумалика по плечу: — Старайтесь, братцы. Машина за нами!

— Какие уж там награды, — смутился Абдумалик. — Вы же знаете наши зимние потери, Синдар-ака...

— Зима была особенная, мы это учитываем. — Синдар помедлил, потом сказал добродушно: — В райкоме интересовались теми, у кого кончается кандидатский срок. Ты ведь кандидат, я не ошибаюсь?

Абдумалик нахмурился.

— Как же я в такой ситуации подам заявление? Тут хоть бы из кандидатов не выгнали...

— Ничего, беда была на всех одна, повторяю тебе. Думаешь, в поселках и городах эта зима не натворила бед? Ты подавай заявление, а там видно будет...

— Нет, — покачал головой Абдумалик, и у рта обозначились жесткие складки. — Не хочу вступать в партию полупреступником. Слишком болезненный для меня вопрос, Синдар-ака. Вот кончится окот, тогда и обсудим это дело спокойно.

— В райкоме не станут ждать, когда мы с тобой обсудим. Они там все решают сами — так или этак, — серьезно проговорил Синдар.

Он пообедал с нами и уехал в другую отару — награждать чабанов. Мы с Абдумаликом стояли вдвоем на гребне горы. Турсунбай присматривал за овцами, пасущимися в низине. Дядя Гаффар на ослике ехал к овчарне, держа под мышками по ягненку и вложив в каждую сумку хурджуна еще по паре ягнят. Овцы бежали за ним следом и блеяли, а дядя Гаффар подгонял осла и говорил что-то овцам с вразумляющим выражением лица.

День был ясный, прозрачный. Белопенные облака, неподвижно парящие в высоком небе, плавилась и таяли в солнечном сиянии. Четко просматривались дали, и видно было, как на полях, у подножья гор, копошились тракторы. Громко пел жаворонок, радуясь весеннему теплу. Ближе к вечеру подул резкий порывистый ветер — прощальный привет ушедшей зимы, но весна, покрывая зеленым нарядом предгорья, уже властвовала над вспаханymi полями, над садами, сменившими белую кипень цветов на яркую зелень. С пашни, гладкой, как ладонь, поднималось тепло. Алела заря за Самаркандскими горами, подавая нам знак о грядущем теплом дне...

Через два дня приехал счетовод овцеводческой фермы, сообщил, что Абдумалика вызывают в правление.

— Та-ак... — пробормотал Абдумалик, отставляя в сторону вилы. — Начинается!

Вытащили мотоцикл, валявшийся в пыльных сенах, почистили, залили бензин, завели кое-как, и Абдумалик укатил в совхозный центр. А меня начала грызть тревога...

Х

Увидев в приемной директора Садык-бобо, Абдумалик обрадовался. Кроме Мамарахимова, приема ожидали еще трое — два старших чабана и подпасок.

— А вы легки на помине, Садык-бобо! — Абдумалик приветливо поздоровался. — Я только что думал о вас, даже зайти собирался.

— Я тоже хотел тебя видеть. Что у тебя стряслось?

В это время открылась дверь, из кабинета директора вышел посетитель. Садык-бобо поднялся и направился к дверям кабинета.

— Не уходи, поговорим. Я все знаю, — бросил он на ходу Абдумалику...

Минут через двадцать он вышел вместе с директором.

— Вот он, — кивнул Садык-бобо на Абдумалика. — Я с отцом этого парня работал, и за него самого могу поручиться.

Абдумалик поднялся и шагнул к ним.

— Вы повидайтесь с Нарзиевым и уладьте как-то свои недоразумения, — сказал директор, подавая пар-

ню руку. — А то, знаете, приходится из-за вас выслушивать в райкоме неприятные слова. И без того каждый день потчуют.

— Товарищ директор, — вмешался чабан Мирзакузи, который настойчиво пытался обратить на себя внимание. — Я принес для акта головы и ноги овец, — он семенил за директором, стараясь успеть выложить все до того, как тот скроется опять за дверью кабинета.

— Зайдите к бухгалтеру по животноводству, скажите, что я послал, — хмурясь, ответил директор. — В этом году мозоли наживем, подписывая акты. — Он зашел в кабинет и плотно закрыл за собою дверь.

Мирзакузи отошел, опустился на стул, расстроено покачивая головой. Потом достал табакерку и бросил под язык щепоть насвая.

— Зачем идти! Все равно этот сукин сын Кадыр акт не примет, — пробормотал он.

Садык-бобо отвел Абдумалика в сторону, проговорил сухо:

— Значит, дела такие: Нарзиев долго обхаживал Джуракула, уговорил его написать заявление в милицию о том, что ты его избил. Из милиции сообщили в райком... — Он досадливо насупился. — Ты тоже ненормальный. Разве можно в наше время руку на человека поднимать?

— Моя вина, я отвечу... — мрачно проговорил Абдумалик.

— Никакие твои передовые идеи, никакое твое геройство мордобой не оправдывают, — продолжал жестко Садык-бобо. — Времена не те.

Они помолчали.

— Что вы советуете делать, Садык-бобо? — спросил подавленный Абдумалик.

— Сходи к Нарзиеву, поговори. Только спокойно. Интересно, как он поведет себя. Я буду рядом, в чайхане...

Садык-бобо одернул полы яхтака* и направился через дорогу, в чайхану. Абдумалик проводил его унылым взглядом и пошел к Нарзиеву, еле передвигая ноги. Слегка приоткрыв дверь кабинета, он заглянул внутрь.

Нарзиев сидел за столом с учителем русского язы-

* Я х т а к — легкий летний халат без подкладки.

ка, в прошлом году окончившим Саратовский институт, и что-то писал, старательно хмурясь. Он взглянул на дверь и, не здороваясь, сказал:

— После обеда зайти, сейчас некогда, — и крикнул уже в закрытую дверь: — Смотри не уходи!

— Директору доклад пишут, на русском языке... — объяснил Абдумалику совхозный ветврач, прогуливающийся по коридору. — В обкоме актив собирают... Я вот тоже Нарзиева дожидаюсь...

Абдумалик вышел во двор, где столкнулся с тем же горемычным чабаном Мирзакузи. Время решили скоротать за обедом. В столовой Мирзакузи подмигнул буфетчику, и тот принес бутылку водки.

— За то, чтобы этот задрыга Кадыр все-таки принял акты, — проговорил Мирзакузи, аккуратно наливая водку в стаканы. — Ну, поехали!

Абдумалик молча опрокинул стакан. Водка впервые пошла легко, согрела все внутри. Голова чуть закружилась, но продолжала оставаться ясной, ноги только отяжелели. Мирзакузи налил еще, но Абдумалик отрицательно качнул головой и пить не стал — он никогда не понимал тех, для кого выпивка была страстью и радостью.

— Не расстраивайся, сынок, из-за всех этих дел, — проговорил захмелевший Мирзакузи. — Это уж так — что на роду написано, то и сбудется.

— А что написано? — насторожился Абдумалик.

— Ну, я насчет твоих неприятностей... — пояснил Мирзакузи.

— Каких неприятностей?

— Как, ты еще не знаешь? — удивился Мирзакузи. — Тебя собираются исключить из партии!

Абдумалик рассмеялся, хотя слова Мирзакузи сильно его встревожили.

— Как меня исключат, если меня еще не признали?

— А разве в прошлом году, в это время, ты не вступал в партию?

— В кандидаты, а не в члены.

— Ну, во что признали, из того и исключат, — согласился Мирзакузи.

Он хотел еще налить себе водки, но Абдумалик молча оставил бутылку.

— Кто вам это сказал?

— Как это — кто? Люди говорят...

— Что, объявление об этом повесили на столбе? — нахмурился Абдумалик.

— Ты не кипятись. Во всяком случае, верхушки деревьев не качаются без ветра... — Мирзакузи наклонился через стол к Абдумалику и, понизив голос, заговорил слегка заплетающимся языком: — Что я тебе скажу, парень... Сам я беспартийный, но уверен, что тебя несправедливо исключают... Ну, побил Джуракула! Не сдох же он! Этого откормленного барана даже полезно побить, чтоб поворачивался живее... Ну, сказал Нарзиеву пару ласковых слов... Он ведь от этого с лошади не свалился. Мужчина на то и мужчина, чтобы от души браниться. — Мирзакузи распаялся все больше. — Э-э, разве в кишлаке можно добиться чего-то без брани? Думаешь, этот Нарзиев со всеми вежлив? Да весь кишлак слышал, как он избивал свою жену — вопила, бедная, так, что в ушах звенело. А на тебя из-за ерунды взъелся!

— Не расстраивайтесь, дядя Мирзакузи...

— Нет, ты погоди, не перебивай! Когда старшие говорят — молодые слушают. Мы тоже молчим и слушаем, когда говорят старики. Нет, подумать только — из-за какой-то чепухи исключить человека из партии? Увижу директора — скажу все, что думаю. Не расстреляют же за правду, а? Я в этом совхозе дольше всех проработал.

— Вот исключат, тогда и будете заступаться, — улыбнулся Абдумалик.

— Э-э-э! Дитя! Когда исключат из партии — конец всему. Разве что посадить могут! — кипятился Мирзакузи. К нему уже стали прислушиваться за соседними столиками.

— Не переживайте так, дядя Мирзакузи, — проговорил Абдумалик. — Поживем — увидим. Спасибо за сочувствие. Приятно, когда встречаешь такого человека, как вы... Пойду я, к Нарзиеву надо зайти.

— Не спеши! Успеешь к этому подонку! Если хочешь знать, я тоже партийный, только билета нет. У меня две бумаги, «грамуты», да полный бельбаг медалей! В газете три раза фотографии печатали. Три! — он показал на пальцах. — Я тебе покажу, сын их вырезал, бережет.

— Дядя Мирзакузи, успокойтесь, домой пора...

— Да погоди ты! Дай договорить! Я знал твоего покойного отца, — он был человеком слова, бывало, что скажет, то и сделает. Теперь смотрю на тебя — ты его

копия! Не тушуйся, парены! Ты правильно живешь! Правду в глаза говоришь! А эти Нарзиевы правды боятся пуще смерти! Ты мне верь, я износил побольше рубашек, чем ты! На этой голове немало шишек вскакивало!

— Дядя Мирзакузи, будет вам... Идите домой, а я зайду к вам на обратном пути.

Они вышли из столовой. День был ясный, солнечный. Вовсю галдели птицы на деревьях.

— Да, забыл тебе сказать! — вспомнил что-то и воодушевился Мирзакузи. — Люди говорят, что первый секретарь райкома отозвался обо мне как об удивительном человеке. Так и сказал, мол, я, — удивительный человек. Директор услышал его слова и ну меня хвалить! И такой я, и разэтакий... Хотя до этого в глаза меня не видел. А теперь, полюбуйся — неделю не могу попасть к нему на прием... Наверняка этот городской директор приехал сюда деньгу загребать. У бедняги никакого понятия о животноводстве. Все Нарзиеву отдал на откуп!

— Дядя Мирзакузи, перестаньте сейчас же. Сами предупреждали меня...

— А я независимый человек! Что хочу, то говорю!

— Довольно! Идите домой! — Абдумалик мягко обнял Мирзакузи за плечи и повернул в сторону дома. Но тот все упрямылся.

— погоди, а Кадыр? Я должен еще поговорить с этим проклятым бухгалтером.

— Завтра поговорите. Нехорошо в таком виде...

— Ладно, дома буду ждать тебя... — неожиданно согласился Мирзакузи. — Закажу жене шилпилдак*. Смотри же, заходи обязательно! У меня остались водка и коньяк после свадьбы твоего дружка Дусмата...

Он ушел, а Абдумалик остался дожидаться разговора с Нарзиевым. Он бродил по дорожке вокруг правления и думал о жизни многолетнего чабана Мирзакузи, о его простой и безыскусной жизни, прошедшей в горах, где сорок лет он пас отару; о том, как в голодные годы Мирзакузи брал втихую в колхозную отару по одной-две овцы бедных вдов и сирот, о том великом сострадании, когда человеку не лезет кусок в горло, пока он не поделится с другим... Сорок лет Мирзакузи пасет отару в родных горах, — довольствуется

* Шилпилдак — национальное блюдо; большие куски теста, отваренные в мясном бульоне.

тем, что уготовила ему жизнь, старается всем помочь, подставляет плечо под чужую ношу, безразличен к наградам, которых добиваются многие. Таким людям чужды ложь, алчность, лицемерие, интриги... Абдумалик думал о том, как надо любить и беречь таких вот простых людей, ибо они — здоровые корни общества.

Нарзиев был сумрачен, неспокоен. Увидев Абдумалика, помрачнел еще больше.

— Плохи твои дела, молодой человек, — хмурясь и барабанив пальцами по столу, сказал он. — Мы приостановили пока рассмотрение заявления Джуракула. У тебя ведь и без того серьезные просчеты, сам знаешь, сколько в твоей отаре пало овец, по многим еще акты не составлены... Ну вот, каждый день звонит начальник райотдела милиции. Да и в райкоме все уже известно.

— Вы пригласили меня, чтобы сообщить это?

— Я тебя не при-гла-сил! — повысил голос Нарзиев. — Я тебя вызвал, чтобы ты писал объяснительную записку в партком.

Абдумалик почувствовал, как, против воли, жгучая обида и ярость поднимаются в груди, стискивают горло.

— Вы заварили эту кашу, а теперь с удовольствием наблюдаете, как я буду ее расхлебывать?

— Что-что? Я... заварил кашу? — усмехнулся Нарзиев. — Ты, парень, нарываешься на крупные неприятности. Избил человека чуть не до полусмерти, угробил больше двухсот совхозных овец, и еще героем себя представляешь. На твоём месте я бы не хорохорился, а сходил бы к Джуракулу, повинился, может, он откажется от своих претензий.

— А он бы и не писал это заявление, если б вы не натравливали его на меня... Я должен знать — сейчас, немедленно, — что будет с моим делом...

— Это решит партсобрание! — Нарзиев поджал губы, исподлобья взглянул на Абдумалика. — В последний раз советую — напиши объяснительную для членов парткома, иначе тебе из этого дела не выкрутиться.

Абдумалик проговорил, стараясь казаться спокойным:

— Ничего, я как-нибудь устно объясню на партсобрании, что случилось. Расскажу, как дело было. Как вы велели Джуракулу сено везти к Мавлану, меня объехав, как я потом с пробитой башкой валялся, под вопли голодных овец. Вот только экспертизу снять не до-

гадался, да и негде было, разве у волков. Все придется выслушать, при людях. А уж партсобрание решит, что делать со мною, да и с вами тоже, потому что я внесу предложение снять вас с должности секретаря и перевести на посильную работу, с которой бы вы справились...

Нарзиев, багровый, с оторопелой ненавистью в лице, шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Абдумалик резко повернулся и, перед тем, как захлопнуть за собою дверь, отчеканил:

— На собрание вы-зо-ве-те!

XI

В Мохидару он приехал усталым, с грустной озабоченностью во взгляде. Но, хоть и было уже темно, схватив фонарь, пошел в овчарню — взглянуть на овец.

Мы с ним долго возились там, кормили ягнят, от которых отказались матери: я держал овец, Абдумалик подносил ягненка и следил за тем, чтобы он насытился. И когда, наевшись, ягненок резво отбегал в сторону, взгляд Абдумалика теплел и улыбка трогала сжатые губы. Я то и дело посматривал на него в тревоге, но он отмалчивался, на вопросы отвечал односложно.

После полуночи, когда желтоватая луна всплыла достаточно высоко и стали видны темные склоны гор, мы подняли отару и под неумолчный шум ручья, сливающийся с воем голодных волков вдаль, погнали ее на поля долины Заркамар.

Овцы жадно хватали едва пробившие покров земли нежные травинки, а ягнята бегали, смешно и тоненько бляя, тыча мордашки в материнское вымя, мешая овцам пастись. Несколько козлов, сумрачные от того, что их разбудили, дремали на гребне холма, сбившись в кучу.

Я расстелил свой чапан, лег на спину, и в лицо мне повеяло прохладой огромного далекого неба. До рассвета оставалось еще несколько часов. Все жило, все дышало вокруг — сверкало и дробился под луной тысячами брызг неукротимый Каттасай, вбирающий ручьи вечных снегов. Доносились сюда шорохи и похрюкивание — то стадо кабанов пришло на водопой. Слышались с противоположного берега позвякивание колокольчиков и голоса чабанов — и там паслась отара...

Столетние ели, сбросив с плеч долгую зиму, неподвижно дремали в лунном свете. Прекрасный, неповторимый этот свет озарял все вокруг, творил чудеса, превращал холмы в сказочные царства. Это невозможно было выразить простыми словами. В груди моей трепетало восторженное изумление, в горле стоял ком. Я вытащил свою записную книжку, достал карандаш и стал писать, зачеркивая слова, придумывая новые, отчаянно волнуясь:

Край мой! Чтобы тебя воспеть,
Передо мною лишь два пути.
Я хотел бы поэтом стать —
Для песни такие слова сложить,
Которых никто не сумел найти.
А рифмовать — может любой.
Если же не смогу свою
Словами пересказать любовь,
Возьму кетмень — пусть руки поют.
Какие степи в моем краю
Рук моих крепких ждут!

Писал я долго, иступленно, ничего не видя вокруг, а когда поставил точку, перечел вслух несколько раз, и впервые мне не показалось чепухой то, что я сочинил. Мне хотелось петь эти строки, кричать их во весь голос, чтобы слышали горы Ойкора, чабаны на другом берегу Каттасая, стадо диких кабанов...

Я чувствовал такую нежность и любовь ко всем на свете, что, наверное, мог бы взлететь как на крыльях от распирающего меня чувства. И вдруг острая тоска по единственному человеку сжала мое сердце. О, если б мог я через горы прокричать ей о своей любви: «Сабо-о! — крикнул бы я. — Я так тоскую по тебе, Сабо! Есть ли прекраснее имя на свете? Сабо, увидеть бы сейчас хоть краешком глаза. Пусть бы ты молчала и не сказала мне ни слова — разок бы взглянуть на тебя, — мне и этого довольно!»

Нет, нет, никогда я не наглажусь на нее. Ведь она ни на кого не похожа — сказочные принцессы из самых удивительных сказок не могут сравниться с нею... В детстве я часто рисовал портреты наших гостей и дарил им на память. Но сколько раз я ни пытался, я так и не смог нарисовать ее портрет — эти милые лукавые глаза, губы, озаренные нежной улыбкой. Ты мое солн-

це, Сабо, а я — мотылек, который летит к солнцу, рискуя быть испепеленным.

Как хотел бы я, Сабо, словно в сказке поднявшись на ковре-самолете, показать тебе сверху мой край — любимые горы Ойкора, их ослепительно снежные вершины, мой родной кишлак, мать и бабушку, греющую на солнце свои старые плечи. А потом в табуне белоснежных коней, что пасутся в зеленых предгорьях Ойкора, выбрать самого легконогого и умчаться на нем к роднику Оби-рахмат, испить его ледниковую воду и, как гласит предание, вечно хранить любовь и верность друг другу...

Нашей встречи день, я дождусь, придет.

Я скажу: «Люблю», и ответишь: «Да».

Ты поверь, что этой весны свирель

Будет в наших душах звучать всегда.

Я услышал эхо собственного голоса, и опомнился, и понял, что — на мгновения? минуты? часы? — как бы растворился в этом воздухе, в этих горах. Тихо подрагивали набухшие почки на ветках миндального дерева, холмы, погруженные в таинственное молчание, прислушивались к моей песне. Я был счастлив здесь, в горах. И лучшая моя песня ждала меня впереди...

XII

Свои беды Абдумалик переживал молча, ни с кем не делиась. С того дня, как на стареньком мотоцикле съездил в правление, он ходил мрачным и замкнутым, тихонько напевая себе под нос какую-то песенку. Мы с Турсунбаем не решались задавать вопросы впрямую.

Дня через два, ближе к вечеру, приехали в мотоцикле с коляской два милиционера. Мы как раз собирались загнать овец, покормить ягнят. Увидев милицкий мотоцикл, мы с Турсунбаем, как по команде, тревожно переглянулись и уставились на Абдумалика. Он казался спокойным, только лицо побледнело и обозначились желваки на скулах.

— Вы Мирзаев Абдумалик? — спросил его милиционер, сидящий за рулем мотоцикла. Абдумалик кивнул. Милиционер подошел, откозырял привычно и предста-

вился: — Старший лейтенант Буриев, инспектор рай-отдела милиции.

Абдумалик обернулся к нам, взглядом приказывая продолжать работу, а сам отошел с лейтенантом в сторону. Удобно устроившись в коляске, лейтенант начал допрос. Их голоса не доносились до нас, как мы ни напрягали слух. Но по лицам можно было понять, что разговор идет не из приятных.

Я поднял лопату и, делая вид, что иду в овчарню, подошел поближе.

— А если бы Джуманов не свалил вас ударом, вы бы его избили до смерти? — спросил лейтенант, пристально глядя на Абдумалика.

— Не знаю, — Абдумалик поднял голову, теплое весеннее солнце ласково скользнуло по лицу, он зажмурился и улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь?! — возмутился милиционер. — Дело для вас очень серьезное, неизвестно чем кончится! Отвечайте по существу, в конце концов!

— По существу?.. — Абдумалик задумался и проговорил негромко: — Джуракул — неплохой парень... Думаю, мы бы с ним сами разобрались в этой драке, но... по-видимому, он испугался, что я могу умереть и ему придется ответить. Вот и поспешил настроичить вам бумагу, опередить меня... — Он улыбнулся опять открыто. — А я вот не умер... Заботы не дали умереть. И заявление писать было некогда...

Лейтенант внимательно посмотрел на Абдумалика, снял фуражку и, пригладив волосы, опять надел ее.

— Простокваши у вас не найдется? — вдруг спросил он. Турсунбай побежал в дом, вынес целую касу простокваши, и лейтенант Буриев выпил ее с нескрываемым удовольствием. — Вот что, — сказал он, отдавая пустую касу Турсунбаю. — Говорю не в службу: если сейчас вы не примете мер, на днях прокурор выдаст санкцию на ваш арест.

Я так и застыл с лопатой в руках. Турсунбай переводил испуганный взгляд с Абдумалика на лейтенанта, а Абдумалик сказал растерянно:

— Чепуха какая-то... Арест... Какой арест? Я не могу сейчас, у меня овцы не все окотились... — и осекся, поняв, что говорит несусветную глупость.

Лейтенант проговорил негромко:

— Пойдите, поговорите с Джумановым. Он должен отказаться от иска... И потом, слушайте, чем вы насо-

лили начальству? Ваш секретарь парторганизации звонит по три раза на дню — требует немедленного рассмотрения дела. Надоел, честное слово! Нет у вас связей среди районного начальства?

Абдумалик насупился, резко кивнул в сторону овчарни:

— Вот — все мои связи! Бросьте, опять прибегать к круговой поруке? Я съезжу к Джуракулу, мы с ним поговорим, думаю, помиримся.

— Вот и отлично. И впредь запомни: думай, прежде чем кулаками махать...

Они уехали. Мы стояли втроем на холме и смотрели, как маленький юркий мотоцикл, петляя, спускается вниз по горной дороге.

— Ну, довольно бездельничать, — сказал Абдумалик спокойно. — За работу, друзья. Нурулла, заводи в загон овцематок. Турсунбай пригонит отару, а я займусь кормежкой молодняка.

Он повернулся и, ловко тормозя на спуске, как мальчишка, побежал к овчарне.

Вечером он уехал в кишлак, как мы полагали — для разговора с Джуракулом. Мы прождали его допоздна и легли спать, так и не дождавшись. Проснулся я на рассвете, озябнув от утреннего холодка, и услышал, что Абдумалик уже поднимает отару. Я вскочил и, быстро одевшись, бросился догонять его.

— Ты так сладко спал, было жалко будить тебя, — ласково улыбнулся он.

Волнение вдруг сдавило мое горло, и я ответил, стараясь выровнять дыхание:

— Для меня нет большего удовольствия, чем идти с тобой рядом...

Воздух был густо насыщен ароматами трав, и этот терпкий запах напоминал мне беззаботное детство, когда по весне мы валялись и кувыркались в цветущем разнотравье. Пастбище, насыщенное влагой, раскинулось далеко вокруг и цвело день ото дня, щедро отдавая животным травы, напоенные росой.

— Звезды какие — яркие, крупные. Похоже, опять похолодает, — сказал Абдумалик, снимая шапку и запрокинув голову. — Знаешь, в этом году отлично уродится зерно. И воды будет много, так старики говорят. В высохших родниках Олчасая появилась вода. Земля досыта напилась влаги за эту зиму... Хорошо... — Он бросил на меня зоркий и ласковый взгляд и вдруг спро-

сил: — Погоним отару к подножию Замонаро? Туда еще никто из чабанов не доходил. — Он обнял меня за плечо. — Давно я не поднимался на Замонаро.

— Пошли! — воскликнул я.

— Поворачивай стадо!

Мы пустили отару по склону, а сами стали подниматься на Замонаро. Цепляясь за ветви миндаля и клена, еще утопающие в снегу, задыхаясь и взмокнув от напряжения, мы поднимались на одну из самых высоких гор Ойкора.

Зима доживала здесь свои последние дни. Посвистывал ветер, раскачивая озябшие ветки миндаля с нераскрывшимися почками. Поднималось солнце, и горы, оживая под его лучами, подставляя свои ледовые хребты нарождающемуся теплу, переливались всеми цветами спектра. Ласковый восточный ветер оглаживал крутые бока горных склонов. И подставляя лица ласке восточного ветра, мы благодарно встречали рассвет на сказочно прекрасной вершине Замонаро.

Это был наш рассвет и рассвет наших матерей, все глаза проглядевших в ожидании сыновей. Это был рассвет Сабо, снявшейся мне столько ночей. Это был рассвет узбекского дехканина с почерневшим от зноя лицом, с побелевшими от пыли ресницами — дехканина, который тяжким своим трудом облачил древнюю узбекскую землю в белое счастье. Это был рассвет всех обыкновенных тружеников, на чьих плечах держится наша матушка-земля... И за рассветами, полными тревог и забот, стоял огромный мир, кипящий грозными событиями, мир, именуемый жизнью...

Я оглянулся на Абдумалика. От ветра, должно быть, по лицу его текли слезы, а взгляд, устремленный в далекие дали, был полон решимости, силы и любви к этому огромному миру.

— Будь терпелив в делах, не торопись и всегда исправляй то, что испортил... Но не опоздай жить, Нурулла! — проговорил он негромко.

Я мысленно повторил его слова, как клятву.

Прозрачное утреннее небо отразилось зарей в снеговых склонах Ойкора. Далеко внизу, над ивами, склонившимися к ручью, возникла и покатилась звонким эхом песня каменной куропатки, будившей своих сородичей и зовущей их к теплой родниковой воде...



РАССКАЗЫ

БАБУШКИНА ТАЙНА

Недалеко от озера Арнасай внимание путника привлекает одинокая могила на невысоком холме. Мне долго пришлось допытываться у людей — чья это могила. Наконец кто-то припомнил, что похоронена здесь старая одинокая женщина, много лет работавшая чабаном в Кызылкумских пустынях...

Каждую весну, только прилетают первые журавли, я проезжаю мимо этих холмов. И каждый год, остановившись и нарвав охапку полевых цветов, я иду к восточному склону невысокого холма, к одинокой могиле. Не знаю — почему, но когда я стою над этим сиротливым холмиком, сердце мое обливается кровью и странная обида за незнакомую прошлую судьбу заполняет душу горечью.

Беззащитная и обездоленная мать! Даже имя твое забыто, только ветер носит неприкаянную душу твою среди этих холмов. Но я знаю точно одно: ты была матерью, ты родила и вскормила своим молоком детей, отдавая им всю свою безграничную любовь. А теперь ты стала матерью-землею, и я с тоской припадаю к тебе в горьком раскаянии любви.

И рассказ этот я посвящаю тебе, труженица-мать с несчастливой судьбой, принявшая смерть свою среди диких пустынных холмов...

* * *

Бабушка часто удивляла меня странными действиями. Когда замирали в ночном кишлаке звуки шагов, скрип арбы, лай собак и становился различим только стрекот кузнечиков, бабушка неслышно поднималась с постели, бормоча себе что-то под нос. Наверное, она думала, что я давно сплю. Ласково приговаривая что-то, бабушка укрывала меня получше и, прихватив два ведра, выходила из дому, к речке. Я знал, что по ночам она ходит в сторону бурно гремящего Джийдалисая.

Не открывая глаз, я прислушивался к ее шагам. Мне было не по себе. Казалось, стоит только приоткрыть глаза и за стеклом темного окна я увижу зловещего дива из сказочного мира Дунетема. Крепко зажмурившись, я представлял этого дива — острые клыки, развеваящаяся грива, кровожадно горящие глаза. Но чуть раздавались бабушкины шаги — и страшный див поспешно отступал от окна. Втайне я был уверен, что вся эта нечистая сила до смерти боится моей бабушки, что стоит бабушке захотеть и, произнеся волшебное слово, она вмиг обратит всю нечисть в камни. Мама уверяла, что бабушка владеет тайной силой, которой одарил ее аллах.

С тихим скрипом приоткрывалась дверь, бабушка, кряхтя, заносила два полных ведра, и мои страхи сразу улетучивались. Я лежал тихонько и долго размышлял над тем, зачем глухой ночью бабушка ходит за водой. Это повторялось довольно часто. И никогда не пропускалась ею ночь под пятницу.

Отец запретил мне приставать к бабушке с дурацкими вопросами. Это произошло после того, как я спорил с нею об аллахе.

— Бабушка, а где аллах находится? Где он живет? — с любопытством спрашиваю я.

— Где же ему жить! Он живет между твоими бровями и веками,— отвечает она нараспев, продолжая воиться по хозяйству.

— Вот еще! Как это он там живет? — недоверчиво говорю я и закатываю глаза, скашиваю их к переносице.— Как он там помещается. И почему его не видно?

— Аллах тебе не человек, понял, сорванец? И перестань гримасничать! — бабушка начинает раздражаться.

— А кто он тогда?

— Аллах. Понял? Аллах, он и есть — Аллах. Он в сердце каждого человека.

— Каж-до-го?! — изумленно переспрашиваю я.— Сколько же их, этих аллахов?

Тут бабушка не на шутку разгневалась.

— Мал ты еще такие кошунственные разговоры заводит! Ты что, вероотступником стать собрался? Погоди, вот придет отец, я ему все расскажу.

Я прикусил язык, потому что впервые бабушка рассердилась на меня по-настоящему. Но мысленно я продолжал спорить с нею и удивляться: выходит, аллах не только между бровями живет, но и в сердце? Да еще у каждого! Может, это он там и стучит непрерывно — тук-тук, тук-тук, тук-тук... Ма-аленький такой аллах, с колотушечкой...

Наутро, когда за завтраком собралась вся семья, бабушка рассказала-таки отцу о моей греховной болтовне.

— Твой сын спрашивает о таких вещах, что и повторить страшно,— сказала она, сдвинув брови.— Совсем как грешник, которому уготован ад.— При этом губы ее, такие добрые и улыбчивые обычно, поджались. Это означало, что бабушка разобижена всерьез.

Отец, так и не поняв сути нашего спора, сделал вид, что поругал меня.

— Я запрещаю тебе болтать глупости и задавать бабушке бессмысленные вопросы,— сказал он сурово. Но когда после завтрака я поливал ему на руки воду из кувшина, он негромко проговорил:

— Смотри, не обижай бабушку. Она ведь любит тебя, поэтому и упрекает. Недаром в народе говорят: ищи сочувствия у человека, который взыскивает строго... Вот ты уже становишься большим парнишкой — привыкай

к мысли, что ты должен стать помощником в семье. Отец впервые говорил со мною всерьез, как с равным, и его слова крепко запомнились.

С тех пор я стараюсь обращаться с бабушкой деликатно. Беспрекословно исполняю все ее просьбы. Да и бабушка ни в чем мне не отказывает. Бывает, хочется мне спросить ее о чем-то, а она и сама заводит разговор об этом, словно мои мысли читает.

Признаться, меня давно одолевает желание узнать секрет двух ведер. Но я побаиваюсь спросить у бабушки напрямик. И ведь что интересно: принесет она эти два ведра, накроет сверху круглыми деревянными крышками, побурчит что-то себе под нос, а потом долго и проникновенно читает молитву. И в конце обязательно скажет нараспев: «Да зачтется сия молитва на страшном суде, как доброе дело в пользу моих родителей...»

На рассвете она относил оба ведра к речке и выливала воду в бурлящий речной поток.

Мама говорит: «Твоя бабушка — святой человек, ей неведом грех».

Как-то ночью я проснулся от жажды. На цыпочках, стараясь не разбудить бабушку, я принялся на ощупь искать кружку.

— Из ведер не пей, — сонным голосом проговорила бабушка, приподняв голову с подушки. — В кувшине есть вода.

Я напился воды из кувшина, лег в постель и долго не мог уснуть, все размышлял над загадочными бабушкиными действиями. Уже засыпая, подумал: «Может быть, своими молитвами бабушка заколдовала воду?» — и щуплая седая бабушка представилась мне могучей волшебницей.

Однажды после ужина, при слабом свете керосиновой лампы бабушка мотала пряжу, тихонько напевая старинную народную песню. Все ее песни и сказки я знал наизусть, и слова той старинной песни помню до сих пор, время от времени они возникают и звучат в моей памяти:

Эх, зернышки вы, зернышки граната,
Не сыскать на этом свете ни отца, ни мать.
И жену себе найдешь, и мужа, и друзей,
Только мать с отцом нигде не сыскать...

Обычно эту песню бабушка напевала тогда, когда

тосковала о своем детстве, о родителях. Это означало, что сейчас она размякла душой, а в такие моменты у нее можно было спрашивать о чем угодно.

— Этой ночью тоже пойдете за водой, бабушка? — спросил я как бы между прочим.

— Да, дитя мое. Вот смолкнут шаги, люди разойдутся по домам, уснут, тогда и пойду, — ответила она, тщательно завязывая конец мотка, чтобы тот не размотался, не запутался.

— А сейчас нельзя принести воду?

— Сейчас нельзя. Вода еще грязная. Во-первых, ею поили скот, во-вторых, такие сорванцы, как ты, купаются в речке до восхода луны.

— Ну и что, если купаются?

— Не-ет, — протянула бабушка, качая головой. — Ту воду, которая нужна мне, следует брать тогда, когда в речке она течет чистым прозрачным потоком. Иначе не будет награды за доброе дело.

— Почему не будет вам награды?

— Да не мне, а моим родителям!

— Но у вас же нет родителей?! — изумился я.

Бабушка тяжело вздохнула, и я даже испугался — не сболтнул ли я чего-нибудь глупое, не обидел ли старушку. Несколько минут бабушка печально глядела на тихий язычок пламени в керосиновой лампе. Моток выпал из ее рук и прикатился к моим ногам. Я поднял его и в смущении стал вертеть.

— Да, у меня нет родителей... — проговорила наконец она с тяжким вздохом. — Поэтому каждой ночью я набираю в речке два ведра воды, а утром отношу их обратно.

— Но зачем? — почти шепотом спросил я, боясь спугнуть задумчивую откровенность бабушки.

— Видишь ли, дитя мое, есть в народе поверье, что чистая вода из речки всю ночь хранит и возносит к небу святые слова молитвы об усопших. К тому же аллах вознаграждает того, кто сохранит чистой воду из речки. И, надеюсь, что за этот труд он будет милостив к моим покойным родителям. Лучше делать такую малость и жить честно, чем так, как иные — обкрадывают и людей и государство, а потом замаливают свои грехи пышным жертвоприношением во имя аллаха...

И так мне запали в душу бабушкины слова, что утром, едва забрезжила заря и бабушка с ведрами в ру-

ках отправилась к речке, я вскочил с постели и улизнул за нею.

Гул и грохот горного потока был слышен далеко вокруг. Мощный рев Джийдалисая перекрывал остальные звуки — пение петухов, возбужденные крики кишлачных мальчишек, выгоняющих домашнюю скотину на выпас. Наш кишлак, расположившийся в предгорье живописной подковой, медленно просыпался, начинались каждодневные заботы односельчан.

Через несколько минут эхом разнесся до ущелья раскатистый крик кишлачного пастуха:

— Э-ге-ге-ге-ее-й! Да-а-ваа-й! Вы-го-няй ско-о-от!
И крик пастуха Базарбая был певуч и красив не менее, чем рокот бурного Джийдалисая. Я словно впервые видел это свежее прекрасное утро, стоял, оглушенный этой близкой, привычной вроде бы красотой, и укорял себя, что не замечал ее раньше. Еще вчера крик пастуха был всего лишь воплем, прерывающим сладкий утренний сон. Вот он растворился в воздухе, и снова шум реки стал доминирующим звуком. Он приносил с собой из объятий Ойкора и пение кекликов, и рев кизилташских медведей, резвящихся среди камней, и опьяняющий запах горных трав, и бодрящий холод высоких перевальных снегов.

Вечный и мощный гул речного потока соединял и утверждал все сущее — от арчовых рощ Ойкора до последней травинки в степях Тимаксая, от памяти предков, про которых так много рассказывала бабушка, до меня.

Я долго стоял с перехваченным от волнения горлом и смотрел на картину пробуждающегося дня. Мать, наверное, уже подоила коз, и я должен выгнать их на выпас. Так и есть. Козы давно выдоены, а я, из-за своих раздумий, вернулся домой поздно. Кишлачное стадо уже ушло к Уртакирским степям. Ничего не остается, как только живо гнать своих коз, догонять стадо. Я мигом оседлал своего «коня» — толстый ивовый прут с листьями вместо хвоста, огрел его кнутом и помчался, как ветер, за бегущими козами, бороды которых болтались из стороны в сторону. Я мчался, глаза мои слезились от утренней прохлады и каких-то неизвестных мне чувств. Оглянувшись и увидев далеко за собой наш кишлак, высокие горы, клубистые облака на их вершинах, я закричал что было сил:

— Ба-буш-ка-а-а! Ой-ко-о-ор! Арчи зеленые-е-е! Мед-

веди мои-и, Тимаксайские сте-е-пи! Я вас люблю-у-у!
Всех, всех люблю!! Больше всего на све-те-е-е!!

Эхо того утреннего счастья, того детского крика доносится до меня через годы, когда, понурив седеющую голову, я стою над одинокой чужой могилой среди пустынных холмов.

ВОРОБЕЙ

Все мои проделки, сколько помню себя,— это либо подражание кому-то, либо собственное, от безделья, изобретение. И все потому, что я очень деятельный человек и постоянно ишу себе какое-нибудь занятие.

Стоило Эшболте съездить к тетке в Булунгур и привезти оттуда лук и стрелы, как все мы — кишлачные пацаны, превратились, по выражению моей бабушки, в «войско эмира Тимура».

Мы лихорадочно ломали ветки ни в чем неповинных деревьев, изготавливая бесчисленное количество «стрел», воображая себя настоящими воинами. Надо сказать, сражения и подвиги постоянно тревожат наше воображение. Может быть, от того, что ежегодно после бурных селей мы находим в русле Каттансая всякие металлические штуки — покореженные шлемы, обломки мечей, лохмотья полусгнивших кольчуг, наконечники стрел. Бабушка говорит, что в древние времена, когда оба берега Каттансая были сплошной равниной, здесь происходили кровавые сражения. Говорят, последние жестокие бои пронеслись над Каттансаем во времена, когда шах Ирана вероломно напал на Самарканд.

Словом, селевые потоки каждый год приносят нам все новые находки. Чего стоит один кривой меч — бурый от ржавчины, но совершенно целехонький — его нашел Асадулла, который учится на два класса старше меня. Из-за этого меча у нас с пацанами из соседнего кишлака произошла крупная драка: их Раджаб-сопливый орал, что первым увидел меч среди камней. Ну и дрались же мы! До тех пор, пока меч не сломали. Тогда все сразу успокоились.

А лично у меня хранятся железный шлем, наполовину прогнивший, и щит необычной формы, представляете, такой квадратный. Я знаю некоторых типов, кто просто дохнет от зависти при виде моего щита, а сами издеваются: «Да это никакой не щит, а просто крышка

зернонаполнителя сеялки!» Я не обращаю на эту болтовню никакого внимания, но свое «снаряжение» прячу подальше от завистливых глаз — на чердаке, между бревнами. Особенно старательно скрываю это от отца. Он непременно упрекнет: «Ты что, хочешь стать убийцей?»

Часто, снарядившись в военные доспехи, мы начинаем генеральное сражение «Тимур—Баязед». Кто первым три раза попадет из лука в консервную банку с сорока метров, тот становится Тимуром. Если попал в банку два раза — считай, что ты уже Баязед. Ну, а все остальные — рядовое войско. Однажды — честное слово! — я чуть не стал Тимуром. Если бы Абдуманнон-суматошный не лез мне под руку со своей болтовней, я бы в третий раз поразил цель. Вообще, обидно до слез, что я самый низкорослый среди оравы мальчишек. Но зато я ценюсь как непревзойденный бегун. Вот почему все Тимуры с удовольствием принимают меня в свое войско.

Мы все сражались до недавнего времени, пока Хошмирза не подстрелил из лука голубя с Кошачьего обрыва. С того дня все мы, как один, до седьмого пота заняты отстрелом птиц. Я вот уже неделю как охочусь, но еще не подстрелил ни одной, отчего хожу совершенно расстроенный. Что делать? Не могу же я отступить от намеченной цели! Впрочем, вчера тайком я прокрался во двор тетушки Айгилас и долго сидел в засаде, караулил зазевавшуюся курицу. Наконец, одна, рябая, подошла ко мне совсем близко, я выпустил стрелу и поразил цель. Стрела вонзилась в крыло курицы, та закудаhtала и забегала по двору, как безумная, но потом постепенно успокоилась и стала клевать зерно, как ни в чем не бывало, и стрела качалась в ее крыле. Видать, несерьезно ранил... Я попытался вынуть стрелу и долго гонялся за проклятой птицей, но безуспешно — она убежала в свой курятник. Хорошо еще, что в доме тетушки Айгилас никого не было. Считай, пронесло...

А сегодня с самого утра я караулю воробьев. Занял выгодную позицию на айване и целюсь в этих крикунов, которые садятся на обструганный шест для бельевой веревки. Больше часа сижу и все напрасно. Эти воробьи словно издеваются — только выпущу все стрелы — они тут как тут: облепят шест с веревкой, сидят, чирикают, вероятно, меня обсуждают, пока я по двору стрелы собираю. Решил в последний раз попробовать. Прице-

лился, глаз сощурил, тетиву оттянул: рраз! Наконец-то!
Стрела попала в цель!

Раздался отчаянный писк, и воробей, сраженный моей стрелой, упал на землю. Не чуя под собой ног от радости, я спрыгнул с айвана и бросился к добыче. Воробей несколько раз судорожно открыл маленький желтый клюв, дернулся и замер. Я осмотрел свою добычу: стрела чуть ли не насквозь пронзила воробья. Я ее с трудом вытащил и сразу прицепил мертвого воробья к солдатскому ремню, подаренному дядей Щербекон по случаю демобилизации.

Я был опьянен успехом и как заправский охотник гордо кружил по двору с полчаса. Жаль, что никто не видел, с какой снайперской точностью я снял воробья с шеста! Представляю, как изумились бы пацаны!

Тщеславие победителя, клокотавшее во мне, искало выхода, жаждало похвалы. Надо сейчас же показать добычу родителям, пусть своими глазами увидят, какой у них растет сын — меткач!

Тут выяснилось, что бабушка уехала к тете Хумор на торжество по случаю первого укладывания младенца в колыбель. Ну, а отец, как обычно, придет домой, когда кишлачное стадо вернется с выпаса.

Что же мне делать все это время? Может, еще одного воробья стрельнуть? Вряд ли получится — руки от волнения будут дрожать. «Хватит. На сегодня достаточно», — сказал я себе, усмиряя охотничий пыл. Лучше, пока нет отца и бабушки, пойду разыщу ребят — покажусь им с добычей. Да только где их искать? На улицу все выходят играть после обеда, когда жара спадет. Что же мне, терпеть все это время? Нет уж, пойду по домам, прямо сейчас.

Сначала я заглянул к Пардабаю. Оказалось, он уехал в горы, отвезти лепешки отцу, пастуху. Вот неудача-то!

— Что у тебя там висит? — спросила тетушка Айгилас, поднимая голову от шитья.

— Воробей. Убил, — ответил я со сдержанной гордостью, как настоящий охотник.

— А убил ты его этой палкой, что у тебя в руках? — с сомнением спросила тетушка Айгилас.

— Не палкой, а стрелой. Из лука, — уточнил я.

— Ну и молодец! Дай волю этим проклятым тварям, так они за день весь виноград склюют. Орешь, стучишь, пугаешь, а им хоть бы хны. Видишь, в такую адскую

жару сижу, сторожу виноград. От тарахтенья по ведру совсем очумела, уши позакладывало. А они, проклятые,—вон, видишь? Ничего не боятся... Ты посиди, с минуты на минуту Пардабай вернется...—тетушка Айгилас, наклонившись, перекусила нитку и еще раз внимательно взглянула на стрелу в моей руке.—Э-э, постой... Не ты ли, случаем, стрелял в мою рябую курицу? У бедняги в такую жару рана загноилась, из курятника со вчерашнего дня не выходит...

— Не, это не я стрелял, — смутившись, бормотнул я.

Тетушка Айгилас отложила шитье, уперла руки в колени и сказала энергично:

— Ты стрелял! Кому еще этим негодным делом заниматься?

— Все пацаны с луком и стрелами ходят... Может, кто-то из них...— бормотал я, отступая к калитке.— Если б я стрелял, я бы признался,— и выскочил на улицу, от греха подальше. Надо же, прицепилась к человеку со своей рябой курицей.

Улица была пустыня. Полуденная жара накаляла землю и крыши домов, загоняла людей в спасительную прохладу комнат. Я брел по улице в надежде встретить кого-то из ребят. Горячая земля приятно щекотала мои босые ступни, толстый слой пыли смягчал жар. Пошатавшись между домами еще с полчаса, я повернул к дому Базарбая, хоть и побаивался натолкнуться на его отца. Как назло, во дворе, засучив до колен белые широкие штаны, отец Базарбая усердно месил ногами глину.

Я еще поздороваться не успел, как он накинулся на меня:

— Ну, чего тебе? Что болтаешься без дела?

— У меня... У меня разговор к Базарбаю,— пролепетал я, оторопев от неожиданности, хотя, честно говоря, от этого типа можно ожидать каких угодно неприятностей.

— Смотрите-ка, у него разговор к Базарбаю! — воскликнул он с издевкой.— Какие разговоры у тебя могут быть к моему Базарбаю? Или, думаешь, он такой же бездельник, как ты? Нет, он не будет шляться по улицам в такую жару, топтать коровьи лепешки! А это еще что у тебя? — он кивнул на воробья.— Посмотрите-ка, что он натворил! А, чтоб тебя шайтан драл, бездельник! Птичку убил, а?! Ну, что от тебя ждать, когда все твои предки были неотесанными невеждами! У вас

в роду все такие — не могут обойтись без того, чтоб не причинить кому-то несчастья! Убирайся отсюда! Базарбай спит! Дай тебе волю, ты его за два дня сделаешь таким же оболтусом, как ты сам! Посмотрите, а?! Убил ни в чем неповинного воробья, повесил его на ремень и шляется по дворам! Погоди, тебя за это аллах покарает!..

Я уже выбежал со двора Базарбая, а вслед мне продолжали нестись проклятья и ругань. Эх, надо было бы засесть за забором и устроить ему стрельбище из лука! Да, честно говоря, я побоялся. Этот тип на всю округу известен как отчаянный скандалист. Бабушка говорит, когда ему не с кем ругаться, он ругается сам с собой.

...От нечего делать я сновал по пыльной дороге, покрытой узорной, чуть колеблющейся тенью урючины. Потом присел в тени на корточках и задумался, ковыряя стрелой муравиную норку.

Вдоль дороги пролегли две параллельные канавки от железных ободков арбы. И только я стал прикидывать — сколько раз арба должна была проехать по дороге, чтобы образовались такие канавки, как в самом конце улицы показалась она сама: скрипучая арба Шодмонкуларбакеша. Слышно было, как в воздухе пощелкивает кнут и тренькают пустые бидоны. Значит, Шодмонкуларбакеш возвращался из райцентра, сдав молоко на молочный пункт. Райцентр от нас находится всего в нескольких километрах, так что за день на арбе можно запросто сделать пять-шесть ходок, ничего особенного, но Шодмонкуларбакеш так пыжится и покрикивает, с таким достоинством поглаживает свои висячие неуклюжие усы, точно он выполняет важнейшее задание и весь мир должен ему в ножки за это поклониться... Вон, подъезжает, пуп земли. Покрикивает, кнутом щелкает.

— Эй, ты откуда взялся?! Прочь с дороги, а то кнута сейчас попробуешь! Но-о! — это Шодмонкул загодя орал, сидя в арбе и вытягивая шею.

Я посторонился и прижался к стволу урючины, хотя, клянусь, на дороге было вдоволь места, чтобы проехать этой несчастной тарыхтелке. Подъехав ко мне вплотную, Шодмонкул остановился.

— Ты кто такой?! — заорал он еще сильнее, хотя прекрасно знал, кто я. — Ты чем тут занимаешься?! Вы, бесы, не успокойтесь, пока не оборвете весь урюк у бедной старушки. Безобразники, вот что я скажу вам! Эй, а ну-ка, подойди поближе. Что это за пятна крови

на тебе? Досталось от кого-то? Ну и ну! А что у тебя на ремне висит?

— Воробей, — вставил я наконец.

— Какой еще воробей?

— Обыкновенный воробей.

— Зачем повесил?

— Я его застрелил. Потом вот повесил.

— О господи! Недаром в народе говорят: плохой человек себя выдает дурными поступками. Ну ладно, ну застрелил воробья. А зачем разгуливать в таком виде? Вы глядите — на ремень повесил, а? На солдатский ремень! Видно, варварство у вас в крови! Я помню, как два года назад твой дядька Абдурасул застрелил собаку моей сестры. Вот ты в кого такой кровожадный! Моя бедная сестра...

— Так ведь она школьников кусала! — возразил я.

— Кто?! — заорал он.

— Та собака, — невинно глядя на его свисающие усы, уточнил я, — правильно ее застрелили.

— Вот сопляк, от горшка два вершка, а еще рассуждает! На кой черт собака, если она не кусается! Она на то и собака, чтобы кусаться! Если отстреливать всех собак, которые кусаются, то надо покосить пулеметом всех собак Усмата. Это тебе, брат, не городские собаки. Те и вправду хуже кошек. Даже противно... Если я тебе расскажу, сколько в годы войны, в Берлине, собственноручно уложил всяких пуделей и терьеров... Э-э, да если я начну рассказывать о своих подвигах! Любой писатель будет рад обо мне книгу написать! — он просто захлебывался, рассказывая о своих выдающихся подвигах.

— Городские собаки ученые, все понимают. Они даже по хозяйству помогают, — сказал я, чтобы немного сбить его глупую спесь.

— Ну и сатана же ты! — воскликнул Шодмонкул. — Треплешься, как будто своими глазами видел!.. А между прочим, я тебе скажу, сейчас в городе такой народ пошел, что вместо детей собак воспитывают. Наверно, они так думают: если сын непутевым вырастет — то это беда, а если собака взбесится, то с ней расправиться — пара пустяков. — Шодмонкул заметил, что я ухмыльнулся на его дурацкие рассуждения, опять вытаращил глаза и вытянул шею: — Стой смирно, когда с тобой старшие беседуют!.. Я это к чему о собаках? К тому, что какой-нибудь негодный сын, вроде тебя, сокра-

шает дни своих родителей. Понятно тебе, оболтус? Не думай, что если ты сын завфермой, то тебе все позволено. И больше не смей стрелять государственных воробьев!

Тут я не выдержал.

— Воробьи не государственные,— сказал я.

— А чьи?! — взвился он.

— Не государственные.

— Откуда ты знаешь? Или где-нибудь написано, что воробьи не принадлежат государству? — наступал он.

— Нигде не написано. Но все и так знают, что воробьи не принадлежат государству.

— Вот и хорошо,— вдруг сказал он.— Если не государству, значит, аллаху. Учти: за свои проделки на том свете жестоко заплатишься. В аду тебя так же, как эту несчастную птицу, посадят на ветку и будут стрелять в тебя из лука. Тогда ты сразу поймешь, кому принадлежат эти птички!

Запряженные в арбу клячи уже давно фыркали и притоптывали копытами о землю, словно поторапливали арбакеша. Да и мне надоел этот приставучий Шодмонкул. Он до вечера, наверное, мог читать свои нравочения.

— Придется мне потолковать с твоим отцом, чтобы приструнил тебя! — тараща глаза, строго крикнул Шодмонкул и сильно дернул поводья.

Арба застонала, как больная и, хрустя ребрами, тронулась с места.

Тогда я пошел к бабушке Нозик. Я к ней часто заглядываю, бывает, по хозяйству помогаю. Она добрая старушка, а сколько всяких историй знает!

Бабушка Нозик сидела во дворе, охраняла свой виноградник от воробьиного налета. Увидев меня, она заулыбалась и хотела уже сказать что-то, но тут ее взгляд наткнулся на воробья, прицепленного к моему ремню. Улыбка сбежала с морщинистого худого лица, глаза округлились в испуге и негодовании.

— Вай, помереть мне! Что у тебя за выходки? Как ты мог издеваться над божьим созданием? — запричитала бабушка Нозик.— Что у тебя — сердце каменное? Или не боишься греха за содеянное? Горе мне, кто бы мог подумать, что внук бабушки Шахзады способен на такой дурной поступок!

Меня словно кипятком окатило от этих причитаний. Я просто не мог поднять глаза на ее горестное лицо.

И показалось, что к ремню прицеплен не комочек пуха, а пудовая гиря.

— Все же ребята стреляют...— пробормотал я, не зная, что сказать.

— Нельзя повторять дурное, даже если все поступают дурно! Сынок,— бабушка Нозик подошла ко мне, приподняла за подбородок мою опущенную голову, заглянула в лицо,— ты мальчик омысленный. Ты должен понимать: издеваться над останками любого существа, будь то человек или муравей,—это тяжкий грех. Осквернение праха — начало всех бед... Тот, кто сызмальства растет бессердечным, тот вырастет палачом. А тому, кто обижает живое существо, не будет добра ни на том, ни на этом свете... Иди и подумай над тем, что ты сотворил...

Я побрел прочь, не зная, куда деть свои руки. Я просто ненавидел себя. Вспомнил, как судорожно дернулся воробей, как открыл крошечный желтый клювик... Я сломал лук, стрелу и выбросил их. Жгучий стыд и досада на себя гнали меня дальше, дальше. Я дошел до холма Наркара и там, под большим кустом багрового шиповника, похоронил воробья. И долго еще сидел над могилкой невинного существа, убитого мною, и не мог уже понять, как поднялась у меня рука на крохотное тельце, на это летающее, чирикающее чудо, не принадлежащее ни государству, ни аллаху... Потом я нашел круглый плоский камень и долго трудился над ним, выцарапывая гвоздем слова: «Здесь похоронен воробей».

С того дня я ревностно слежу, как бы случайно не обидеть беззащитного. Вот вчера чуть не наступил на муравья, несущего зерно к себе в муравейник. Вовремя отпрянул, но не удержал равновесие, упал и подвернул ногу. А сегодня нога сильно опухла, и бабушка повезла меня к кишлачному лекарю Тилавберды.

Я сижу верхом на нашем ишаке, а бабушка идет впереди, держась за уздечку. Мы поднимаемся вверх, нам идти далеко, в горный кишлак, бабушке трудно, поэтому идем мы медленно, мерным шагом.

А навстречу нам по склону горы спускался человек на коне. Издали слышны были пофыркивание коня и песня, которую напевал человек. Это Гаиб-охотник возвращался с охоты. К седлу его были привязаны за ноги убитые куропатки. Они болтались вниз головами в такт песне, которую напевал Гаиб, и у меня сжалось сердце.

Мы с бабушкой поднимались все вверх и вверх, и я

ехал с понишкой, как у виновного, головой. А Гаиб-охотник спускался все ниже и, довольный удачной охотой, мурлыкал себе под нос сентиментальную песенку...

АНГЕЛ МОЙ В СИТЦЕВОМ ПЛАТЬЕ

По степной дороге, покрытой мягкой пылью, я возвращаюсь на хирман. Бреду, спотыкаясь, погруженный в нескончаемые, как эти поля, мысли, волоча ноги в серых от пыли кирзовых сапогах.

Меня давно покинуло то отчаяние, которое я испытал, провалившись на экзаменах в институт. Я даже привык к дурацким шуточкам хирманщиков по поводу моего несостоявшегося высшего образования. Впрочем, насмеваются не все. Например, Раджаб-ака всегда меня успокаивает.

— Если б только учеба делала человека человеком, — говорит он, — то Турдыкул-Бедовый давно бы вышел в люди. Ты посчитай, он ведь техникум окончил, два института, да еще какие-то курсы, бес его знает. Ну, и что? Стал начальником артезианских колодцев. Посуди сам — какой прок этому колодцу от Турдыкула? Уж если его пробурили, он и будет давать воду без всяких начальников. Подойди толково к этому вопросу: на черта нужен такой начальник Турдыкул?

Мне, честно говоря, приятно слушать эти рассуждения Раджаба-ака. И в самом деле, тысячи людей живут прекрасно без институтов. И я проживу. Как говорит моя бабушка, главное — иметь две руки, две ноги и голову. Только все дело в том, что голова моя, вернее мысли, сейчас находятся на хирмане, среди девушек, обедающих в тени трактора.

Вообще-то я мог бы обедать вместе со всеми. Но у меня ничего не выходит. Как представляю, что она смотрит на мой жующий рот, на мои нелепые жесты, у меня кусок в горле застревает. Нет, лучше не показываться ей на глаза! Теперь, думаю, вам понятно, почему я, несмотря на неоднократные замечания учетчика Нигматуллы-ака, хожу обедать домой, за четыре километра?

Все бы ничего, если бы я дома толком обедал. Куда там! Подчас не могу вспомнить — ел я или не ел... Бывает, по радио передают какую-нибудь задушевную песню и я заслушиваюсь. Потом, напевая ее под нос,

накинув пиджак на плечи, я возвращаюсь пыльной дорогой на поле. Вот и хирман. А посреди хлопкового поля, в белесом мареве жары стоит трактор с прицепом. Это там вместе со всеми обедает Она...

...После того, как я провалился на экзаменах и возвратился в кишлак, с недельку я провалялся дома, в сумеречной прохладе комнаты с одиноким окном — стыдно было показаться односельчанам. Но сколько можно избегать людей? На всю жизнь ведь от них не спрячешься. Захватив с собой младших братьев, я ушел в ущелье Яккатут, и мы заготовили на зиму сено янтака* для овец.

А тут как раз начался выборочный сбор хлопка (до массового его сбора оставалось еще недельки две). Отец и говорит за завтраком:

— Хватит валяться, выходи в поле.

Я хотел было возразить — что за охота с девушками в грядках топтаться, когда мои ровесники либо комбайны водят, либо помощниками механизаторов работают, но прикусил язык: у нас в семье с отцом не спорили. Скажет он этак суховато, негромко, но веско — изволь выполнять. Правда, я себя успокоил тем, что потом уговорю чабана Раббима-ака взять меня в подпаски.

...В нашей бригаде работают жители трех кишлаков. На поле их подвозит автобус. В первые дни, когда в клубах пыли к кромке поля подкатывал автобус, распахивались его двери и на землю прыгивала Она — загорелая, в ситцевом, выгоревшем до белизны платье — я замирал и, как замороженный, следил за каждым ее движением.

Дней десять боялся подойти ближе, собирал хлопок грядок за двадцать от Нее. Просто голову боялся поднять, чтобы не встретиться с Нею взглядом. А Она, как нарочно, хохочет, звонко так, перекликается с девушками. Иногда я все-таки не выдерживал и бросал искоса взгляд в ее сторону. О, если б вы видели сами, как Она двигается среди кустарников хлопчатника — как плавны и одновременно проворны ее движения — это песня, настоящая песня!

Иногда я приходил в себя, только когда понимал, что стою как изваяние уже четверть часа, что девушки поглядывают в мою сторону и заговорщицки хихикают —

* Я н т а к — верблюжья колючка.

и, чувствуя прилив горячей крови к вискам и затылку, я судорожно принимался собирать мягкий и легкий, как пух, хлопок. Пальцы не попадали в коробочку, натывались на острые кончики курака, но я не чувствовал боли.

Нет, я и не мечтал приблизиться к Ней, мне было достаточно вот так, изредка, наблюдать за ее милым насмешливым лицом и хрупкой фигуркой в ситцевом платье.

Потом мне в голову пришла счастливая мысль — попроситься грузчиком на прицеп вместо Хошмирзы. Я буду выгружать хлопок, собранный Ею! Она будет подходить близко, очень близко ко мне, я возьму в руки Ее фартук, набитый хлопком... Учетчик Нигматулла-ака даже обрадовался:

— Очень хорошо, Хошмирза еще совсем птенец. Замучился, бедный, силенок маловато...

Ну и радовался же я в тот день! Когда взобрался на прицеп и увидел сверху поле и Ее среди других сборщиков, мне захотелось заорать от счастья. Мне хотелось кричать во весь голос ее имя, чтобы слышали все. Вы даже не знаете, какое у нее прекрасное имя. Зебо! Слышите, Зе-бо! Я представить себе не могу, что в мире может быть имя красивее, чем это...

Работать грузчиком весело и нетрудно. Подхватывая наполненные фартуки сборщиков, вытряхивай из них хлопок на дно прицепа — и все дела. Я проделываю все это машинально, потому что мое внимание приковано к Ней, собирающей с подругами хлопок. Во-о-он Она! Мой загорелый ангел в ситцевом платье. Отсюда, сверху, ее фигурка видна, как на ладони. Я смотрю на Нее издали вдоволь, и никто об этом не подозревает. Интересно бы разобраться самому, что со мною происходит. Мне кажется, все, что меня окружает, и все, что происходит в действительности, не имеет ко мне никакого отношения, что я парю где-то высоко-высоко, словно жаворонок, застывший в небе.

Вероятно, по-настоящему счастливым или несчастным человек себя чувствует тогда, когда он как бы выпадает из действительности...

...А как я люблю всех людей, какими они мне кажутся добрыми и милыми! Я думаю, не будь на свете надутого, как индюк, Рахмана-арбакеша или нудного бригадира Сайфуллы, мир бы осиротел и показался мне несовершенно. В такие минуты я до щемящей неж-

ности люблю и эти хлопковые поля, резко пахнувшие дефолиантами, и кустики худосочной травки между грядками. Кажется, и природа и люди дружно желают мне счастья. И сам я думаю, что впереди меня ждет одно только счастье. Честно говоря, не могу объяснить толком — что подразумеваю под этим, но уж точно знаю: в недалеком будущем со мною случится что-то очень важное...

Наш дом, и дворик, и большая деревянная тахта во дворе стали казаться мне тесными. Каждый вечер я забираюсь спать на крышу. Старший брат недоумевает:

— Что ты там потерял? Тоже мне — злой дух, на крыше обитает...

Я отмалчиваюсь. Разве он поймет меня?.. Я лежу на спине, на расстеленной курпаче, и смотрю в небо. Вскоре засыпает кишлак, слышно только, как лениво перебрехиваются псы. Потом и они успокаиваются. А я все не сплю. Думаю о Ней, звезды рассматриваю. А звезды такие крупные, близкие — протягивай руку и снимай одну за другой...

Кишлак, где живет Она, расположен на склонах горы Етимтаг. Это далеко, за селением Куев-бола, что значит — жених. Интересно, спит Она сейчас или нет? Ну, конечно, спит, и вовсе не думает обо мне. Откуда Ей знать, что я сейчас лежу на крыше и каждый миг думаю о Ней, только о Ней!.. Звезды плывут, перемещаются в небе, голова моя тяжелеет, как мукомольный камень водяной мельницы, и под утро я засыпаю...

...Вот оно, наконец... Она ловким движением завязала свой фартук, набитый хлопком, взвалила его на спину и пошла вдоль грядок к хирману, прямехонько в мою сторону. Я просто физически чувствую на своих плечах Ее груз. Ну почему, почему Она должна поднимать тяжести?! Как несправедлива жизнь и как страшно, что я не смогу уберечь Ее от всех тяжестей, которые выпадут в жизни на Ее долю...

Идет в мою сторону смуглая черноокая богиня в ситцевом платье. Это Она обрекла меня на бесконечные страдания, и никто, кроме Нее самой, не в силах освободить меня от этих мук. Она приближается, а я таю, словно горстка последнего снега под теплым весенним дождем. Я даже не могу сглотнуть слюну, глубоко вздохнуть, у меня противно подрагивают колени. Я вцепился обеими руками в борт прицепа, чтобы взять себя в руки, но ничего не помогает. В знойном воздухе лица

сборщиков расплываются перед моими глазами, я вижу отчетливо только Ее милое лицо с чуть насмешливым взглядом черных глаз...

Между тем сборщики уже взвесили на весах собранный хлопок. Один за другим они подходят к прицепу, чтобы освободить фартуки.

— Тяни же! Ты что, не завтракал сегодня?

— Это тебе не институт! Тоже мне — джигит!

— Бедняга, а может, он получил солнечный удар? Смотрите, он вот-вот упадет!

Меня не трогают насмешки девушек. Лишь бы Она не услышала их. Она подходит все ближе к хирману и, несмотря на тяжелый груз на плечах, улыбается, кончики губ подрагивают чуть-чуть, лукаво и нежно. Вот так когда-нибудь от взгляда на Нее у меня остановится сердце.

Она сбросила фартук на весы, сняла с головы платок, оберегающий голову от зноя, и небрежным движением повязала его на шею. Какая у нее стройная шея и как красиво посажена на эту шею маленькая гордая головка.

Сердце мое колотилось, будто в груди кто-то молотил толокну тяжелым пестиком. И вдруг я почувствовал прилив сил. Стал хватать фартуки с хлопком — а каждый килограммов по двадцать пять! — и легко швырять их в прицеп. Вот и Ее фартук. Она протягивает его мне, и Ее тонкие загорелые руки подрагивают от напряжения.

Я перегнулся вниз, через борт прицепа, чтобы скорее выхватить у Нее тяжелый груз, и тут наши взгляды встретились. Ох, что это был за взгляд! Сколько сердечности и лукавства одновременно в этих родных глазах!

Я чуть не свалился на землю вместе с Ее фартуком. Чудом удержался и, обхватив руками фартук, как какое-то сокровище, рухнул на дно прицепа, в мягкий хлопок.

Не знаю, сколько времени я лежал так, словно парализованный, обнимая Ее фартук и вдыхая ввевшийся в грубую матерю смешанный запах пота и духов. Очнулся от требовательных окриков снизу. Сборщики торопили меня, чтобы скорее возвращал освободившиеся фартуки.

Я разом скинул все их на землю. Только Ее фартук оставил.

Она протянула руки, тряхнула насмешливо головкой и, легко поймав фартук, отошла к подругам. Я видел, как беззаботно Она взяла у одной из них кружку с водой и приникла губами к краю.

Эй, девушка, утоляющая жажду! Знаешь ли ты, что днем и ночью я думаю о тебе? Божество мое, в застиранном платье — все мое счастье и все мои несчастья в тебе одной. Ни о чем ты не подозреваешь. Вот, утолив жажду, спокойная и счастливая, ты бредешь по хлопковым грядкам. А кто утолит мою жажду? Ни полноводные реки, ни вечные ледники Ойкора — пока я жив, буду мучиться жаждой неутоленной!

Девушки, болтая и посмеиваясь, разбрелись по грядкам.

Хирман опустел. Я стою на прицепе, молча смотрю за мерными движениями Ее рук, и на глаза мои вдруг наворачиваются слезы. Я вытираю их клочком белоснежного хлопка, пахнущего солнцем и свежестью.

И в этот момент какая-то сила словно хватает меня за шиворот, сбрасывает с прицепа на землю и тащит прямо к Ней. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я скажу ей: «Здравствуй! Это я! Я твой друг, настоящий и близкий. Хочешь, буду рядом с тобой, чтобы фартук быстрее наполнялся пушистым хлопком?»

Какая-то невероятная сила гнала меня к Ней, и я шел и шел, не глядя под ноги.

— Эй ты! Спятил, что ли? Топчешь хлопок! — кричал мне Нигматулла-ака.

Но я даже не оглянулся на него. Я шел в сторону солнца, поэтому был ослеплен и ничего не видел. Меня палили его беспощадные лучи, и сам я пылал в них и плавился.

Нас друг от друга отделяло лишь несколько шагов. Подруги Ее обогнали и ушли вперед. Я никогда еще не видел Ее так близко. Она подняла голову и замерла.

Несколько секунд мы глядели друг на друга. Вот на губах Ее появилась робкая улыбка, а глаза смотрели совсем не насмешливо, а с радостным испугом. Я видел — Она не знала, куда девать свои руки. Я просто не мог отвести взгляда от Ее лица. Сейчас я скажу те самые слова... Сейчас...

А сердце колотилось в груди: бух-бух! бух-бух! бух-бух...

ДУСТМУРАД-БОБО

В душе каждого человека находится миниатюрный портрет его народа.

Фрейтаг

Эргаш не отступался. Иначе мы не коснулись бы этого дела. Да по-своему мы и не считали, что это преступление или воровство. Ватагой кишлачных ребятишек, с лицами, перепачканными пылью, если не два, то по крайней мере один раз в день мы крали фрукты, чтобы наесться досыта. Никто за это с нас серьезно не спрашивал, поскольку садов в кишлаке было предостаточно, и я уже перестал верить рассказам бабушки об ангелах, которые на протяжении всей жизни человека отмечают на его правом плече добрые дела, на левом — грешные.

В большинстве случаев мы обирали сад моего родного дяди Бахрама-бобо. Сад рос на неровной местности, поэтому его было очень удобно грабить. Кроме того, если попадались, Бахрам-бобо всегда прощал. У этого человека что ни попроси — даст. Однако есть краденое — удовольствие совсем иное. Наш предводитель Эргаш называет это «собственностью, добытой честным трудом».

На сей раз традиция была нарушена. Сбил нас с пути этот черномазый Эргаш, у которого голова обтянута тонкой кожей и при ухмылке вздуваются ноздри.

— Надо успеть к Дустмураду-бобо. Не то он пораздаст свои дыни каждому прохожему и ничего не останется, — сказал он приказным тоном.

Мы все поневоле боялись Эргаша: он был старше каждого из нас и с кем бы ни подрался — был уверен в своей победе. Он был очень расчетлив, особенно в своих делах. Какую бы проделку он ни задумывал, никто и не догадывался, что все выйдет в его пользу. Он всегда выходил сухим из воды. Я стал его ненавидеть. Особенно с тех пор, как он пробил мне голову в драке. Откровенно говоря, я переносил его скрепя зубами из-за того, что не мог пересилить. Иначе я ему показал бы где раки зимуют. На какую бы проделку он нас ни подбивал, устраивал это с таким расчетом, что, в сущности, даже те, кто пострадал по его вине, ни в чем не разобравшись, хвалили Эргаша.

Посеяв дыни на Уртакыре, сапожник Дустмурад-

бобо перебирался туда вместе со своей мастерской, чтобы охранять бахчу. Это повторялось из года в год. Когда талая вода со снежной горы Ойкор увлажняла землю, покой покидал Дустмурада-бобо. Под щебетанье воробьев, возвещавшее о наступлении теплой весны, он садился на белого осла с округлыми боками и отправлялся в гору. Хотя осел бежал быстро и бодро, старик, по своему обыкновению, подгонял его ногами. Он никогда не хлестал его плеткой. Как только старик появлялся в дверях, осел уже знал, в какую сторону ехать. Он был единственной привязанностью старика, поэтому тот прятал плетку в голенище сапога или под седло.

Хоть и сажал он дыни каждый год на одном и том же месте, не ленился потратить неделю на осмотр всей горы. Взяв горсть влажной земли, он жадно вдыхал ее аромат. С тоской и грустью пристально смотрел вдаль, насколько хватало глаз, туда, где курлычут журавли. В такие минуты он полностью отключался от внешнего мира. Выражение его лица часто менялось, вздыхая, он что-то бормотал. Но что именно — не запоминал. «Журавли летят низко, кажется, сели на Галяхирман — значит, год будет хорошим. Земля уже вызрела», — говорил он, кивая головой в подтверждение своих мыслей. Затем просил совхозного тракториста, работавшего на окрестных полях, за несколько рублей распахать свой участок. Хоть он и предлагал деньги, но ни один из трактористов их не брал. «Ладно, тогда придешь летом на сбор урожая, возьмешь столько дынь, сколько сможешь унести. А хочешь, башмаки сработаю, хорошая кожа есть, из Самарканда привез», — говорил старик с благодарностью. Потом отправлялся к усатому Шадманкуларбакешу с молочнотоварной фермы, просил у него лошадей. Приладив к упряжке старенький нехитрый инструмент, начинал бороновать ошетилившуюся землю. Посадит на борону двоих-троих ребятишек, а сам подгоняет лошадей. Добрый приятный голос старика сливался с веселым криком ребят и будил у человека в душе радостные чувства. Подолгу и с любовью разглядывал он ровную как ладонь землю, источавшую приятный аромат. В ближайшей школе кишлака отпрашивал у учителя двух-трех смышленных ребятишек для подмоги. И самолично руководил работой по разбивке грядок, которые выкладывал словно вышивал узор. Он настолько увлекал ребят, что они работали с радостью. Сколько лет он вел хозяйство, но никто ни разу не видел,

чтобы Дустмурад-бобо продавал дыни на базаре. Не успевали наклонуться на ростках дынь первые листочки, как он уже покидал свой глинобитный домик и переселялся на край бахчи. С большим старанием и охотой ровно за неделю мастерил из хвороста шалаш. Он настолько увлекался этой работой, что даже мог не заметить человека, внезапно подошедшего к нему сзади. Довольный своей работой, взбирался наверх и устало садился. Высыпав на ладонь щепотку наса, начинал усердно разминать его. Положив порошок под язык, подолгу сидел довольный. Безмолвно уставившись в самую даль, мог сидеть до тех пор, пока кто-нибудь не отвлечет его.

— Если не присмотрю, то эти проклятые дикие кабаны сровняют с землей стебли дынь. Хорошо, что у меня есть ружье, время от времени отпугиваю. А не то даже не побоятся они встать перед глазами. Это все же дикие животные. По цветению можно судить, что урожай в этом году будет хороший. Третью участка я засеял богарными арбузами,— каждый год рассказывает старик всякому, кто поднимается на Уртакыр. — Засеял бы больше, но уже состарился. Да и глаза тоже видят неважно. Вот до войны, бывало, вспахивал землю сохой аж до самого Коккутана и засеял семенами. Э-э, что и вспоминать про то время,— добавлял старик с грустью и в то же время со сладким вздохом, не отрывая глаз от гор.

— Да вы и сейчас крепкий, Дустмурад-бобо. Еще немного постараться — и до Коккутана дынь насеете,— говорит собеседник, чтобы успокоить старика и продолжить разговор.

— Правильно говоришь, на следующий год и вон ту поляну засеять бы. Вот это земляца! Раньше там было кишлачное пастбище. Почва удобрена. Такие дыни вырастут, что не обхватишь,— наслаждался старик, с вожделением поглядывая на поляну, приложив руку ко лбу.— И в этом году я собирался больше земли вспахать, но тракторист, сын Хамида-болтуна из Калтытая, не согласился. «Будет, старик, капиталистом становишься»,— укорил меня, чудак. «Ерунду говоришь, это твой дед был кулаком, я хорошо знаю», — сказал я. Вот ты очень умный парень. Скажи сам: вспахать и засеять часть свободной земли — это что, капиталистом станешь? Конечно, нет...

— Ну, правильно, Дустмурад-бобо. Но скажите-ка,

у кого в кишлаке столько земли имеется? — говорит он в шутку, поддевая старика.

— Ты тоже недостойный парень, — лицо старика меняется.— Думал, ты хороший парень... Твой покойный дед тоже был таким же уклончивым человеком. Ты весь в деда... У тебя еще молоко на губах не обсохло. Мы рядом с Прунзе сражались в гражданскую, э-хе-хе.

— Я пошутил, Дустмурад-бобо! Вы же из тех, кто разгромил баев в кишлаке! Я хотел испытать вас,— сразу пасует собеседник.

— А к чему меня испытывать? Хотя я и не убивал ни одну божью тварь, но вместе с полками Прунзе дошел до Памира,— сказал он, сразу сосредоточившись.— Сам Прунзе со мной два раза здоровался. Правда, нас было трое или четверо. Мы набирали воду из колодца, поили лошадей. Он подошел и попросил: «Напите и моего коня». Мы не отказали. Потом, как и мы, он сам поднял ведро и напился воды. По-узбекски сказал: «Рахмат». Здорово знал узбекский. Что может быть добрее, чем дать воды кому-то в этом мире? Когда человек пьет воду, даже змея его не тронет.

Итак, в конце концов мы должны были грабить бахчу Дустмурада-бобо, наивного, как ребенок, который мог поверить и тому, что у тетушки Чинны петух снес яйцо.

Полдень. Солнце, зашедшее в зенит, раскалило каменные ущелья гор. Стадо отдыхает в тени скал, пастуха не видно. Может, он отправился утолить жажду к Дустмураду-бобо. Или лежит, похрапывая, в тени арчи. Со стороны гор ни ветерка. Слышится только журчание сая, которое старается перекрыть осел.

От зноя еще громче застрекотали насекомые, особенно те, которые появляются в самую жару и беспрерывно свиристыя: «Дзи-лай, дзи-лай».

«Из-за них наш кишлак и прозвали «Делай-делай». Они как бы поторапливают людей в работе: готовь сани летом, говорят. Поэтому нам следует трудиться хорошо»,— говорил отец, когда мы собирали верблюжью колючку.

По извилистой тропинке друг за другом мы шли на Уртакыр. Впереди, сопя и прижимаясь к земле, продвигался Эргаш-пройдоха (это мы его так между собой называли,— если услышит, три шкуры сдерет), за ним следовал я, оберегая ногу, которую занозил несколько дней тому назад. Остальные ребята шли гуськом, не подавая голосов: каждый боялся лезть на бахчу и по-

глядывал на главаря Эргаша. Наконец, после долгого неприятного молчания, Эргаш заговорил:

— На бахчу полезешь ты, ты знаком с Дустмурад-бобо, хорошо знаешь бахчу,— сказал он, когда мы приближались к шалашу.

— Почему должен лезть я? — еле переводя дыхание, сердито посмотрел я на Эргаша.— Какая связь между знакомством и воровством?

— Тогда иди-ка ты спокойненько к себе домой и держись там за мамину юбку,— сказал он, продолжая идти, не оглядываясь на меня.

Мне стало еще обиднее. Какой у него язвительный язык — ты ему слово, а он тебе десять. Наверное, когда он был младенцем, мать давала ему не грудь, а стручок перца. Хотелось сказать ему что-то обидное, опозорить его, но я ничего не смог сказать. Да и время было неподходящее. Мы уже почти дошли до шалаша Дустмурада-бобо, сделанного из хвороста, вход которого был обращен на восток.

— Кто полезет на бахчу? — обернувшись, спросил Эргаш спокойным тоном, будто между нами ничего и не произошло.

Никто не откликнулся. Похожие один на другого, с загоревшими и потрескавшимися от солнца лицами, понуро стояли на месте ребята. Каждый старался спрятаться за спину друга.

— Я пойду! — сказал я против своей воли, как бы желая отомстить подлому Эргашу этой своей дурной отвагой.

— Хорошо,— сказал Эргаш, слегка изменившись в лице.— Ты будешь срывать дыни и по арыкам между грядок перекачивать нам. Если понадобится помощь, пойдет Бабакул. Ну, пошли,— сказал он, будучи уверенным, что его слова будут выполнены на все сто.

Он все равно знал, что я полезу на бахчу. Но, подавая вида, нарочно напустил на себя серьезность и приказывал мне. Еле волоча ноги, я направился к бахче. Из всех ребят Дустмурад-бобо любил больше всего меня. Если я ему нужен был для чего-то, он специально приходил к нам, отпрашивал меня у мамы и приводил к себе. Искренне желая обрадовать меня, он угощал из своих запасов орехами и кишмишом. Я же при отлучках Дустмурада-бобо тоже зорко охранял бахчу, взяв ружье, которое было подвешено под потолком шалаша, хотя он всегда предупреждал, чтобы я не дотра-

гивался до него. Конечно, это было завидно всем ребятам, и в первую очередь Эргашу. Однажды он даже обманул Дустмурада-бобо, сказав: «Рахманберды стрелял из ружья». Вот и сегодня, когда он мне сказал: «На бахчу полезешь ты», — наверняка рассчитывал, что из-за этого я потеряю уважение старика. Ведь можно же было со мной отправить еще кого-нибудь. Об этом я подумал, когда уже подошел к бахче. Возвратиться?.. Нет. Потом никуда не денешься от ребят во главе с Эргашем-пройдохой. Ненавидя себя, забрался на бахчу, где ароматно пахли хандаляшки. Со стороны шалаша доносился стук молотка: это Дустмурад-бобо вбивал гвозди в подошвы башмаков. Значит, он один; если бы кто-нибудь был рядом, он бы не работал.

Растерявшись, второпях я начал срывать дыни. По арычку между грядок откатил уже четвертую. Вдруг постукивание молотка прекратилось. Душа ушла в пятки. Не зная, что делать, присел на месте. В эту минуту, отряхивая выгоревшую от солнца рубашку, из шалаша вышел Дустмурад-бобо. Тараща глаза на шалаш, не зная, куда деть руки, я пригнулся к самой грядке. Дустмурад-бобо, как обычно, осматривал бахчу, приложив руку ко лбу.

— Кто там? — через некоторое время спросил он грубым голосом.

«Это я, Рахманберды», — хотелось вскочить и крикнуть мне, но голос осекся. Еле-еле, ворочаясь на месте, распахнул ногами дыни по грядкам.

— Ты что сидишь на солнцепеке, иди в тень, — сказал Дустмурад-бобо, развернув и заново накручивая чалму.

Я молча поплелся к шалашу.

— Как, это ты, Рахманберды? Иди-иди, сыночек, хорошо, что пришел. Я как раз скучал в одиночестве. Все время делать одно и то же — растягивать кожу — поясница застынет. Если прекратить эту работу, нечем будет заняться, а я так не могу. Жизнь — в движении.

Я молча замер перед дедушкой. От стыда и страха у меня поджилки тряслись, и, чтобы он не заметил это, я переминался с ноги на ногу.

— Матушка, бедняжка, жива-здорова ли? Давненько ее не видел. Раньше встречал ее, когда она выгоняла коз в общее стадо. Соскучился. В детстве мы выходили в поле Заркомар на праздник урожая дынь. Матушка твоя трудолюбивая была, но никого близко к себе не

подпускала. Красивая была... Мы все на нее заглядывались. Один ее взгляд чего стоил. Но так уж устроен мир, что старимся на глазах друг у друга. Человек всегда чего-то ждет. Но чего именно — и сам не знает. Теперь все принадлежит вам. Дай-то бог мне умереть, не дожив до дряхлости, чтобы не стать кому-нибудь обузой. Пусть человек уходит на тот свет, пока не превратится в жалкое посмешище для других..

Пока Дустмурад-бобо говорил все это, даже не спросив, зачем я явился на бахчу, я пришел в себя и слушал его с увлечением. Если бы он спросил, я бы не нашелся что ответить. Главное, его не обманешь. Почему это так, сам удивляюсь. Чувствует ли он, что его обманывают, не скажешь, но говорить неправду, глядя ему в глаза, невозможно. Я его очень хорошо знаю. Если его слушать внимательно и молча кивать головой, то лучше тебя человека нет. Он не любит, когда много расспрашиваешь. За то, что ты молча его выслушивал, в конце беседы он обязательно похвалит не только тебя, твоих родителей, но и всю-всю родню. Кому же не нравится слушать похвалы своим предкам?

Дустмурад-бобо и словом не обмолвился о том, зачем я пришел сюда и прятался на бахче, вдалеке от шалаша, у сая. От этого мне стало совсем неловко, и я ругал самого себя.

Я забыл про Эргаша и ребят. Сейчас мне даже и не хотелось их видеть. Они, наверное, давно ушли к саю и едят там дыни. Или же со злорадством наблюдают, как я тут обмишулился. Чтобы избавиться от них, я долго сидел у Дустмурада-бобо. Вместе заварили и пили чай.

— Хорошо, что пришел. Я очень тебя люблю. Я и сам собирался передать через кого-нибудь твоей матушке: «Пусть Рахманберды приедет верхом и заберет пять-шесть дынь и арбузов». Скоро они кончатся. Пока есть, надо кушать. Богарные дыни и арбузы целебны.

— Мы тоже у себя на участке посадили дыни,— произнес я, не зная, что сказать.

— Здесь совсем другие дыни, сынок. Спустись к саю и приведи моего осла. Я его привязал веревкой на той стороне сая. Много дней на нем уже не езжу. Хурджун в шалаше. А я пока принесу тебе дыни, которые прятал под стеблями.

Дустмурад-бобо дважды не повторяет. Может обидеться, точно маленький ребенок. Когда я спустился

к саю, ребята давным-давно ушли в кишлак. А белый осел дедушки дремал, уткнувшись мордой в землю, и отгонял мух, притопывая задними ногами. Вдвоем мы сложили с десятка дынь в хурджун и навьючили груз на осла. Дустмурад-бобо помог мне сесть верхом.

— Вот эти две возьми в руки. Скажешь матушке: «Дустмурад-бобо специально для вас сохранил их». Передай от меня большой привет. Скажи обязательно, что Дустмурад-бобо привет передал, — несколько раз повторил старик.— Завтра утром, когда будете выгонять коров в стадо, пригонишь ко мне осла. Мне тут еще немного дынь и арбузов осталось посрывать. Они утоляют жажду прохожих...

Осел трусцой бежал в родной кишлак. Невольно вздыхая, я расплакался, сам не зная почему. Но одно я усвоил твердо, и жизнь не раз подтверждала это: к сожалению, мы оцениваем настоящих людей только после их смерти. Я плакал от собственной слепоты. Ведь спустя несколько лет не будет Дустмурада-бобо, которого я любил, как родную гору Ойкор. Никто тогда не посадит дыни на Уртакыре. Я плакал потому, что нас ожидает счастье и разлука, преданность и измена.

Поднявшись на Яссиқыр, я оглянулся. Дустмурад-бобо выходил с бахчи, держа полную пазуху дынь и арбузов.

В НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ

Лежу около стога соломы и гляжу в небо. Наблюдаю, как всходит луна. У нее есть и нос, и глаза, и губы. Красивая. Она напоминает мне Ойбуви-апу, которая училась в одном классе с моей старшей сестрой. В Ойбуви-апу я был влюблен. Я часто просил сестру, чтобы она привела подругу к нам. Знали бы вы, как радовался я ее приходу. Она целовала меня в щеку, легонько обняв, от нее веяло нежным запахом гвоздики...

Рядом зашуршала солома. Это заворочался Марданкул-бобо, перевернулся на спину. Его грустные глаза устремлены в небо. Луна ярко освещает его почерневшее от солнца морщинистое лицо. Губы старика еле приметно шевелятся, словно он читает про себя молитву. Душно, хотя и ночь сейчас. Из-под его слегка съехавшей набок чалмы стекают капельки пота. Дышит неровно, словно чем-то сильно взволнован.

С края поля доносились приглушенные расстоянием голоса. Я приподнялся и посмотрел в ту сторону. Там скирдовальщики, сноровисто орудуя вилами, возводили еще один стог. Когда же они наконец разойдутся?..

Я снова откинулся на спину. Почему-то перед глазами возникла Майрам-момо. С какой стати? Ладно, Ойбуви-апа — красавица из красавиц, по которой многие джигиты в нашем селении вздыхают, а старушка Майрам-момо при чем?.. Она днями сидит на супе, глиняном возвышении, сооруженном под шелковицей в ее опустевшем дворе, и крутит неустанно урчук*.

Я ясно представил ее худое, словно сушеное яблоко, лицо. Но не годы высушили лицо этой женщины, а горе. Человек, оказывается, может перенести все. Когда на фронте один за другим погибли трое ее сыновей, все думали, что не вынесет этого Майрам-момо, — или умрет с горя, или умом тронется. А она вынесла. Правда, слегла и больше месяца не могла подняться с постели. Людей, что за ней ухаживали, не узнавала, а иногда их вовсе не видела. На какое-то время ослепли ее глаза. Лишь спустя месяц она стала с людьми разговаривать, ходить по комнате. А однажды попросила соседей, чтобы они принесли ей шерсть. Те выполнили просьбу. И Майрам-момо стала прясть, вязать. Не для себя. Для людей. Работа облегчила ей душу, помогала хоть на короткое время забывать о горе.

А я сколько ни тружусь — не могу забыть Ойбуви-апу, как ни устану — не могу уснуть.

Когда заканчивается уборка ячменя, для нас, сельских мальчишек, начинаются самые напряженные дни. Мы возим домой саман — измельченную солому. В распоряжении каждого из нас ослик и канар — огромный мешок. Саман нужен и для того, чтобы подмешивать в глину, которой заливают каждую осень крышу, и в корм на зиму для скота...

Естественно, солома эта охраняется. И тут все зависит от твоей ловкости, от умения увертываться от сторожей. Легко лишь тем мальчишкам, отцы которых подкупают сторожей какими-то двумя-тремя рублями. Они действуют без боязни, и сторожа делают вид, будто их не замечают.

Заготовка соломы — работа кропотливая. Она начинается с наступлением темноты...

* Урчук — веретено.

А попадешь в руки сторожа — заберет твой канар, да еще и уши надерет как следует. Правда, сторожа могут лишь помешать. Но ни один из них не в силах остановить «заготовку». Ибо без запаса самана нельзя представить жизнь в нашем кишлаке.

Едва скирдовальщники уже потемну расходятся по домам, на поле делают набег «заготовители». Каждый в одиночку. И при этом мечтают о том, чтобы сегодня не вышел «на заготовку» сосед. Потому что, когда на поле является не слишком много людей, то и сторож бывает не очень придирчивым, закрывает иной раз глаза. Правда, не Рахмат-караул. Этот всегда беспощаден. Неумолим. Люди, заметив его издали, шарахаются в разные стороны, кто к саю, кто в овраг. Бегут, ползут, прячутся.

Я не люблю по ночам ходить в поле. Боязно одному, всегда иду с кем-нибудь. На этот раз моим спутником оказался Марданкул-бобо. Мы, несмотря на разницу в возрасте, с ним крепко сдружились. Как-то я помог ему полить огород. Воду у нас непросто получить. Мираб втрдорога сдирает с каждого. А я так ловко все подстроил, что мираб даже ничего не заметил. С тех пор бобо и полюбил меня. Теперь он везде, где только можно, хвалит меня перед людьми.

Марданкул-бобо от природы общительный, любит поговорить. Мне кажется, и ему надоело ездить на поля одному, вот он и позвал меня с собой. Он очень обрадовался тому, что я согласился стать его попутчиком. Мы ехали на своих осликах рядом, и он рассказывал мне о том, как Рахмат-караул дважды забирал у него канар, хотел разорвать в клочья, да не посмел. Отдал управляющему. Пришлось утром идти к управляющему, просить, унижаться, чтобы вернул канары...

Когда мы приблизились к полю, со стороны гор показались две легковые машины. Они остановились около скирдовальщиков.

— Руководство пожаловало. Придется подождать, — сказал бобо, остановив ослика. — Они долго не задержатся. Их дело посмотреть, поболтать языком, и все...

Мы повернули осликов в сторону и спустились к саю. Тут спешили. Привязали животных. Они тут же принялись с удовольствием щипать траву. А мы, постелив канары на солому, прилегли.

Теперь беседа у нас не клеилась, ибо оба мы дума-

ли о том, как быстрее заполнить канары и скорее благополучно смыться.

А руководство почему-то задерживалось. Временами доносился чей-то резковатый голос. Кто-то кого-то отчитывал.

— Видно, кто-то испортил их кутеж в горах, вот и срывают на ком-то зло, — сказал Марданкул-бобо.

Ничего не поделаешь, надо набраться терпения. Лежу на спине, наблюдаю за облаками. Те, что ближе к луне, кажутся серебряными, а те, что подалее, черные, сливаются с горами.

Неумолчно стрекочут кузнечики. Рокошет сай. Как раз над вершиной Ворот Темурленга висит круглая луна. Легко раздвигая ватные облака, она поднимается все выше и выше над горами. Светло как днем.

Перед глазами возникла Ойбуви-апа. У нее тонкие, подведенные усьмой брови, похожие на крылья ласточки. Я всегда украдкой любовался ею. Мне нравится ее улыбка. А когда смеялась, она застенчиво прикрывала нежные алые губы ладошкой... Когда во дворе у Ойбуви играли пышную свадьбу, я взобрался на крышу, чтобы меня никто не видел, и горько плакал. Тогда мне казалось, что не дойра так звучно гремит, а это вбивают в мое сердце бесчисленные гвозди...

— И тогда стояла такая же ночь. Оставалось несколько дней до полнолуния, — тихо, почти шепотом заговорил Марданкул-бобо, а я вздрогнул от его голоса. — Я никому еще не рассказывал об этой истории. Не мог. Совесть мучила. А тебе, пожалуй, расскажу. Потому что ты чист, как эта луна, как эти облака, этот черный сай. Да, нас, стариков, понимают только дети. Я расскажу тебе то, что годами прятал в самом глубоком тайнике своего сердца. Быть может, это облегчит хоть сколько-нибудь мою душу. — Он глубоко вздохнул и после некоторой паузы продолжал: — Случилось это после Курского сражения. Помню, как осколки, словно свора бешеных собак, впились мне в ноги и живот... Очнулся, когда меня сильно встряхнули. Лежу в кузове машины, меня куда-то везут. Рядом со мной кто-то холодный и твердый, как бревно. Привалился ко мне и не шевелится. Пригляделся — мертвец. Хотел от него отодвинуться — и опять потерял сознание... Пришел в себя в длинной высокой комнате. В окно видны пожелтевшие листья березы, а вдали — зеленое поле... В комнате еще несколько раненых...

Вошла медсестра.

«Ваша фамилия Рахманкулов?» — спрашивает.

«Да», — отвечаю.

«Вы просто молодец. Мы удивились вашей стойкости».

Ну, думаю, дела мои плохи, коль она хочет утешить меня. Голова просто раскаляется, в ушах гул.

Медсестра сделала всем нам уколы. Затем всем раздала по куску хлеба и стакану молока. Всем, кроме меня. Сказала, что меня ждет операция и я не должен есть.

«Какое вкусное молоко», — заметил кто-то.

«Это подарок здешнего колхоза. Колхозники взяли шефство над нашим госпиталем. Бедные, сами едва сводят концы с концами, а нам отдают последнее», — сказала медсестра.

Когда она вышла, в палате воцарилась тишина. Вдруг мне почудилось, что я схожу с ума. Я, наверное, уже несколько дней не ел — поэтому мне стали мерещиться наши тандырные, наши румяные, с пылу с жару лепешки. Я даже почувствовал их запах... Зажмурился — все равно вижу лепешки, то сложенные аккуратно стопкой, то разложенные, как на выставке, то на куски разломанные на ярком дастархане. Чтобы хоть как-то отвлечься, я повернулся к соседу, молодому бойцу, и говорю:

«Слушай, браток, давай знакомиться. Как тебя зовут?»

«Коля», — отвечает он еле слышно.

«А я Миша», — представился я.

Он кивнул. И на этом прервалась наша беседа. Я посмотрел в окно. Уже сгустились сумерки. Я закрыл глаза, пытаюсь заснуть. Но под ложечкой больно сосало от голода. И мне опять стали мерещиться золотистые лепешки с хрустящей корочкой. Их запах — так они пахнут, когда горячие, — просто сводил с ума. Я приподнял голову и стал оглядываться, стараясь определить, откуда этот запах.

А на тумбочке у Коли лежал оставленный медсестрой кусок хлеба. Я с жадностью втягивал в себя воздух и не мог оторвать от него взгляда. Наконец пересилил себя и отвернулся, засунув голову под подушку. А Колин хлеб так и стоял перед глазами. Однако я старался не двигаться, думая, что так, может быть, усну. Но

ненадолго хватило моего терпения. Я снова обернулся к соседу.

«Коля, ты разве есть не хочешь?» — тихо спросил у него.

Он не ответил.

«Надо поесть, а то совсем ослабнешь».

Он опять промолчал.

«Знаешь, Коля, а мне очень хочется... хлеба. Хотя бы маленький кусочек».

Я думал, он сейчас скажет: «Отлони от моего. Я почему-то не хочу».

Но он упорно молчал. Я подождал — и опять:

«Коля, если ты разрешишь, я отломлю кусочек...»

И, не дождавшись его разрешения, как хищник набросился на его хлеб. Руки у меня дрожали, и хлеб крошился на пол... Я, почти не жуя, проглотил полкуска. Другую половину положил на тумбочку, но, едва стало пусто во рту, снова схватил ее.

«Коленька, я съел твой хлеб. Извини меня», — сказал я упавшим голосом и, откинувшись на подушку, закрыл глаза. Но тут, почувяв что-то неладное, я опять приподнялся на локте и посмотрел на Колю. Прямо в окно смотрела круглая луна. Его лицо было голубовато, глаза полуоткрыты, тускло мерцали неподвижные зрачки.

«Коля-а!» — заорал я ненственным голосом. — Прости меня, Коля-а! Я виноват! Если бы я не съел твой хлеб, ты не умер бы! Коля! Коленька!»

Я плакал, бил себя по голове кулаками и проклинал самого себя за жадность.

Раненые проснулись. В палату вбежали медсестра и врач.

Я сбросил с себя одеяло и рванул к Коле. Но тут же рухнул на пол.

Сестра и врач подняли меня, с трудом уложили на место и принялись успокаивать. А я все не мог унять слез и повторял одно и то же: «Я съел его долю».

Колю унесли на носилках. На его койке лежала ослепительно белая подушка. Мне смотреть на нее было больно. Резало в глазах... А когда вспоминаю теперь — болит сердце. Никому я этого не рассказывал...

...Мы не заметили, когда уехали легковые машины. Около чернеющих невдалеке скирд уже не было ни одного человека. Мы взяли ослов под уздцы и направились в поле по шуршащей под ногами стерне, внимательно

вглядываясь в сумерки, моля лишь об одном — чтобы не появился сторож.

Марданкул-бобо что-то пробурчал себе под нос. Я только услышал: «Никому не рассказывай», — и переспросил:

— О чем?

— Как мы... саман... это самое...

ОБИДА

Абдурахман-ака знал, от кого исходят эти гнусные сплетни, хотя услышал разговоры через третье лицо. Осколки в груди и ноге, лишь изредка тревожившие его, на этот раз словно заворочались в теле. Он даже заскрежетал зубами и тихонько застонал, прикрыв глаза от боли и вспыхнувшей неукротимой ярости. Будь это на войне, он бы пристрелил как шакала, как последнего фашиста! Проклятые сплетни Агзама, вонючие, как насвай, которым он торгует, не давали жить Абдурахману-ака, поминутно приходили на ум и жалили старое сердце, будто и в нем поселился маленький тяжелый осколок.

Сам-то Агзам вернулся с фронта спустя два месяца после отправки с раненой рукой. Ох эти раны — нарочитые, с точным попаданием, будто кто долго целился в руку, и именно в правую, и именно в ладонь. Знаем мы эти раны, знаем этих смельчаков, неизвестно какими путями избежавших трибунала!

Так вот, этот Агзам и пустил слушок, будто Абдурахман и на фронте не был, и до Берлина не дошел, а всю войну «загорал» в Сибири, в рабочем батальоне... Слушок был пущен гадостно, вполголоса, в чайхане, когда после работы там собирается народ. Как известно, слово, оброненное в чайхане, через час уже слышно всему кишлаку.

Оскорбительней всего был главный довод Агзама.

— Если б Абдурахман был фронтовником, — сказал он, — то он получал бы пенсию, как я, например...

И вот этот-то довод тяжелым маленьким осколком ворочался в груди Абдурахмана-ака. Если б он вспомнил наконец название того города, где находился его госпиталь...

Это был последний госпиталь на его четырехлетнем военном пути к дому, к детям... Где же это было? В Бра-

шове?.. Бресте?.. Брянске?.. Он помнил только, что название начиналось с буквы «Б». В то время как-то не думалось о будущей пенсии, о старости. Какая там старость, когда каждая не распутившаяся еще почка пахла тогда тогда скорой победой, близким домом, дымом родного очага...

Все документы, подтверждающие его участие в войне, — справка того госпиталя и невзрачная, тускло напечатанная бумага, выданная воинской частью. Да и эти документы затерялись где-то. Помнится, в год, когда сыну Баходыру делали обрезание, он белил стены, перестилал полы, в доме стояла неразбериха, много чего запропастилось тогда, и эти бумаги тоже...

Тяжелые мысли совсем одолели Абдурахмана-ака. Хорошо, сосед, школьный учитель, посоветовал обратиться в районный собес, мол, там должны выдать все надлежащие документы и решить вопрос о пенсии. Отпросившись на день у бригадира, Абдурахман-ака поехал в собес.

Всю дорогу он смотрел в пыльное, давно не мытое окно автобуса и вспоминал... Грязная сплетня Агзама словно открыла некий шлюз в памяти Абдурахмана-ака, и то, что не вспоминалось годами, вдруг припомнилось, сначала смутно, потом ясней и ясней, обрастая забытыми деталями...

Откуда-то со дна памяти всплыло молодое веснушчатое лицо Володьки Шитова, фронтового друга, их проклятая, сырая, битая-перебитая осколками землянка, опьяняющий пар над котелками с горячей кашей, их разговоры о доме... Володька погиб в самом конце войны, в чешском городе Брно. Погиб нелепо, от дурной случайной пули, и лежит там, далеко от дома, от своей тихой Коломны... Подумать только, сколько лет он не вспоминал Володьку Шитова! А как их обоих трепала война... Теперь Володька покоится в далекой стороне, а он, бог даст, будет похоронен в земле отцов, на тихом сельском кладбище. И не встретиться им никогда, нет, не встретиться, даже и на том свете, ведь, поди, и в мире теней расстояния велики. Где Чехословакия, а где кишлак...

Абдурахман-ака так задумался, что чуть не пропустил своей остановки.

...В собесе тучная женщина с больными, перевитыми венами ногами, которые она вытягивала под столом, рассеянно выслушала его.

— Вам надо обратиться в военный комиссариат, дедуся, — сказала она. — Там выдадут бумагу, подтверждающую ваше участие в войне, а мы уж тогда будем решать.

Абдурахман-ака послушно покивал головой, стараясь не смотреть на ее удивительные, необыкновенной толщины ноги, и пошел к выходу.

— Обратитесь к парню по фамилии Петухов, шустрый такой, он ведаёт этими делами, — добавила вслед ему женщина.

Он представил себе, как ходит эта больная женщина, должно быть, грузно переваливаясь, страдая, морщась от боли... А может, эта боль ей уже привычна, вот он же почти не обращает внимания на нытье в груди, где сидит эта проклятая штука...

«Бедняга», — подумал он о женщине и вышел в маленький двор собеса, чисто выметенный, с круглой цветочной клумбой посередине...

В военный комиссариат он попал неудачно — в неприемный день.

— Покоя нет от этих людей, работать не дают! — нервно сказал тощий сутулый парень с бегающими глазами. — Вот видите, на русском языке написано: прием фронтовиков по пятницам. И basta!

— Я ведь издалека, сынок... — робко сказал Абдурахман-ака. — Я не знал...

— Ну так знайте!.. — отрезал парень, плотно закрывая дверь перед лицом Абдурахмана-ака.

Тяжело ступая по вздувшемуся кое-где серому линолеуму, Абдурахман-ака побрел назад. За спиной его открылась дверь.

— Эй, дед! — позвал парень. — Из какого вы, говорите, кишлака? Подойдите сюда.

— Из кишлака Усмат я, с гор! — торопливо проговорил Абдурахман-ака, подходя ближе. Он боялся, что этот парень со странно бегающими, словно высматривающими что-то по сторонам глазами раздумает выслушать его.

— Ну, что там у вас? — спросил парень.

Выслушав торопливую, захлебывающуюся речь старика, он кивнул, оглянулся по сторонам и, взяв Абдурахмана-ака за локоть, подвел его к окну.

— Мы пошлем запрос в часть, где вы служили, отец, словом, уладим ваше дело, — дружелюбно заговорил он, и взгляд его так и скакал по белой благообразной бо-

роде, по морщинистому лбу старика, по выцветшему поясному платку, обвязанному вокруг тюбетейки. — Но и у меня к вам есть просьба, отец...

— Говори, сынок, все что в моих силах...

— Понимаете, нужен... кабан... — осторожно продолжал парень. — Не с колхозной фермы, конечно, а как бы вам... ну, дикий кабан, одним словом.

— Но ведь охота на него запрещена, сынок...

— Ну и что! Бросьте, отец, что вы прикидываетесь! Один-единственный кабан, подумаешь! Мало их в горах, что ли... Толку-то от них, только воду в речках мутят...

— Что ни говори, сынок, государственное это имущество...

— Государство не обеднеет от потери одного вонючего кабана. А вот ваше дело, если его не двинуть вовремя по инстанциям, это дело проигрышное, отец...

Абдурахман-ака прерывисто вздохнул, вытер концом поясного платка пот со лба. Парень испытующе глядел на него, ждал.

— Ну так как, отец?

И Абдурахман-ака, мысленно проклиная себя, проклиная парня с его кабаном, проклиная Агзама и свою безалаберность, из-за которой бумаги утеряны и он терпит такое бесчестье, утвердительно кивнул.

Выйдя из военкомата, он постоял немного на улице, бессмысленно глядя на игру солнечных бликов сквозь листву молоденьких, недавно посаженных кленов, рванулся назад, чтобы разорвать уговор, но, одернув себя, тихо поплелся к остановке автобуса.

Всю дорогу он думал уже не о своей военной молодости, не о Володьке Шитове, лежащем в чужой стороне, а о проклятом кабане, о человеке Петухове, в липких бесчестных руках которого находилось его дело; о том, что если об их уговоре узнают люди, как Агзам,— пиши пропало, ославят на весь белый свет... И оттого, что голову его и сердце занимали теперь не пронзенные сладкой болью теплые и горькие воспоминания, а опасения и суетная боязнь новых сплетен, у Абдурахмана-ака на душе становилось все тяжелее и тяжелее...

...Из-за обильных дождей трава в этом году вымахала до пояса. С самого утра бригада косарей работала на Каттасае...

Припекало. Вспыхивали на солнце яркими бликами

отточенные лезвия серпов, жаркий густой воздух дрожал под высокими травами. В этом году в траве как никогда часто попадались змеи. Занятый своими тяжелыми мыслями, Абдурахман-ака нечаянно задел серпом ленивого золотисто-зеленого ужа.

«Что за удивительные существа эти змеи! — в сердцах подумал он. — Как нарочно, лезут под серп».

— Каба-ан! Ка-ба-ан!

Абдурахман-ака вздрогнул от этого крика, словно кто-то мог подслушать его мысли и объявить их во всеуслышание... Бросив серп, он поднялся на пригорок, где стоял уже Азиз, сын Бахрама-хромого, и, защищая ладонью глаза от солнца, показывал на заросли шиповника у ручья. Раздался выстрел...

Атамурад, приземистый, жилистый, с большой бритой головой, держа ружье в одной руке, другой широко размахивая, быстро бежал в сторону зарослей. Прежде он был зрителем в горах и, хотя уже пять лет как работал в колхозе, все не мог с ружьем расстаться, а главное — по-прежнему чувствовал себя зрителем, «хозяйном» гор. Потом Атамурад, покрикивая на лошадь, долго взваливал на нее тушу пристреленного кабана.

Абдурахман-ака совсем покой потерял. Этот убитый не им кабан был словно знаменем аллаха, он как бы зывал к Абдурахману-ака: «Что же ты ждешь? купи меня у Атамурада и отдай этому проклятому Петухову, и пусть он подавится куском моего мяса! Что делать, если твое правое дело не может решиться иначе!»

Туша убитого кабана преследовала его мысли весь день. К вечеру Абдурахман-ака наконец решился. Возвращаясь с поля, он свернул к дому Атамурада.

Этот двор, когда ни идешь мимо, всегда кишел детьми. У Атамурада их было не то тринадцать, не то четырнадцать. Абдурахман-ака наскреб по карманам несколько кусочков парварды с прилипшими крошками и ссыпал их в руки подбежавшему красивому мальчугану с большой, как у отца, головой.

— Спасибо, бабай! — воскликнул малыш.

— Расти джигитом. Как тебя зовут?

— Нарбута, бабай! — крикнул мальчуган, отбегая.

К нему уже сбегались братья и сестры, почуявшие, что он «разжился». Затеялась куча мала, послышался визг. Из дома вышел Атамурад. Абдурахман-ака отвел его в сторону и, не зная, как начать разговор, спросил

о здоровье детей, жены. Поговорили о нынешнем урожае хлопка, о том, что сена, хвала аллаху, в этом году хватит до лета...

— Что с этим собираешься делать? — наконец спросил Абдурахман-ака, кивая в сторону навеса, где на разбросанном охапками сене, укрытая куском брезента, лежала туша кабана.

— Шофер Рахим заберет, он обещал своему начальнику в районе.

— Слушай, Атамурад, — замялся Абдурахман-ака. — Ты знаешь, я всегда не любил эти... незаконные дела, но... если ты уже убил его... если дело свершилось. Словом, не мог бы ты продать его мне? Заплачу сколько скажешь.

— Да ведь я уже известил Рахима.

— Ну что же, а ты отговорись как-нибудь. Дело у меня такое... важное! Многое от этого кабана зависит, Атамурад...

— Мне все равно кому продавать, лишь бы деньги платили. Сам видишь, благодарение аллаху, какая орава у меня, — он обвел рукой двор. — Только уноси ты его скорее, пока Рахим не подъехал.

Не чуя под собой ног от радости, Абдурахман-ака поспешил к дому. Но в то время, как он, торопясь и волнуясь, отсчитывал десятки от пачки в заветном клетчатом носовом платке, к дому Атамурада подкатил автобус Рахима и через несколько минут уехал, увозя в своем железном брюхе тушу заветного, желанного, проклятого кабана...

...К зиме Абдурахмана-ака уже не так мучила история с неудавшейся покупкой кабана, и хотя, конечно, дело его о пенсии так и застряло где-то в глубинах делопроизводства военного комиссариата, он думал об этом даже с некоторым облегчением. «Не допустил аллах, — думал он, — чтобы я запачкал себя грязной сделкой, не пошло бы мне на пользу это несправедливое дело...»

Но, по мере того как история с кабаном забывалась, сплетни Агзама донимали Абдурахмана-ака по-прежнему. По-прежнему жгучая обида охватывала его, когда почтальон, разнося пенсию ветеранам, обходил его дом. По ночам все чаще снились тяжелые военные маршброски, размытые ливнями дороги, черные срубы колодцев под серым российским небом и молодое веснушчатое лицо Володьки Шитова, ясное и смешливое, словно

живой он и здоровый, и до конца войны еще далеко, и нет на свете никакого чешского города с коротким названием Брно... Он просыпался, долго глядел в темное окно, ожидая рассвета, кряхтел и ворочался с боку на бок.

В конце концов, по совету все того же соседа-учителя, Абдурахман-ака поехал во ВТЭК.

Председатель ВТЭКа — худошавый, гладко выбритый молодой еще человек в белом халате, — спокойно глядя в окно, слушал торопливую, горячую речь старика.

— Ну, хорошо, отец... — лениво отводя взгляд от окна и переводя его на Абдурахмана-ака, сказал он. — А документ у вас какой-нибудь имеется?

— Нет, сынок, к несчастью, все документы утеряны... Да ты только взгляни...

— К сожалению, отец, мы не имеем права, — перебил его председатель, беспокойно задвигавшись на стуле. Старик уже стал надоедать ему. — Без документов не имеем права... Много вас таких ходит сюда.

— Сынок, посмотри, сколько осколков во мне застряло!

— Куда посмотреть? — раздражаясь спросил врач. — Куда смотреть-то?! Документы нужны о ваших ранениях, документы из госпиталей, понятно?!

— Понятно, сынок, но ты же врач, взгляни, живого места...

— Сначала нужно оформить документы, я объясняю вам на узбекском языке! — крикнул врач, побагровев.

Абдурахман-ака поднялся: руки его дрожали, в груди застряло что-то неприятное, душашее.

— Можешь по-русски сказать, сынок, я и по-русски понимаю. Я по-русски четыре года воевал, когда ты еще под стол бегал!

И уже закрыв за собой дверь, он услышал вдогонку:

— Идите, жалуйтесь кому хотите! Подумать только, фронтовик, не фронтовик, подавай им всем пенсию!

...Прошло четыре года. Абдурахман-ака уже не работал в колхозе — пошаливало сердце, ухудшилось зрение. История с пенсией постепенно забывалась, и уже не жалила так старая обида. В прошлом году умер торговец насваем Агзам, да и Абдурахман-ака все чаще стал хаживать на кладбище, где лежали отцы и деды, где и себе он выбрал место — красивое, уютное, под большим платаном.

По дому работу он еще делал, дом ведь всегда за-

боты требует, — то печку растопит, то дувал* подправит. Так однажды за работой и впиалась в его сердце последняя в его жизни фронтовая пуля. Он так именно и подумал: «Последняя...» — уже не чувствуя, что падает, а только удивляясь этой неожиданной острой боли...

...Операцию надо было делать немедленно, близко к сердцу лежал осколок.

Когда Абдурахмана-ака положили на операционный стол, он пришел в сознание и открыл глаза. И хотя все расплывалось в тяжелом тумане, застилавшем его глаза, он все-таки узнал человека, склонившегося над ним, и тихонько застонал. В ушах его прозвучали слова, которые до сих пор ледяным пластом лежали на сердце: «Подумать только, фронтовик, не фронтовик, подавай им пенсию!..»

...После операции, когда больного уже унесли, хирург долго писал что-то в истории болезни, потом размашисто подписался.

— Черт знает что, — пробормотал он, щурясь и пытаясь разобрать собственную запись четырехлетней давности. — Смотри, Сергей, — позвал он ассистента. — Старика-то не признали за вояку, документов не было... Ну и врачи... Сапожники...

Он еще раз взглянул в запись, но до конца так и не разобрал свой почерк. Да и подпись его как-то изменилась за эти годы...

УСЛУГА

К концу июня жара усилилась. Дни стояли напряженные, рабочих рук не хватало, и бригадир Саидмурад-ака буквально разрывался между делами, не терпящими отлагательства. Как нарочно, в то же время заболела жена. И где она умудрилась простудиться, в такую-то жару. Это вечная ее привычка мыть голову во дворе, на самом ветру... Мехри-апа, случалось, и раньше болела, поэтому Саидмурад не придал большого значения ее жалобам. Думал, отлежится дня три — пройдет. Такое бывало часто... Но на этот раз болезнь жены затянулась.

Колхозный фельдшер приезжал к ним несколько раз

* Дувал — глиняный забор.

на своем стареньком мотоцикле, выслушивал Мехри-апу и только плечами пожимал.

Вечером в один из этих дней, когда вернувшийся с поля Саидмурад умывался во дворе, за дувалом послышалось тарахтенье фельдшерского мотоцикла. Открылась калитка, и во дворе появился фельдшер Махмуд, маленький кургузый человечек в тюбетейке на рыжих волосах. На этот раз он не вошел в дом, а, увидев у домохозяйки Саидмурада, направился прямо к нему.

— Наконец-то застал вас, Саидмурад-ака, — сказал он. — Третий раз сегодня заезжаю.

— Время сейчас такое, Мишаджан, ты сам же знаешь, — извиняющимся тоном произнес Саидмурад. — На части рвут.

— Время не время, а дело серьезное, — строго перебил его Миша. — Надо вам Мехри-апу в район везти.

Саидмурад так и застыл с полотенцем в руках. Мишино ли строгое лицо было тому причиной, или заплаканные утром глаза старшей дочери Надиры, только тяжелое предчувствие проникло в сердце Саидмурада, да так и осело в нем.

— Хорошо, Миша... хорошо, повезу... Отпрошусь завтра у директора и повезу...

Миша уехал на своем тарахтящем мотоцикле, а Саидмурад как был — голый по пояс и с полотенцем в руках — вошел в дом.

Мехри-апа тихонько постанывала. Возле нее сидели бледная с растрепанными косами Надира и средняя дочь Фатима. Обе что-то шили, и обе, как по команде, едва он вошел, молча подняли головы. Тут же играли с кубиками малыши — близнецы Хасан и Хусан, их опекала шестилетняя Дильнара... Саидмурад постоял, прислушиваясь к тихим стонам жены, невидящим взглядом посмотрел на детей и вышел...

Едва дождавшись утра, Саидмурад зашел к директору.

— Разрешите отлучиться на денек, товарищ директор, — попросил он, — жена заболела, фельдшер говорит — в район надо везти.

— Э-э, бросьте, Тимуров! — воскликнул директор. — Как горячая пора, так у всех у вас появляются причины не работать. У того сын в город едет, у того — дочь рождает, у этого жена больна... А мне за вас выговора в райкоме получать! Ничего не случится с вашей женой. Сначала выполните план по сдаче сена, рассчитайтесь

с государством, а потом везите вашу жену хоть в Москву! — он нервно бросил ручку на стол, откинулся в кресле.

Саидмурад молча вышел из кабинета.

Прежде чем проверить, как продвигается косьба клевера, он заглянул домой. Мехри-апа лежала в той же позе, что в последние дни, — на спине, закинув голову назад, словно желая вообще избавиться от нее, а значит, и от страшной боли, сжимающей виски, сверлящей затылок.

— Ну как, не лучше тебе? — тихо спросил он, наклонясь над женой. Как она исхудала за эти дни! Кожа на тонкой шее стала дряблой, морщинистой. — Закончим сегодня с соломой, — сказал он, чувствуя, как жалость к жене душит его, мешает говорить. — И сразу же поедем в район... Ты потерпи, а? Потерпишь?

Мехри-апа посмотрела на него, как будто издалека вглядываясь во что-то незнакомое, еле приметно кивнула...

В обеденный перерыв Саидмурад пришел к стану. Машинально взял миску с жидкой казенной шурпой, так же машинально принялся есть, не в состоянии думать сейчас ни о чем другом, кроме как о жене, о ее беспомощно закинутой голове, исхудавшей шее...

Вдали на дороге показался директорский газик, один вид которого обычно приводил людей в состояние столбняка. Саидмурад понял, что машина едет сюда неспроста. Она остановилась у самого навеса, где обедала бригада, и шофер, приоткрыв дверцу, не здороваясь, крикнул Саидмураду:

— Вас вызывает в контору председатель исполкома.

Саидмурад молча кивнул, продолжая машинально зачерпывать ложкой содержимое в миске и подносить ко рту.

— Со мной поедете, — добавил шофер.

— Поезжай, я на бортовой машине, — сказал Саидмурад. Ему не хотелось в спецовке садиться в директорский газик на сиденья, обтянутые красными чехлами, будто эти красные чехлы могли усугубить его тяжелое настроение.

Водитель вел грузовую машину за газиком, чуть приотстав, чтобы не наглопаться пыли.

— Никакого спасения от машин начальства, носятся как угорелые! — чертыхался шофер.

Саидмурад сидел рядом и думал, что, если затянет-

ся болезнь жены, придется вызвать из Джизака старших детей — Рахиму и Бахтияра, которые учатся в техникуме. Но, бог даст, обойдется... Завтра повезет он ее в район...

Во дворе конторы стояли председатель исполкома, директор, парторг и бригадиры. Ждали, по-видимому, только Саидмурада.

— Совесть у вас есть, Тимуров? — крикнул председатель исполкома, не дожидаясь, пока Саидмурад выберется из машины. — Почему уважаемые люди должны так долго вас ждать?

В другое время Саидмурад ответил бы, что не знает, к кому из родственников заезжал на плов шофер газика по пути в поле, но на сей раз промолчал.

— Всем вам известно, товарищи, что мы шефствуем над Зарбдарским районом, — обратился к собравшимся председатель райисполкома Хайдаров. — Пришло известие, что хлопок там зарос сорняками. Надо помочь. Мы составили график, каждая бригада в совхозе должна выделить двадцать человек.

Бригадиры молчали, никто не осмеливался возражать.

— А что же будет с клевером, Нигмат Хайдарович? — спросил Саидмурад председателя исполкома.

— С вашим клевером будет то же, что с клевером остальных бригад, — не глядя на него, резко ответил Хайдаров. — Вечером придут автобусы. Повторяю еще раз: по двадцать человек с каждой бригады. Если будет хоть на одного меньше, прошу на меня не обижаться. Бригадирам возглавить людей.

«Человек десять я наскребу как-нибудь, — думал Саидмурад, — остальных придется набирать из числа занятых на уборке клевера. Другого выхода нет».

Прежде чем вернуться на поле, он опять забежал домой.

— Еще немножко, Мехри, — сказал он жене и тайком от детей погладил ее худую горячую руку. — Отвезу людей в степь в соседний район и сразу вернусь. Тогда отвезу тебя в больницу...

Мехри-апа не ответила.

Вечером прибыли автобусы, и Саидмурад уехал в степь. Весь следующий день под раскаленным солнцем люди пололи сорняки. Он работал вместе со всеми. Но никак не мог дождаться вечера, когда наконец вернет-

ся домой, выкатит из гаража свой старый «москвичок», перенесет Мехри в машину и повезет ее...

К концу дня сообщили, что на десять вечера назначено оперативное бюро. Бригадиром быть обязательно.

«Да что же это! — в сердцах подумал Саидмурад. — Что делать? Отпрошусь у Хайдарова. Он человек все-таки, у него тоже дети, семья, должен понять...»

Он представил, как лежит жена по-прежнему навзничь, смотрит в потолок воспаленными глазами и молчит. Ужинать он не стал, кусок не лез в горло.

Выездное бюро длилось три часа. Не слыша, что говорят, Саидмурад думал лишь о том, где на ночь глядя достать машину. Он едва дождался окончания бюро. И только люди стали подниматься с мест, он уже пробирался между рядами стульев к Хайдарову. Тот увидел приближающегося Саидмурада, и выражение лица у него стало мученически-обреченным. «Ну, режьте, меня, — как бы говорило это лицо. — Вытворяйте, что хотите, уезжайте, если ни совести, ни сознания у вас нет!»

— Нигмат Хайдарович, совсем худо жене, отпусти-те! — взмолился Саидмурад. Он тяжело дышал и, кажется, близок был к тому, чтобы рухнуть в ноги Хайдарову. — В район ее надо везти, как можно скорее!

— Ладно. Завтра выведете своих людей в поле, покажете им выделенный новый участок и можете уезжать.

— Нигмат Хайдарович! Я должен ехать немедленно! Сейчас!

— Что там стряслось у вас, товарищ Тимуров?

Саидмурад и Хайдаров разом обернулись. За спиной у них стоял первый секретарь райкома Каримов и, как видно, наблюдал за горячо жестикулирующим Саидмурадом и взиравшим на него с мученическим видом Хайдаровым. — Что произошло, какая беда? Поделитесь, если не секрет!

Хайдаров поморщился от досады: вечно этому Каримову все нужно знать! Порядок везде наводит!

— Да вот говорит, жена у него больна. Собирается уехать, бросить бригаду в самое горячее время, — ответил он за Саидмурада.

— Если так, то надо ехать, — сказал Каримов, обращаясь к Саидмураду. — Вам и сюда не стоило приезжать.

Хайдаров отвернулся, нахмурился. А Саидмурад не знал, куда девать себя от радости, от благодарности.

— Я сейчас возвращаюсь. Как раз через ваш кишлак. Могу вас прихватить с собой...

...Когда он убежал в дом и срывающимся голосом позвал жену, она уже ничего не слышала. Она была без сознания. Вместе с Надирой и средним сыном Самадом он перенес Мехри в машину. Шестилетняя Дильбар цеплялась за волочащийся подол материнского платка и плакала в голос. Саидмурад включил фары, выехал со двора и в зеркальце увидел тесно прижавшихся друг к другу семнадцатилетнюю Надиру, четырнадцатилетнего Самада и маленькую Дильбар. Дети смотрели вслед машине, которая увозила в неизвестность их мать...

Несколько раз в пути он тормозил и прислушивался к едва слышным стонам жены, а затем снова жал на акселератор и гнал всю машину.

Потом метался взад-вперед по больничному коридору точно в бреду, хватал за рукава белых халатов врачей, медсестер, всех, кто проходил мимо, и что-то говорил, о чем-то умолял.

— У меня одиннадцать детей... — без конца твердил он. — У меня одиннадцать детей...

— Придется везти ее в город, — сказал главврач после осмотра. — Боюсь, это одна из редких форм менингита. Нужны специалисты... Что же вы спохватились так поздно?

Саидмурад не отвечал. Он ни о чем не мог думать, кроме как о том, что Мехри умирает, а везти ее надо в город... и это два часа пути, а Мехри умирает, умирает... Пожилой санитар помог ему перенести жену в машину. Машина, освещенная изнутри слабым светом, стояла в этой холодной черной ночи, казалась их прибежищем, их домом, и Саидмураду подумалось, что, пока Мехри лежит на заднем сидении, где не раз сидели их дети, она не умрет...

В городской больнице жену принимать не хотели.

— Вам по-человечески объясняют: мы не принимаем больных из других областей, нам и своих забот хватает! — втолковывал Саидмураду главврач. — Это раньше ваш район относился к нам, а теперь, уже полгода назад, образовали новую область, вы к ней относитесь.

— Доктор, я умоляю вас, это мать одиннадцати детей!

— Я же объясняю вам! — крикнул, выходя из себя,

главврач. — Я вам полчаса растолковываю, а вы все о своем.

Саидмурад вышел на улицу и заглянул в окошко «Москвича». Мехри лежала так, как ее положили: на правом боку, подвернув под себя руку, и тяжело дышала. Рассвет уже плеснул на небо немного блекло-голубой краски, и она растеклась по вершинам дальних гор...

Саидмурад вдруг вспомнил, что председателем горисполкома здесь Евгений Иванович Акименко, тот самый, который семь лет работал в их районе вторым секретарем райкома. Акименко был человеком прямым, справедливым. И отчаявшийся Саидмурад поехал искать его. Разыскать Акименко оказалось не так-то просто. Наконец дежурный милиционер в здании горисполкома подробно объяснил, как найти дом председателя.

...Акименко открыл дверь в пижаме, с электробритвой в руках.

— Евгений Иванович! Жена умирает, помогите! — всхлипнул Саидмурад, не в силах больше сдерживаться.

— Постой, — вглядываясь в пришедшего и с трудом узнавая его, сказал Акименко. — Зайди в дом.

Потом уже, молча выслушав сбивчивый рассказ Саидмурада, он, нахмурившись, набрал по телефону номер больницы. И пока он говорил в трубку суховато-сдержанным голосом, к Саидмураду медленно возвращалась уверенность, что теперь будет все хорошо и Мехри обязательно выздоровеет...

Мехри-апу положили в палату на двоих.

— Что же вы сразу не сказали, что от Евгения Ивановича! Совсем другой разговор был бы, — приветливо улыбаясь, с укоризной сказал главврач.

Тесноватый халат так туго обтягивал его полную фигуру, что на животе расстегнулись две пуговицы. Саидмурад помимо воли глядел на эти пуговицы и рассказывал главному врачу, что у них с Мехри одиннадцать детей, трое еще совсем маленькие.

— Успокойтесь, успокойтесь... — уговаривал его главврач. — Все будет в порядке... — Он пригласил Саидмурада в свой кабинет и подал ему пиалку с чаем. — Все будет в порядке, — повторил он, — но и у меня к вам маленький разговор...

Саидмурад устало кивнул.

— Все, все, что смогу... Лишь бы жена выздоровела...

— Да дело, в общем-то, пустяковое, — замаявшись, продолжал главврач, — Я, видите ли, стою в очереди

за легковой машиной, по горздраву числюсь третьим, а в этом квартале, вот буквально на днях, решили дать горздраву... только две машины.

Саидмурад пытался поднять голову и взглянуть в полное белозубое лицо главврача, но взгляд его все соскальзывал на расстегнутые пуговицы. Горздрав, облздрав, машины — слова прыгали в его уставшей голове, он напрягся, чтобы вникнуть в суть их, и никак не мог.

— Понимаете, вопрос, кому давать раньше, решает горисполком... Понимаете? Если б вы намекнули об этом Акименко...

— Хорошо... — бесцветным голосом произнес Саидмурад. — Хорошо, я спрошу его.

— Ну-у... Это было бы просто великолепно! — воскликнул главврач. — Только... надо побыстрее. У меня есть сведения, что машины придут не сегодня завтра...

На этот раз Саидмурад зашел к Акименко в горисполком, на прием. Тот выслушал. Вздохнув, оглядел его, измученного, в пыльных кирзовых сапогах, засаленной тубетейке.

— Я всегда говорил, так просто с ними не сладишь, — сказал он. — Сразу встречная просьба... Ну ладно, черт с ним, пусть получает первый...

Саидмурад не отходил от постели жены четверо суток. На пятый день решил отлучиться домой — проведать детей, полить сад, скосить клевер...

Пробыл дома два дня, на третий же, гонимый тяжелым предчувствием и страшным сном, который видел ночью, сел в машину и поехал в город. И по мере того как Саидмурад подъезжал к больнице, тяжелое предчувствие все больше давило на сердце.

Когда во дворе больницы он выбрался из машины, навстречу ему уже спешила молоденькая медсестра Люба с детским лицом, в белой косыночке.

— Саидмурад-ака... Вы... пойдете со мной... С вами сейчас поговорят...

Он сразу все понял. Бессильно опустился на ступеньки главного входа и не видел уже ни суетящейся вокруг него Любы, ни протягиваемого ею валидола. Лишь чувствовал жгучую непереносимую боль, объявшаю всю левую половину груди...

...А на заднем дворе больницы в это время главврач рассказывал знакомому, что вчера получил «Жигули»

и что ему подсунули, прохвосты, обычную вместо «люкса», но ничего: годик-другой он поедет на ней и продаст...

ЖЕЛТЫЕ ДЕВУШКИ

Я их увидел благодаря моей бабушке...

Каждый вечер с наступлением прохлады бабушка поднималась на холмик, расположенный по левую сторону нашего дома, стелила на траве курпачу, удобно усаживалась и принималась прясть нитки, покручивая свой урчук.

Мои сверстники с криком носились неподалеку, придумывая разные игры, азартно резвились. А я сидел с бабушкой на холмике. Она рассказывала мне сказки и старинные легенды. Она знала их великое множество. Иногда, прервав рассказ, она просила меня сбегать домой и принести еще шерсти или свежезаваренного чая. Я прибежал обратно запыхавшись, падал возле нее на траву и напоминал, на каком месте она остановилась...

Однажды ребята все-таки зазвали меня к себе. И я отправился вместе с ними в овраг, шарить в птичьих гнездах, усыпавших ветви деревьев и кустов. Особенно нам нравилось вытаскивать из гнезд ярко окрашенных птенцов сизоворонок. Обычно эти птицы обживают норы в крутых обрывах. Чтобы добраться до них, приходилось обвязываться арканом, конец которого держали трое-четверо мальчишек, и спускаться вниз по отвесному склону. Иногда, засунув руку в нору по самое плечо, не удавалось дотянуться до притихших от страха птенцов. Приходилось искать новое гнездо.

В тот раз я всех поразил своей храбростью. Ровно восемь раз спустился на самое дно оврага, где так и шныряли в зарослях дикие кошки. Запихнув за пазуху двух птенцов, я помчался к бабушке. Сейчас я покажу ей сизоворонок, которые уже оперились и неплохо умеют летать, расскажу, с каким трудом их добыл, и что видел в овраге огромную дикую кошку. Я, конечно, и не упомяну, как испугался, и она похвалит меня.

— Где же ты бродишь, сынок? Почему ты такой бледный? — спросила бабушка, когда я прибежал к ней.

— Знаете, больше всех! Больше всех!.. Восемь раз спустился на дно оврага!— заорал я с радостью, еле

переводя дыхание.-- Ребята держали веревку, а я спускался!

— Что-что? На дно оврага? Обвязавшись веревкой? А если бы она оборвалась? Вот придет отец, расскажу ему, пусть проучит тебя как следует...

Сразу исчезла моя радость. Если она расскажет отцу, не поздоровится. Отец у меня крутой, за шалости по голове не гладит.

И как назло, птенцы у меня за пазухой завозились, принялись щипать и царапать мне живот. Ну их, отпустить бы на все четыре стороны. Но у них еще не окрепли крылья. Их тут же зацапают дикие кошки.

Не зная, что делать, я стоял, виновато понутив голову и придерживая руками птиц.

— Ладно, овраг оврагом, — смягчилась бабушка.— А зачем на Култепу лазали? Мне давеча сказали, что тебя с друзьями видели там.

— Так просто, играли... — буркнул я.

— Больше не ходи туда. То место проклято. Туда веками сбрасывали пепел, вот и образовался холм. А там, где пепел, обитают желтые девушки.

Я недоверчиво посмотрел на бабушку, желая определить, говорит ли она правду или опять начала какую-то сказку.

Лицо у бабушки было серьезное. Она знай сучила нитку да помалкивала. А мне уже не терпелось узнать, что это за желтые девушки живут на Култепе. Я опустился с ней рядышком. Она взглянула на меня разок-другой и, довольная, что слова ее возымели на меня действие, сказала:

— Дети не должны бегать где попало. Смотри, Данияр, еще раз пойдешь к Култепе, непременно скажу отцу.

Я обрадовался и облегченно вздохнул. Значит, в этот раз она отцу не расскажет. Правда, я не помню, чтобы он слишком строго когда-нибудь наказал меня, и все же я его боюсь. Я слышал много раз, как он говорил, что надо держать свое чадо в узде. Дескать, иначе парень вырастет дерзким, непослушным. «Что, если на самом деле возьмет и наденет на меня уздечку? Ведь отец, куда денешься, — так и будешь ходить с уздечкой. Хорошо, что бабушка у меня такая добрая и ничего ему про меня не скажет». От переполнившей меня нежности к ней я погладил ее сморщенную руку.

— Эна *, а какие из себя эти желтые девушки? — спросил я.

— Да как тебе сказать... Сама-то я их не видела. То ли платья у них желтые, то ли сами. Но поскольку место, где они живут, проклято, значит, и они прокляты. Лучше про них не думать, а то, не дай бог, присятятся...

Мне стало не по себе, что я сегодня бегал на Култепу. Вспомнились осколки стекол, рассыпанные по ее поверхности, и подумалось, что это не стекла вовсе, а глаза желтых девушек. А теплый ветерок, который проносился, подхватывая пыль, перемешанную с золой, не простой ветерок, а дыхание желтых девушек.

Когда солнце опустилось за горы и стало почти темно, бабушка завернула шерсть в платок, я взял в одну руку чайник и пиалу, в другую — курпачу, и мы спустились с холмика.

Сизоворонят я посадил в плетенную из прутьев клетку и поставил перед ними в пиалушке воду, насыпал пшеницы. Решил, дня через три-четыре, когда у них окрепнут крылья, выпустить их на волю.

С тех пор, когда мы играли с мальчишками за околицей, я боялся даже смотреть в сторону Култепы...

Как-то после ужина, когда меня уже стало клонить ко сну, к нам пришел Пардабай, сын приятеля моего отца Абдусалама-ака.

— Папа приглашает вас в гости, — сказал он моему отцу и, весело подмигнув, бросил мне: — Приходи и ты, Данияр, поиграем...

Я взглянул на отца. Без его разрешения разве пойдешь в гости?

— Если приготовил уроки, то почему бы и не сходить нам вместе, — улыбнулся отец.

Сначала я обрадовался. Но потом, вспомнив, что тропинка к дому Абдусалама-ака проходит мимо страшной Култепы, я заколебался. Однако чего же мне бояться, если отец будет рядом!

Когда мы вышли на улицу, я почувствовал себя как-то странно. Мне казалось, будто деревенеют руки и ноги. И весь я покрылся потом — словно водой окатили, сначала горячей, потом холодной. Вдруг я сделался каким-то невесомым, какая-то неведомая сила начала поднимать меня на воздух, и я крепко ухватился за

* Эна — бабушка.

полу отцовского халата. Сначала мы шли мимо домов, вдоль невысоких дувалов, потом направились по узкой извилистой тропинке и свернули к Култепе. Я боялся смотреть на холм, резко выделявшийся черным полукругом на фоне темно-синего, усыпанного звездами неба.

— Что ты спотыкаешься? — спросил отец.

Я буркнул что-то невнятное в ответ.

Когда мы приблизились к холму, с него опять повеяло теплым ветерком. Я еще крепче вцепился в отца и закрыл глаза. Мне показалось, что порывы ветерка сделались горячими и что-то яркое полыхнуло навстречу. Я тотчас разомкнул веки.

— Смотрите, костер! Наверное, мальчишки разожгли, — сказал я отцу.

— Где костер? — удивился отец, взглянув на Култепу, потом на меня.

Было невероятно, что он не заметил такого яркого костра.

— Да вон же, — показал я.

Вокруг костра сидели девушки. Совершенно голые. И только длинные волосы закрывали их тела, желтые-прежелтые, как золото. И волосы тоже были желтые-прежелтые, словно солома. Девушек было много. Одна расчесывалась, другая любовалась в зеркальце, третья что-то рассказывала и смеялась. Они почему-то не обращали на нас никакого внимания.

Я испугался и того пуще, начал что-то говорить отцу, но не слышал собственных слов; и отец, с беспокойством поглядывая на меня, тоже что-то говорил, но я и его не слышал, а только видел, как шевелятся его губы.

Отец вдруг поднял меня на руки. А костер вспыхнул еще ярче.

Девушки вскочили и стали плясать, изгибаясь, как языки пламени.

И вдруг то одна, то другая стали медленно подниматься в воздух, а там, в вышине, желтые девушки превращались в искры. Одни гасли, а другие становились звездами...

Когда утром я очнулся, у моего изголовья сидела бабушка и плакала. «Почему она плачет?» — подумал я, открыв глаза. А она, заметив, что я на нее смотрю,

вдруг обхватила меня и начала целовать, гладить лицо, голову, плечи, будто не веря, что это я. Почему-то комната была полна людей: меня обступили родственники, соседи, чему-то радовались.

Мне стало совсем уж не по себе. Я вскочил и выбежал во двор.

Плетенная из прутьев клетка висела на ветке тала. Птенцы, наверное, проголодались. Я взобрался на дерево и, выгребая из кармана крошки, начал их кормить.

А все родственники и соседи тоже повалили из дому. Они стояли внизу, смотрели на меня, будто на обезьяну. Что они так уставились? Мне стало обидно. Однако я сделал вид, будто ничего не замечаю, и решил не слезать с дерева, пока они все не разойдутся. Я удобно расположился на толстой ветке.

— Даниярджан! Спускайтесь, пожалуйста! Чай будем пить, — сказал отец, почему-то обращаясь ко мне на «вы».

— А что они все уставились на меня? — спросил я, кивнув на собравшихся у нас во дворе.

Отец им сделал знак, — и они тут же разошлись.

И когда я спустился на землю, отец обнял меня.

— Как ты испугал нас! Как испугал!

— Сколько раз я вас предупреждала, чтобы вы не рассказывали Данияру о своих желтых девушках, — сказала бабушке мама.

Бабушка улыбалась, утирая мокрое от слез лицо платком.

— Бабушка! А мы с папой вчера видели желтых девушек! — радостно крикнул я.

— Сынок, ты их видел во сне, — сказала мама. — Забудь про них.

— Как во сне? Ничего не во сне! Если не верите, у папы спросите. Папа, правда же мы с тобой видели желтых девушек?

— Ладно, ладно, не думай про них, — сказал отец.

— Ну, мы же их видели! Они такие красивые... Потом они улетели и стали звездами...

...Родители утверждали, что мне все померещилось во сне. А я долгое время не хотел этому верить. И только став взрослым, пришел к выводу, что наяву, конечно же, не мог этого увидеть. И до сих пор думаю с огорчением, что желтых девушек нашей Култепы никто не видел. И даже я. А так хотелось бы...

БЕЛЫЕ ГОЛУБИ

Я дал слово никому не проболтаться, за что получил от Маманазара-муаллима* рубль. Порой мне и хочется поделиться с кем-нибудь этой историей, да невольно возникает перед глазами та мятая, истертая рублевка. И я представляю себе Маманазара-муаллима, его горбатый длинный нос, начинающийся прямо меж бровей и похожий на клюв орла, его маленькие хитрые глаза, которые всегда смотрят под ноги. «Не жди добра от того, чьи глаза устремлены вниз», — говорила мне покойная бабушка.

...По вечерам Маманазар и его друзья часто собираются в доме Рахимберды, разбитого параличом. Рахимберды целыми днями лежит на своей старой скрипучей кровати, уставясь в потолок. Счастье его, что двигаются руки: чтобы хоть чем-то занять время, он приловчился плести из таловых прутьев клетки для птиц, корзины.

Иногда бабушка и меня посылала проведать Рахимберды, передавала ему гостинец. Рахимберды всегда безмерно радовался приходу гостей. Становился разговорчив, как ребенок, задавал бесконечные вопросы, расспрашивал о новостях кишлака. Мне казалось, что он чего-то ждал. А чего, я не мог понять. Рахимберды всегда глядел на здоровых и веселых людей с завистью, которую старался скрывать. Лишь изредка зрачки его глаз расширялись, а уши, как утверждала моя бабушка, окаменевали и ничего не слышали.

В нашем кишлаке все жалели Рахимберды. Прежде, когда он мог еще ходить на костылях, за ним ухаживала жена. В то время Рахимберды работал в школьной библиотеке. Но потом бог отнял у него и эту возможность, недуг приковал Рахимберды к постели. Но он ни за что не хотел расставаться с библиотекой. И тогда добрые люди перенесли школьную библиотеку к нему домой.

— Зачем мучаешь себя, сынок? Верни книги назад в школу, — как-то посоветовала сыну Рукия-момо.

Рахимберды не сказал ни слова. Он не разговаривал несколько дней. Мать насмерть перепугалась, что он потерял дар речи...

Теперь он плетет еще и корзины, клетки. Но никто

* Муаллим — учитель.

не носит его изделий на базар. Быть может, из сочувствия к нему люди стали бы покупать их подороже. Но Рахимберды, едва сплетет что-нибудь, тут же дарит тому, кто пришел его проведать. Мать и сын живут на свои пенсии.

А жена покинула Рахимберды недавно: она неожиданно исчезла в один далеко не прекрасный день, ни с кем не попрощавшись. Он знал, что рано или поздно это случится. Видно, готовил себя к этому и теперь внешне оставался спокойным, хоть в душе, наверное, сильно переживал. А какой толк, если горе твое увидят чужие? Легче ли от того, что станут выказывать сочувствие?.. Он никому не жаловался, но худел с каждым днем, лицо его почернело. Еще бы, все знают, как он любил свою жену. Когда был здоров, он ей не позволял даже руки намочить в холодной воде. Он без конца говорил ей самые ласковые слова. А когда их не хватало, он отыскивал в книгах стихи о любви, разучивал, а потом с чувством декламировал жене, будто свои...

А когда заболел, Рахимберды сам сказал ей, чтобы она его оставила. Она ни за что не хотела от него уходить, и он сильно переживал, что она из-за него несчастна...

А сны ему предсказывали, что в конце концов она его покинет. Во сне он бредил, кричал. И жена, испуганная, вскакивала с постели, с жалостью смотрела на него... И даже утром, просыпаясь, он еще долго не мог прийти в себя: ворочался, украдкой плакал, закрыв лицо подушкой...

Жена приносила тазик с водой и помогала ему умыться. Он ловил ее руки, прижимал к губам, щеке...

Сейчас за ним ухаживает только мать. Удаляясь из комнаты сына, она шепотом произносит сквозь слезы: «Боже, за что ты мучаешь так моего единственного сына?» И тут же просит у бога прощения за свою горячность.

У бедной Рукии-момо полно хлопот по дому: накормить, напоить корову, дать зерно курам и не забывать хоть изредка ударять деревянной колотушкой о подвешенное ведро, чтобы отпугнуть прожорливых шуров да воробьев, прилетающих клевать виноград. Затем она приносит сыну куртаву или ширчай, не отходит от него до тех пор, пока он не доест до конца. Сидя на под-

стилке, она приговаривает ему что-нибудь, как маленькому. Слова ее ласковые, но всегда одни и те же. Каждый день повторяется одно и то же.

Поэтому Рахимберды радовался приходу людей, жадно вникал в принесенные ими новости. И когда кто-нибудь говорил, что в таком-то городе доктора нашли способ излечения от подобного недуга, в глазах его загорались искорки надежды. И он с радостью говорил, что, может быть, придет счастливый день, когда он освободится от болезни. Да, да, поддерживали его остальные, он обязательно вылечится, а для этого надо запастись терпением. И хором, перебивая друг друга, давали ему различные советы. Но можно ли излечить больного советами? Все они давали Рахимберды лишь наставления, а никто не думал оказать конкретную помощь. Бедная Рукия-момо не в состоянии была повезти сына к тем докторам, проживающим в далеком городе.

Я иногда и сам заходил к Рахимберды, без поручений бабушки. Мне нравилось играть с ним в шахматы. Когда я делал неправильный ход, он тут же подсказывал...

И вот как-то в конце зимы, когда мы с ним играли в шахматы, пришли несколько его сверстников. Сначала они наблюдали за нашей игрой, потом предложили сразиться в карты, чтобы в игре были заняты все.

Кто-то быстро раздал карты.

— А стоит ли играть впустую? — вдруг спросил Маманазар-муаллим. — Давайте-ка сыграем на что-нибудь.

— Ты у нас умница. Вот и придумай, на что, — сказали гости.

— У меня такое предложение. Кто проиграет, принесет из Мушукджара белых голубей. Ох и вкусно их мясо, особенно после водки, — сказал Рахимберды.

— А водка за кем? — ухмыльнулся Маманазар-муаллим.

— Тоже за счет проигравших.

Все согласились. А по моей спине пробежали мурашки, и я переводил растерянный взгляд с одного на другого. Неужели они съедят белых, милых моему сердцу голубей? Каждое утро, выгоняя со двора скотину, я наблюдал за их красивым полетом. словно целый рой стрел, взмывали они ввысь, к солнцу, рассыпались, как кукурузные хлопья, медленно, плавно кружились в вы-

шине над моей головой... «Нет, не дам я им погубить белых голубей!» — решил я про себя. А они, не догадываясь о моих намерениях, азартно резались в гулчинар*. Рахимберды в паре с пастухом Аманом, продавец сельмага Каххар с Маманазаром-муаллимом. Выиграли Рахимберды с Аманом. Каххар побежал домой за водкой (он держал ее и дома, чтобы продавать вечерним покупателям втридорога).

На меня словно нашел столбняк, я сидел неподвижно и не мог придумать, как спасти мушукджарских голубей. Конечно, идти за ними проигравшему Маманазару. Постой, постой, я попрошусь к нему в спутники и поведу его не к оврагу, а к заброшенному скотному двору, где обитают вороны. Пусть обедаются их мясом! Говорят, вороны своим карканьем кличут беду...

На мою радость, Маманазар-муаллим сам попросил меня, чтобы я отправился с ним в Мушукджар.

Маманазар забежал на минутку домой и вышел с ружьем. И мы тронулись в сторону от кишлака, к оврагу.

— Пока доберемся до Мушукджара, стемнеет и голуби попрячутся в свои гнезда, — сказал я Маманазару-муаллиму.

— Думаешь, не успеем? — спросил он, посмотрев на солнце, которое уже коснулось нижним краем горизонта.

— Конечно, не успеем. Знаете заброшенный скотник вон за тем холмом? Там тоже полно голубей. Может, туда сходим?

— Вообще-то ты прав, — согласился Маманазар-муаллим. — Чует мое сердце, что в Мушукджаре мы шлепнем не более трех-четырёх голубей. Стоит ли из-за этого спускаться в занесенный снегом овраг, продирается сквозь заросли? К тому же там, говорят, водятся дикие кошки и шакалы.

И мы направились к старому скотному двору, построенному еще в те времена, когда создавался наш колхоз. Оскальзываясь, увязая по колено в снегу, мы то спускались вниз по склону, то поднимались в гору, медленно приближаясь к холму, за которым находились старые, полуразвалившиеся постройки. Муаллим скоро выбился из сил, тяжело дышал. А я, плетясь за ним, думал о том, как закончится наша охота. Что будет,

* Гулчинар — вид игры в карты.

если Маманазар разгадает, что я намеренно привел его сюда?

Подрумяненные заходом солнца облака, окутавшие вершины Ойкора, медленно темнели, сползали вниз и сливались с густым туманом. На Яссикутане, где уже сгустилась тьма, мерцали чабанские костры, оттуда доносилось блянные овец, которых, как видно, загоняли в кошары. Иной раз слышался грозный лай волкодавов, помогавших чабанам.

Когда совсем стемнеет, в той стороне начнут выть волки, сетуя на собак, не подпускающих близко к кошарам. С приходом весны, когда солнце крепче станет пригревать склоны, а в ущелье начнет таять снег, волки уйдут подальше в горы. А на холм Карасук взберется разбуженный от спячки медведь и будет жалобно глядеть голодными глазами на кишлячные дома, будто вымаливая у людей что-нибудь съестное.

Наконец мы добрались до длинного приземистого строения с провалившейся в нескольких местах крышей. Боясь, как бы не испугать птиц, Маманазар крался на цыпочках. Он ловко перебросил ружье из левой руки в правую, застегнул пуговицы, чтобы развевающиеся полы тулупа не мешали, и, подойдя к державшейся на одной петле перекошенной двери, припал глазом к щели. Лежавший вокруг снег словно источал свет.

— Смотри, сколько здесь голубей! И какие крупные! — сказал Маманазар-муаллим, обернувшись ко мне с какой-то дикой радостью. — Их мяса хватит на целую свадьбу.

Я похолодел. «Откуда здесь голуби? Ведь они сюда никогда не прилетали! Ха-ха, скорее всего он под хмельком принял ворон за голубей...»

Маманазар просунул ствол ружья в щель между створками дверей и начал целиться. Бабахнул выстрел. Неожиданно заорал осел, видимо бродячий, решивший провести ночь в одном из теплых уголков строения. Каркая и хлопая крыльями, вороны с шумом взмыли вверх. Муаллим рванул дверь и пулей влетел внутрь коровника. Я вбежал вслед за ним. На земле трепыхались раненые птицы.

— Это же горлицы! — сказал Маманазар, вертя в руках окровавленную птицу.

У меня защемило сердце, к горлу подступил комок. Вспомнились слова моей бабушки: «Горлица — райская курица Бийфатмы. Того, кто убьет горлицу, ждет боль-

шая кара». Две горлицы лежали неподвижно, лишь сероватые перышки на них шевелил ветер. А четыре, собрав, последние силы, вскакивали и снова падали, хлопая о землю крыльями, вздымая пыль, всякий сор и перья.

— А ну, сверни им шею! — приказал мне Маманазар-муаллим.

— Это же горлицы, — произнес я дрожащим голосом.

— Ну и что? Какой ты джигит, если не можешь справиться даже с птицей! — сказал он мне со злостью.

Но убедившись, что от меня ему не дождаться ничего путного, он прислонил ружье к стене и начал сворачивать горлицам головы. Меня затошнило от запаха крови, и я выбежал на воздух.

— На, хоть постереги их! — небрежно бросил Маманазар-муаллим к моим ногам обезглавленных птиц.

От слабости у меня подкашивались ноги. Я смел варежкой снег с валявшегося бревна и присел.

А Маманазар тем временем произвел еще два выстрела и собрал кучу птиц.

Он смотрел на меня с ненавистью, сверкая белками глаз, за то, что я не кинулся собирать добычу, сижу безучастно и не хочу помочь. Я подумал: он вот-вот ударит меня.

Маманазар-муаллим преподает в школе физкультуру, я однажды видел, как он ударил восьмиклассника Эргаша, сына Исмаила-бобо. Но пусть только посмеет ударить меня, — я тогда всем расскажу, что он расстрелял горлиц.

Но кто его привел сюда? Я привел... Я... Выходит, и я виноват в этой трагедии. Но откуда мне было знать, что сюда прилетают кормиться горлицы? Я хотел спасти белых голубей, а получилось...

— Вижу, ты совсем раскис. Брось переживать, — обратился ко мне муаллим мягко и по плечу похлопал. — Вот, возьми рубль. Пригодится. И чтобы об этом никому ни слова, понял?

Я засунул рублевку в карман. (Ох, как потом я проклинал себя за это!)

— Теперь пойдем к Санглаксаю, общиплем у воды горлиц. Вот тогда никто не узнает, что это за птица, — сказал Маманазар, хихикнув, и протянул мне шесть птиц, остальных понес сам. Мне казалось, я не птиц несу, а горячие угли. Они обжигали мне ладони. Я

презирал себя. Мне хотелось бросить их и убежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть ни Маманазар-муаллима, ни его добычи.

Вскоре показалась речка Санглаксай. Весной она всегда выходила из берегов, бурлила, катила тяжелые камни, а в самую жаркую пору лета — саратан — превращалась в узкую тоненькую голубую ленточку, струящуюся по дну среди булыжников. Зимой Санглаксай одевался в ледяной панцырь; люди пробивали лунки и черпали воду ковшиками, наполняя ведра.

Мы с трудом отыскивали у сая пологий берег. С гордул холодный ветер, пронизывая до костей. Под мертвым льдом звонко журчала вода. Я топтался на месте, стараясь согреть озябшие ноги. А Маманазар-муаллим ступил на лед и стал пробивать прикладом лунку. Лед разлетался, вспыхивая, словно искры, при лунном свете... Я с удовольствием подумал о жарких летних днях. Интересно устроен человек: в лютый мороз он мечтает о жаре, а в разгар лета ему холод подавай. Особенно когда работаешь в поле. Или, задыхаясь от пыли, возишь под палящим солнцем на ослике саман. И я представил себе, как семенит впереди меня мой серый ослик. Поперек его хребта лежит огромный канар с саманом. Я едва успеваю за ним, еле волоча от усталости ноги, обутые в тяжелые отцовы сапоги, утопая по щиколотку в пыли. Мне так хочется вскарабкаться на мягкий канар, но ослик едва плетется, и приходится отказаться от своего намерения.

Вокруг, по всей долине между горами, господствует желтый цвет. До самого подножия гор простираются желтые скошенные поля. На них, куда ни взгляни, возвышаются желтые стога. При виде желтого цвета мне хочется пить. Может, потому, что он напоминает пустыню... И в бутылке воды ни капли. Пока набиваешь канар саманом, потом грузишь его на спину осла, обычно кончается запас воды. Пот бежит по лицу, по спине струями. И ослик взмок, перебирает тонкими ножками, развесив длинные уши. Его и не надо торопить халачузом — заостренной палочкой, которой понукают осла. Я еле иду. Ноги жжет, как угольями. Сапоги мне велики, натерли пятки...: «Вот бы взобраться сейчас на Ойкор до самого снега, подышать свежим, холодным воздухом!» — думаю я, утирая ладонью со лба пот.

Впрочем, Маманазар-муаллиму, кажется, и сейчас жарко. Он бьет прикладом о лед, бьет... Пот так и бе-

жит у него из-под шапки по вискам, поблескивает узкими полосками. Он сбросил тулуп. Пар валит от его плеч.

А меня знобит. Не могу видеть сваленных на лед кучкой горлиц. Их кровь разлилась лужицей, впитывается в снег.

Наконец лунка готова. Еще яснее слышится журчание воды. Мама Назар быстро расчистил ногой вокруг лунки снег.

— Неси-ка их сюда, — кивнул он и вынул из-за голенища нож.

Обшипав горлицу, он вспарывал ей брюхо, стряхивал внутренности в лунку и ополаскивал тушку в ледяной воде.

— Обычно у голубей в зобу бывает много камней, а у этих нет. Выходит, горлицы не употребляют камушков, — заметил Мама Назар-муаллим.

Я промолчал. Мне не хотелось завязывать с ним беседу. Я трясся от холода и думал только о том, как бы скорее оказаться в тепле и согреться.

Наконец Мама Назар-муаллим закончил потрошить птиц, вытащил из кармана старый бельбаг, сложил в него добычу. Узелок повесил на дуло ружья, которое положил на плечо.

Мы выбрались на дорогу. Мама Назар шел легко и свободно и даже что-то тихо напевал себе под нос. Узелок раскачивался у него за спиной. Я поглядывал на этот узелок, и с каждой минутой во мне росла неприязнь к этому человеку. Во мне кипела злость и на паралитика Рахимберды. Это он все затеял. Если бы не его дурацкие выдумки, никому бы и в голову не пришло тревожить в такой час покой безобидных птиц. Кто знает, может, бог наказал его по справедливости?..

Мы вернулись в кишлак, когда уже пригнали стадо и каждый увел к себе во двор скотину. Там-сям раздавались голоса лишь тех, кто звал отставших по дороге от стада корову или барана.

Собравшиеся у Рахимберды собутыльники Мама Назара, которые после выпитого имели обыкновение нюхать свои шапки, встретили нас восторженными криками. Чтобы не беспокоить Рукию-момо, за готовку взялся уже веселенький Каххар. Во дворе в летней кухне он развел под большим черным казаном целый костер. Ему помогали дружки-приятели.

Я зашел в просторную прихожую. Здесь топилась

железная печка. Рукия-момо, сидя на подстилке, стегала одеяло и время от времени подбрасывала в печь дрова.

— Подойди поближе к печке. Бедненький мой, совсем ооченел. И проголодался, поди? Вон на полке лепешка. Возьми, пожуй, — сказала она, не отрываясь от работы.

— Спасибо, — буркнул я.

— Вай, чуть не забыла: за тобой сестренка прибежала. Оказывается, отелилась ваша корова.

Я давно ждал этого момента. Наша корова всегда рождает телят, похожих на себя, пегеньких, в золотисто-белых пятнах, шерстистых, большеглазых. Хотя я и согреться не успел, тут же засобирался. Мне хотелось немедленно увидеть нашего теленка.

— Матери передай привет, — сказала вслед мне Рукия-момо, когда я бросился к двери.

Во дворе у очага, согреваясь, пили водку Каххар и Маманазар. Они громко разговаривали.

— И где ты нашел столько голубей? — спросил Каххар, наливая в казан из бутылки масло.

— Белые голуби Мушукджара в поисках корма прилетели на Галахирманджай, — врал Маманазар. — Знаешь, одним выстрелом я прикончил сразу штук двадцать!

— О-о, мушукджарские голуби такие вкусные, — вертя головой, зачмокал Каххар.

...Утром, отгоняя наших коз и овец в стадо, я забрел в ущелье Галахирманджай. Вокруг все было белым-бело — и отвесные каменистые склоны, и долина. Лишь кое-где чернели острые скалы, с которых ветер сдул снег, да торчали там-сям зеленые пирамидки арчи.

Вдруг с отвесной стены Галахирманджая шумно снялась стая белых голубей. Замерло от радости сердце. Голуби взмывали все выше и выше, вот-вот растают в голубовато-белесом небе. Потом стали выписывать круги, кувыркаясь, резвясь в воздухе.

Наблюдая за ними, я не заметил, как с головы слетела шапка. Я вспомнил вчерашних горлиц, и мне сделалось грустно. Мне хотелось крикнуть, сложив рупором ладони: «Белые голуби мои! Белые голуби!.. Не забудьте горлиц, которые стали жертвой, спасая вас. Белые голуби, упомяните их в своих белых песнях».

Глядя в небо, я бежал вслед за голубями. Увязнув,

упал в рыхлый снег, но не отрывал взгляда от летающей стаи. Вдруг на какой-то миг они застыли в полете, замелькали крыльями и полетели в поиске корма туда, где вчера вечером мы охотились с Маманазаром...

ОРЛЫ ЖИВУТ НА ВЕРШИНАХ

Поэту Андрею Дементьеву

Чем бы я ни занимался, что бы ни делал, то и дело вспоминается тот случай, столь потрясший меня, что никогда, кажется, его не забыть.

Направляясь через Супинскую низменность в Бахмал, мы, двое корреспондентов областной газеты, намеревались заночевать в чабанской юрте у водопада. Как и предполагалось, доехали мы до нее, когда солнце уже зависло над самыми вершинами гор, и долго как зачарованные любовались низвергавшимся с трехсотметровой высоты грозным и прекрасным потоком.

Дорога всех утомила, и потому решили лечь пораньше. Воздух в этих местах такой, что достаточно поспать каких-нибудь два часа, чтобы, пробудившись, вновь почувствовать себя легко и свободно, как птица. Проснулся я в полночь, должно быть, оттого, что вдоволь надышался им. Вышел из юрты и, чтобы скоротать оставшееся до рассвета время, не спеша направился к вершине горы, туда, где брал свое начало водопад. Прямо из-под моих ног вспорхнула стая кекликов. Их тревожные голоса, прокатившись эхом меж гор, отдались в предрассветной тиши чарующей музыкой... Опустились они там, куда я держал путь, — у начала водопада. «Наверное, прихорашиваются», — подумал я.

Водопад ревел, и рев его наводил на мысли о вечности бытия, о том, что, как бы ни был всемогущ человек, не изменить ему общих для всех законов развития Вселенной. Столетние арчи, словно огромным ковром из рытого бархата покрывающие склоны гор, молча подтверждали мудрость философии водопада.

Когда стайка кекликов, досыта насладившись водой, вспорхнула вновь, первые лучи восходящего солнца ласково коснулись гор. И тотчас же вершины и склоны, окрасившись в желтовато-зеленый цвет, обрели невыразимо прекрасный вид. Казалось, век гляди — не на-

любуеться. «Надо бы Рузы Чарыева* сюда привезти, что-то не припомню у него в палитре таких красок», — подумал я.

Внизу, на извилистой горной дороге, которая вела к перевалу, показалась машина секретаря парткома. Вчера вечером он был с нами и, прощаясь, пообещал, что привезет нам на завтрак испеченные в казане лепешки и свежесбитое домашнее масло.

Когда я спустился к юрте, мои спутники еще спали. Чуть в стороне молодой парень, шофер, и еще какой-то незнакомый человек, пригнувшись, пытались расшевелить что-то лежавшее на траве. Я присмотрелся — беркут!..

— Пуля в крыло попала, — виновато глянув на меня, пояснил шофер. — Кто-то подстрелил его, а я подобрал...

Я ничего не ответил. В жизни своей я уже немало перевидел убитых птиц, раненых зверей. Однако подстреленного орла до сих пор видеть не доводилось, я даже представить себе не мог, что такое возможно. Заряд попал ему в левое крыло, и сейчас оно, большое и красивое, было распластано на земле и не подчинялось хозяину. Всем своим обликом выражал он грусть и тревогу. Морщины вокруг острого, сильного клюва придавали ему такой печальный, горестный вид, что без волнения смотреть на него было невозможно. Привыкший не ходить, а летать, он лежал, словно слившись с землей, и оба желтых немигающих глаза были устремлены к далеким заснеженным вершинам... Изредка он поворачивал голову в нашу сторону, и во взгляде его мне чудилась неукротимая ненависть.

— Надо отпустить его, — сказал я сдавленным голосом.

Шофер поднял беркута и отнес к обочине спускавшейся вниз дороги. Когда шофер вернулся, я приблизился к беркуту. Став таким образом, чтобы он меня не увидел, я принялся наблюдать. Беркут попытался было взобраться на песчаный откос по левую сторону дороги, но всякий раз соскальзывал вниз. Меня удивило: почему он стремится подняться на недоступный в его положении откос и словно не замечает, что под ним ровная, ведущая вниз дорога? Но вот наконец, довольно долго постояв на одном месте, он, как младенец, на-

* Рузы Чарыев — известный художник Узбекистана.

чинающий ходить, сделал один-два робких шажка и остановился.

Издалека послышался неприятный, режущий слух крик каменного дрозда, а через несколько мгновений прилетел и он сам и, перескакивая с камня на камень, стал кружить вокруг беркута, зорко наблюдая за каждым его движением. Удостоверившись в том, что огромная птица едва стоит на ногах, он приблизился к ней и, пронзительно крича, принялся насмехаться над несчастным беркутом. Вконец обнаглев, дрозд начал кружить над ним, норовя на лету клюнуть, столкнуть, свалить с ног. На крик дрозда прилетели еще два его собрата и несколько других птиц поменьше. Теперь они все вместе стали откровенно издеваться над раненым беркутом. А он, словно окаменев, не сводил глаз с далеких горных вершин.

Я отнес его к нависшему над дорогой большому утесу, положил на не утративший еще ночной прохлады камень и удалился. Некоторое время беркут лежал, распластав раненое крыло, потом, оглядевшись вокруг и не обнаружив поблизости меня, попытался встать. Наконец это ему удалось, и он, подобрав простреленное крыло, побежал наверх, да так стремительно, что, если бы не слегка отвисшее крыло, можно было подумать, что он цел и невредим. Прячась за арчи, я последовал за ним. Достигнув небольшого утеса, он принялся клевать раненое кровоточащее крыло. С горя или с голода — не знаю...

Потом он опять пошел вверх. Я продолжал следить за ним до тех пор, пока он не скрылся в гуще арчовника. Он шел, непреклонно и отважно, к снежным вершинам. Всем своим существом я чувствовал это. Хотелось верить, что он поправится и вновь взмоет оттуда в ясное бескрайнее небо и, широко раскинув могучие крылья, победителем пролетит над жестокосердным человеком, пустившим в него пулю и тем сотворившим непростительное черное дело. Он снова станет зорким сторожем горных вершин, подставит грудь всем ураганам. Олицетворением мужества и победоносности будет парить он над снежными пиками. Однако... однако он может и не поправиться. И тогда навеки прощайте, гордые горы. Он сам чувствовал это и, собрав все силы, шел вперед. Во что бы то ни стало нужно было ему добраться до вершины, даже если для подкрепления сил придется есть собственное мясо. Он шел вперед,

шел уверенный в своей правде. Самое важное — что бы мерзкие каменные дрозды, летающие там, внизу, не увидели его труп, если придется ему умереть...

И еще одну истину открыл я для себя в тот день. Орлы стремятся только ввысь. Они созданы для вершин. И с вершин взмывают в небо только орлы...

ИНАЧЕ НЕ СТОИТ ЖИТЬ

В начале марта, когда весна только начинает подниматься по горным склонам и на освободившихся от снега лужайках вот-вот зацветут подснежники, ветер с гор несет влажные запахи нагретой солнцем земли, набухших почек и пробуждающегося разнотравья. В один из таких дней, вскоре после полудня, в кишлак въехали грузовая и легковая автомашины. На первой был погружен домашний скарб, во второй ехали Саидкулака и его семья.

Последнее время дела у Саидкула пошли вкривь и вкось. Он остро переживал это, но ни с кем своими горестями не делился, ушел весь в себя и все чаще поглаживал ладонью левую сторону груди: начинало пошаливать сердце. И вот наконец принял бесповоротное решение, навсегда простился со степью, которой отдал двадцать лет жизни, и вернулся в кишлак, где родился и вырос. Внешне он выглядел спокойным, разве что чуть-чуть рассеянным, но душа извелась от беззвучных рыданий: не так-то просто возвратиться к родному порогу, устав душой и телом, с сединой в волосах и тяжким бременем несбывшихся надежд в душе. Жена, сидевшая позади него в «Жигулях», что-то говорила, он рассеянно слушал ее и не слышал, машинально кивая головой. А она, обеспокоенная непривычным поведением супруга, старалась во что бы то ни стало расшевелить его. Что ж, ее можно понять: поженились они поздно, дети еще маленькие, вот разве что старшая дочь в состоянии уже что-то уразуметь.

Наверное, надо было сначала приехать самому, договориться обо всем с директором лесхоза, а уж потом трогаться с места. Он поступил иначе, мысленно успокаивал себя тем, что едет не в чужие края, хотя на самом деле просто уезжал потому, что не мог заставить себя оставаться на прежнем месте.

Дом и терраса, оставшиеся еще от отца, выглядели

одинаково плачевно, да и не мудро: в их отсутствие дом служил временным пристанищем для чабанов проходящих отар. Занимавший когда-то пол-участка виноградник был вытопан до корней, а от фруктового сада осталось три-четыре деревца джиды да куст боярышника.

Шофер грузовика, получив плату за перевоз, распрощался и уехал, не переставая удивляться про себя человеку, оставившему прекрасный обжитой дом ради этой развалюхи. Детишки, визжа от радости, убежали вниз, к саю. Жена устало опустилась на узел, чтобы покормить грудного ребенка.

Дети еще малы. Ни в чем не разбираются. И в этом их беззаботное счастье. Но пройдет немного времени и они подрастут. Услышат. Поймут, что к чему. Что они тогда подумают о своем отце? Нет, медлить нельзя. Надо успеть осуществить задуманное до того, как они подрастут. Иначе не стоит жить вообще...

Саидкул проводил взглядом сынишку, спускавшегося по откосу к реке, и взглянул на жену. Их глаза встретились, и по выражению ее лица он понял, что она думает о том же, о чем и он. Она знала все, хотя он и словом не обмолвился о своем несчастье, и старалась помочь как могла. Как могла... А чем, собственно, может помочь в таких случаях женщина? Ахи да соболезнавания, от которых тоскливо перехватывает гортань? Лучше уж совсем ничего...

— Лишь бы вы здоровы были, — вздохнула она. — А все остальное уладится. Придут и к нам светлые денечки.

«Скорее бы, — тоскливо подумал Саидкул. — Только ведь не придут сами. Да я и не жду, что придут. Не для того приехал, чтобы ждать, сложа руки... А она все равно молодец: не пала духом, не соболезнает, не утешает. Нужные слова нашла...»

Всегда, сколько он ее знал, она была такой: неприемная, вроде бы, в чем душа держится, а когда надо — тверже камня. Не просто жена — надежный друг и верная спутница. Не подведет, не смалодушничает. Не допустит, чтобы муж с опущенной головой из дому вышел...

На ремонт ушла неделя. Подмазали, побелили, вставили окна и двери. И временное пристанище, приют застигнутых непогодой путников превратился в обжитой дом. Единственный во всем заброшенном кишлаке. Часть

жителей ушла, когда началось освоение Мирзачульской степи, остальные переселились кто куда после того, как родник, питавший селение водой, отвели по трубам в районный центр.

Уныло шумел ветер в одичавших, умирающих садах...

Люди уходят с гор! Да и чего ожидать от людей, предавших родной кишлак, обречших отчий дом на запустение и гибель? Переселяются на равнину, забыв о том, кто питает равнины водой. Не будь гор, откуда быть воде на равнине? А чтобы не умолкали в ущельях звонкие голоса родников, в горах должны расти леса. Леса, нуждающиеся в заботливом хозяйском уходе. Люди уходят на равнины, мертвой хваткой берут землю за глотку. А что будет, когда она в свою очередь возьмет за глотку людей? Какими громкими и прекраснодушными словами ни прикрываться, люди остаются людьми. Хотят жить в комфорте, вкусно есть, красиво одеваться. Конечно же, на равнине возможностей для этого больше, чем в горах. Равнина гостеприимна и щедра. Земли здесь сколько хочешь — сей, поливай, жни. Хозяйствуй в свое удовольствие! В горах не так. Здесь каждая пядь ее дается трудом, требует ухода, скупа на отдачу.

И все-таки горы — величайшее сокровение земли, пусть далеко не все понимают это. А если бы понимали! Тогда — зеленеть лесам на склонах гор, шуметь рощам на адырах, кудрявиться кустарнику на каменистых осыпях. Уже в июне выгорают под солнцем пастбища, и приходится перегонять стада в глубь гор, к заповедникам и альпийским лугам. Туда, где больше воды, где не так жарко. А будь леса и рощи на склонах гор, была бы и здесь вода, не оскудевали бы летом пастбища...

Так думал Саидкул, глядя на отчетливо виднеющиеся вдаль зеленые склоны Барлостепе. Это сейчас, в марте... Уж кто-кто, а Саидкул знал, какими безжизненно желтыми станут они через месяц-другой, когда наступит жара. Но теперь, глядя на кажущиеся обманчиво близкими пологие склоны, он еще раз уверился в том, что сделал правильный выбор, возвратившись сюда, в покинутый людьми кишлак, в родные места, истосковавшиеся по человеческому теплу.

— Орешник, — произнес он, не замечая, что говорит вслух. — Надо посадить ореховые деревца. От подножья до самой вершины. Склоны пологие, удобные для выпаса овец. Чабаны это знают и наверняка каждый год пригоняют стада. Значит, почва хорошо удобрена. Деревца быстро пойдут в рост. А еще лучше посадить вперемежку орех, персики, яблоньки. Пока ореховые деревья вырастут, яблони и персики успеют отплодоносить и состариться.

Он мысленно представил себе стройные ряды фруктовых деревьев на склонах Барлостепе. Мечта, а не сад. Вырастив такой, можно умереть со спокойной совестью. Со спокойной совестью... Он глубоко вздохнул. Все правильно, только не для него. Он, и вырастив такой сад, будет испытывать угрызения совести. До самой смерти, наверное. Тут уж, видно, ничего не изменишь.

Саидкул покачал головой, взял лепешку, горсть парварды, завернул в платок и повязал на пояс.

— Пойду, — сказал он жене, направляясь к воротам. — Будет Тилабов спрашивать, скажи, на Барлостепе пошел. Вернусь, наверное, к вечеру.

На душе у него было беспокойно. Ощущение подавленности и вины, угнетавшее его последнее время, теперь, когда он видел перед собой труднодостижимую, но зато четкую и ясную цель, мало-помалу уходило на второй план, уступая место пусть пока еще смутному облегчению.

Путь до Барлостепе был не близкий. Но он, радостный и возбужденный, как в детстве, задыхаясь и все же не чувствуя усталости, упрямо поднимался по тропинке все выше и выше. В ложбинах кое-где еще лежал ноздреватый тающий снег, но ветер—то прохладный, то теплый — был по-весеннему упруг и бодрящ, и когда он затихал, слева из низины доносилось характерное всхрапывание и плеск: то, вспугнутые приближением человека, дикие кабаны пересекали речку по мелководью. «От кабанов добра не жди, что ни посеешь, — с землей сровняют», — вспомнились Саидкулу слова отца. Как давно это было! Уртакыр, осень, вдвоем с отцом они убирают нухат*.

Зима в тот год выдалась лютая. Земля долго отта-

* Нухат — горох.

ивала по весне, медленно просыхала. Сеять пришлось дней на двадцать позже обычного. И лето было прохладным. Нут созрел только глубокой осенью. Неделю Саидкул с отцом бережно собирали нут, увязывали в снопы для просушки. Опасаясь кабанов, решили лучше урожай возле шалаша, здесь и разложили снопы на заранее утрамбованной площадке.

— Пойду в кишлак схожу. А ты чаю себе вскипяти, поешь и ложись отдыхай. Да смотри, чтобы костер не угас. Пока огонь горит, кабаны подойти не посмеют, — предупредил отец. — А я к рассвету вернусь.

Саидкул так утомился за день, что не стал даже возиться с чаем, пожевал лепешку, запил родниковой водой и, соорудив возле шалаша ложе из снопов нута, постелил одеяло, лег и тотчас уснул.

Проснулся на рассвете, дрожа от холода, увидел, как серой тенью ходит вокруг шалаша отец, и, еще не разобравшись спросонья, что произошло, но уже предчувствуя недоброе, огляделся по сторонам. Поодаль, фыркающая и встряхивая головой, паслась стреноженная отцовская лошадь, а между нею и шалашом тянулась неузнаваемо изменившаяся площадка. Он пригляделся внимательнее и, похолодев от ужаса, понял все. Снопов нута, тех самых снопов, которые они с отцом накануне целый день возили и носили сюда с поля, — не было. Целы были только те, на которых он устроил себе ложе. Пока он спал, дикие свиньи похозяйничали всласть: что могли — сожрали, а что осталось — втоптали копытами в землю.

Медленно, словно преодолевая огромную тяжесть, Саидкул поднялся и сел. Зашуршали уцелевшие снопы. Отец повернулся к нему побелевшим лицом с темными провалами глаз.

— А я-то на тебя надеялся... Разве можно таким быть? Хлебнешь ты горя со своей беспечностью. Ничего не добьешься. Пятой ногой у собаки будешь...

На всю жизнь запомнились Саидкулу эти слова, голос, каким они были произнесены. Время было трудное, и потеря урожая обернулась для их семьи тяжким испытанием. Постепенно все изменилось к лучшему. Пришел в дом достаток. Но чувство вины перед голодными братишками и сестренками, перед выбивающимися из сил родителями так и не прошло никогда. И позднее, в дни семейных торжеств, когда столы ломились от угощений, он мысленно видел перед собой их серые, осу-

нувшиеся лица, и пронзительной болью отдавались в сердце слова отца, прозвучавшие в то злосчастное утро у шалаша на Уртакыре. Отец был человек справедливый и сдержанный, все понимал, и тот горький упрек, сорвавшийся с его губ, сделал свое дело: никогда больше Саидкул не давал повода для того, чтобы отец хоть в чем-нибудь упрекнул его.

Много воды утекло с той поры. Саидкулу теперь столько же лет, сколько тогда было отцу. Умудренный жизненным опытом, он твердо уяснил: ничто не проходит для человека бесследно и, уж конечно, неудачи и потрясения, тяжким бременем оседающие на душе. А случается в жизни и такое, после чего судьба представляется горящей свечой. И когда она догорит и как, зависит уже не от тебя, а от окружающих, и они вертят твоей судьбой как хотят, направляют по руслу, которое тебе и не снилось. О, если бы она была бесконечной, человеческая жизнь! Если бы можно было исправить все ошибки и промахи, неудачи и проступки!.. Но она, увы, коротка и, осознав это, начинаешь жить верой и ожиданием, надеясь, что цели, которой не достиг ты, достигнет твой сын или дочь. И живешь, тревожно прислушиваясь к биению их сердец, вместивших в себя твою боль, твою тревогу, твою надежду. Детей твоих ждут впереди реки и горы. Чтобы преодолеть реки, нужно уметь плавать, ибо только тот, кто умеет плавать, достигнет гор, поднимется на их белоснежные вершины. А не умеющему плавать не суждено даже выкупаться в реке. Так уж устроена жизнь, хотим мы этого или нет.

Взобравшись на Барлостепе, Саидкул убедился в своей правоте: здесь действительно паслись отары и почва была хорошо унавожена. Он облегченно вздохнул и огляделся вокруг. Голубело над горами неправдоподобно огромное небо, покачивались на ветру бутончики готовых вот-вот раскрыться подснежников, шумел где-то внизу невидимый отсюда сай, великанами шагали по склону горы Айкор тысячелетние арчи и чинары. Напоенный весенними ароматами воздух щекотал ноздри, живительной свежестью наполнял грудь, бодрил кровь. И неутихающая в сердце боль смягчалась все больше и больше, уступая место новому, доселе неиспытанному им чувству, которому он не мог, да и не пытался найти название. Горячий клубок подкатил к нё-

бу, повлажнили глаза. Он вытер их ладонями и широко зашагал по травянистому склону, считая шаги, чтобы хоть приблизительно определить площадь будущих лесопосадок. И чем дальше шагал он, преодолевая грудью упругое сопротивление весеннего ветра, тем сильнее слезились его глаза...

Снизу, от сая, поднимался по склону всадник. Саидкул вгляделся и узнал в нем директора лесхоза Онгара Тилябова. «А ну, как не согласится на мое предложение? — с тревогой спросил себя Саидкул, и сам же ответил: — Теперь это уже не имеет значения. Согласится, не согласится — все равно это моя земля. Сказал: буду сажать деревья — значит, буду. Это мое право!»

— Не уставать вам, Саидкул-ака! — приветливо поздоровался Тилябов. — А вы молодец! В такую даль, да еще пешком. Я на лошади и то два часа добирался.

— Соскучился я по этим местам, — улыбнулся Саидкул. — Мальчишкой баранов тут пас. А что далеко — не беда. Дорогу идущий осилит. Силенка есть, не жалеюсь.

— Оно и видно! — Тилябов рассмеялся, хитровато щуря глаза. — Признавайтесь, зачем пришли. Придумали, поди, что-то?

Саидкул молча кивнул головой. Тилябов стреножил коня, достал из переметной сумы чапан и расстелил на траве. Вслед за чапаном появилась лепешка и конфеты, завернутые в чистый платок. Саидкул выложил на самодельную скатерть свои припасы. Тилябов достал из хурджуна термос и похлопал лошадь по крупу.

— Ступай, травкой полакомись! Иди-и, не мешай нам.

Словно поняв хозяина, конь послушно переступил задними ногами, скачком переставил передние.

— С утра крошки во рту не было, — признался Тилябов. — Зато теперь хоть отведу душу. Что может быть вкуснее чая на свежем воздухе? А на Барлостепе — особенно. Здесь двенадцать месяцев в году ветер не затихает.

Он налил чай в крышку от термоса, протянул Саидкулу и принялся разламывать лепешку.

— Сколько тут гектаров примерно? — спросил Саидкул, прихлебывая обжигающе горячий чай.

— Что-то около тысячи. В позапрошлом году измеряли. Думали сад тут разбить, да не получилось. Какой-

то научно-исследовательский институт отрицательное заключение выдал.

— Почему?

— Холодно здесь, говорят. Деревья померзнут.

— Вранье.

— Может, и нет. Ученым виднее.

— Мне виднее всех! — не выдержал Саидкул. — Я эти горы лучше любого ученого знаю. Вон на том склоне куда выше, а сколько там фруктовых деревьев среди арчовника? Дикая яблоня, алыча, боярышник.

— Так ведь то дикие. К морозам привыкли, приспособились.

— И эти привыкнут. Скрещивать будем. Морозоустойчивыми сделаем.

Тияльбов с сомнением покачал головой.

— Ученые народ настырный. Куда они только ни строчили. И добились-таки своего: запретили нам посадки начинать. Живое дело бумажной волокитой загубили. Секретарь у нас тогда был человек осторожный, из тех, кто на кефир дует, чтобы не обжечься. Бумагам поверил, а нам нет, — Тияльбов вздохнул. — Вот кому ученым надо было стать. А если бы тогда деревца посадили, тут бы уже сад зеленел.

— А новый секретарь каков? — поинтересовался Саидкул.

— Говорят, деловой.

— Может, с ним поговорить?

— Н-не знаю, — заколебался директор лесхоза.

— Ну вот что, — Саидкул решительно поставил крышку от термоса на дастархан. — Этой же весной будем сажать орех!

— Здесь? — не поверил своим ушам Тияльбов.

— Здесь, здесь!

— Да вы что? Без плана, без сметы...

— Послушай меня, Онгарбек, — сам того не замечая, Саидкул перешел с директором на «ты». — Доброе дело в планах не нуждается. И в сметах тоже. Положись на меня. Посадим деревца, — никто их из земли не повыдергивает. Только ты не противься. Мы тут такое отгрохаем, что до нас никто не делал. Вся округа всколыхнется. Люди спасибо нам скажут. Тебе, как руководителю, почет и слава. А мне... я грех с души смою...

Тияльбов молча опустил голову. «Знает, — понял Са-

идкул. — Слышал. Что ж, пусть. Только бы не заартачился».

И не глядя на собеседника, проговорил глухим, срывающимся голосом:

— Наверное, и до вас это уже дошло. Не имеет значения, я из этого тайны не делаю. А ты тем более все знать должен. Мы с тобой не первый год знакомы, с детства. Потому и приехал с низко опущенной головой. Полгода назад меня из партии исключили. Ошибку я совершил. Не простили. И, наверное, правильно. Если всем прощать... — Он глубоко вздохнул и покачал головой. — Я ни на кого не обижаюсь. Сам виноват. Но от этого не легче. Ночи напролет не сплю, совесть мучает. Сейчас детвора у меня еще маленькая, старшему только двенадцать исполнилось. Но ведь оглянуться не успеешь, вырастут, станут взрослыми. Услышат о том, что меня исключили из партии. Спросят, за что? Не один так другой обязательно спросит. Что я им тогда отвечу? В каком свете перед ними предстану? Когда обо всем этом думаю, голова кругом идет, места себе найти не могу.

Отдай мне Барлостепе, братишка. Юрту здесь поставлю. Всей семьей переберусь. Насчет саженцев я уже договорился, дадут. Сколько потребуется — дадут. Ты только поддержи, помоги оформить. Остальное я все сам сделаю. Будет здесь сад, чего бы мне это ни стоило, — будет! А как получу первый урожай, подам заявление: так, мол, и так, прошу принять меня в кандидаты...

Спазм перехватил горло, и последние слова он произнес хриплым, срывающимся шепотом. Медленно вытер рукавом глаза. Поднял голову, в упор взглянул на собеседника. Осунувшееся лицо выражало боль и решимость.

— Прости, братишка, за слезы. Это не от слабости, поверь. Такая уж натура у меня мягкая. Может, это и хорошо, а может, наоборот. Руководителю мягкость ни к чему, наверное.

Ну, а теперь, когда ты все знаешь, послушай: я от своего не отступлюсь. Костями лягу, а сделаю, как решил. Должен я перед людьми себя оправдать. Помоги мне, ты это можешь. Когда у человека несчастье, самые близкие, с которыми из одной чашки хлебал, отворачиваются, бывает. Ты не из таких. Ты к природе близко стоишь, к травам, к деревьям, а такие всегда отзыв-

чивые, искренние. Понимаешь? Мне ведь ничего не надо, была бы семья сыта. Я агроном. Главным агрономом совхоза работал. Такой сад тут разобью, — заглядишься. Вперемежку с орехом саженцы-скороспелки посадим, а в промежутках — нут, арбузы, люцерну...

Он мысленно представил себе этот зеленый рай, и глаза его опять повлажнели. Некоторое время оба молчали. Первым заговорил Тилябов.

— Завидую я вам, Саидкул-ака. Ох и завидую же...

Но Саидкул не расслышал его слов. В мыслях он был уже далеко-далеко: вел водовод на Барлостепе.

Несколько дней спустя бульдозеры разровняли дорогу для пропашных тракторов. А еще через день черная борозда вспаханной земли наискосок пересекла Барлостепе и устремилась к искрящейся сахарным блеском снежной вершине горы Ойкор.

ЖАЛОБА

Содержание письма было таково: «Ибадулла Махмудов, проживающий на массиве Ц-4 «Б», по улице Жуковского в доме № 11, 5-й корпус, блок «С», квартира 2, несмотря на тесноту двора, приобрел овцу. Эта тварь блеет и днем и ночью, нарушая покой трудового народа. Овца (а может быть, это баран) бодается с играющими во дворе детьми, чем причиняет серьезный вред их здоровью. Само собой разумеется, что, загаживая двор, она нарушает нормы сангигиены.

Это письмо выражает мнение большинства. Если в ближайшие дни не избавите жителей от этой четырехногой твари, мы будем вынуждены обратиться в высшие административные органы.

От имени старушек и детей... (Имя и фамилию не пишу, можете узнать меня по почерку)».

Начальник ЖЭКа Турдыев задумался, теребя давно не выдавшие расчески волосы. Тупо уставившись на желтоватый лист бумаги, по которому строчки ползли как муравьи, он начал размышлять. Вопрос серьезный. С чего начать действовать? Вызвал главного инженера Кадыркулова.

— Надо проверить эту жалобу. На работе все вы ходите задравши нос и даже не замечаете, что люди держат овец в самом центре такого города, как Ташкент. В конце концов, надо же видеть, что творится

вокруг! — будто всерьез отчитал начальник главного инженера.

— Вот здорово, экзотика! Где держат, на балконе? — изумленно расспрашивал худощавый, взъерошенный главный инженер Кадыркулов.

— Нет, на чердаке! Странно! Я вам не байки рассказываю. Если считаете, что это здорово, идите и помогайте им откармливать овец. Пастух требуется! — рассердился начальник.

— Извините, Арифжан Турдыевич! Я просто так... — сник и опустил голову Кадыркулов.

— Надо создать комиссию! Состоящую из трех или пяти человек. Включайте меня, себя, двух-трех сотрудников, — нахмурился Турдыев.

Вечером следующего дня позвонили из райисполкома. Заместитель исполкома, по своему обыкновению, «пропесочил» Турдыева.

— Чем мух гонять по кабинету — пошли бы лучше пасти овец, — язвительно сказал он.

Турдыева как током ударило.

— Сегодня же, сейчас, сию же минуту все решим, все уладим... — поспешил ответить он, перебивая речь заместителя, и, пока клал трубку на место, аж потом покрылся.

Вытянувшись в струнку (обычно с начальством он и по телефону разговаривал стоя), Турдыев сильно растерялся и застыл, словно статуя. Затем принялся вышагивать по пропитанной запахом табака, безвкусно оформленной комнате. От гнева внутри все кипело. (Он был под хмельком, поэтому запинаясь). «Ух этот Кадыркулов... Я ему покажу! Ну, пустая голова! Ты еще меня позоришь?! Чтобы написать четыре фамилии, ему, видите ли, двух дней не хватает?! Гнать надо таких ненормальных! Все, хватит!»

— Эй, ты! Тополь усатый! Ты будешь работать или нет?! Почему не выполняешь то, что сказано? А? Говори же. Чтобы написать четыре фамилии, тебе двух дней мало? Дождались — получили от исполкома по заслугам! — сердито кричал начальник Кадыркулову.

— Арифжан Турдыевич, выслушайте, ну выслушайте меня сначала, — умоляющим тоном пытался остановить поток брани Турдыева главный инженер.

— Говори! — прокричал начальник.

— Я не смог выполнить приказ такого авторитетного человека, как вы, и поэтому не осмеливался пока-

зываются вам на глаза... — заикаясь произнес Кадыркулов.

— Что там трудного? — захлебнулся начальник.

— Никто не соглашается, — виновато склонил голову инженер.

— Почему не соглашается?

— Говорят: «Мы не специалисты»!

— Кто же они тогда, если не специалисты?

— Хотел подключить Шакирову — не согласилась, Никулин тоже отказался, Рахматуллин заявил: «Я не знаю овцеводства, чтоб этим заниматься!» А я сам тоже инженер по горным делам...

— Голова садовая, овец-то как раз на горах выпасают. Что тут трудного? Обязательно надо быть ветврачом? Бердыярову подключите...

— Она говорит: «Я акушерка».

— Гм... почему она акушерка?

— Она акушерка, закончила медтехникум.

— Почему закончила медтехникум?

— Она туда поступила, поэтому закончила.

— Что она делает в ЖЭКе? Кто ее сюда принял? Что здесь, роддом, что ли? Будет здесь когда-нибудь порядок?

— Вы сами...

— Что я сам?

— Вы сами сказали, что временно возьмем ее на работу.

— Почему временно?

— Так это же чья-то протееже по телефонному звонку. По телефону просили, чтобы вы приняли ее на работу.

— А, да-да-да, — смягчился Турдыев. — Так это та Бердыярова?

— Да.

— Я думал, это другая Бердыярова. Так бы сразу и сказали.

— Так и говорю.

— Не помешает в любой организации держать одну акушерку, — утихомирился и просветлел руководитель. — Женщин у нас много. Дети — наше будущее...

— Правильно говорите, нужное дело.

— Ничего. В состав комиссии включите меня, себя и Бердыярову. Все обстоятельно проверим сами.

Утром следующего дня комиссия во главе с Турдыевым прибыла к девятиэтажному дому, указанному в

письме Огляделись вокруг. Барана не обнаружили.

— Позовите товарища Махмудова! — скомандовал Турдыев.

— Старик оказался инвалидом, еле плетется, — сообщил Кадыркулов, вернувшись.

— Сам инвалид, а еще барана завел? — пропищала Бердыярова, про которую никто точно не знал, чем же она занимается на работе.

— Люди такие пошли, что все пять пальцев норывают в рот засунуть, — многозначительным тоном сказал Турдыев.

К этому времени, постукивая палкой, подошел упомянутый в письме виновник Махмудов.

— Эге, папаша! Еще и баранов развели, — после приветствия протяжно сказал начальник, скривив губы в ухмылке. — Из-за ваших баранов люди в райисполком жалуются.

— Э-э, откуда же, сынок. У меня всего один. И того, как на грех, дня три тому назад из кишлака привезли. Уж и не знаю, что с ним делать, — растерялся старик.

— А почему это вам привозят? Такое, папаша, взяточничеством называется. Нам рассказали — другим не передавайте. Плохо кончиться может... — выпучив глаза, сказал Турдыев.

— Да нет же, что вы говорите, сынок? Недавно дочку замуж выдали, вот со стороны сватов к празднеству... прислали...

— Все равно, если кто-то дал... Кроме того, калым за дочку брать — это пережитки феодализма. Знаете, в какое время мы живем?

— Так что же делать, сынок? Посоветуйте, — вконец растерялся старик.

— Мы тоже удивлены, папаша. Сначала проверим по каждому пункту письма, а уж потом скажем. Так-так, где же этот самый баран?

— На ночь в подвал его загнал, сейчас... Галибжан! Выведи барана! — прокричал старик в сторону дома.

— Ну и ну, как же это получается: подвал для вас овчарня, что ли? — сказал Кадыркулов, радуясь, что нашел фразу, нравящуюся начальнику.

— Правильно, разве в подвал баранов загоняют? — нахмутив брови, добавила Бердыярова.

— Так за неимением места...

— Все равно нельзя, дед! Если в подвале бекнуть, то по этому бетонному двору звук разлетится, как рык дракона. О людях тоже надо думать, — посоветовал Кадыркулов, поглядывая на начальника.

— Та-ак, значит, он блеет? — спросил Турдыев, уткнувшись в листок жалобы, после того как мальчик привел барана и привязал к дереву.

— Конечно, ведь это же баран...

— Блеет-таки! Запишите, товарищ Кадыркулов, блеет! Блеение нарушает покой трудящихся. Так, здесь про рога написано. Есть у него рога?

— Не знаю, наверное, нет, — до сих пор не понимая, в чем дело, растерянно ответил старик.

— Есть, вот под шерстью виднеются, — поглаживая голову барана, сказал мальчик.

— Не обманывайте нас, папаша. Хорошо еще, что сын правдив по-пионерски. Ты пионер или комсомолец? Ну, молодец! Поверим твоим словам. Значит, рога есть.

— Он бодает ребят? Скажи-ка сам, братишка!

— Да, мы все с ним играем и бодаемся, — радуясь доверию к себе, продолжал мальчик, — ребята его даже нарисовали.

— Бодать детей нехорошо.

— Бо-да-ет-ся, — произнес Кадыркулов, делая запись в блокноте.

— Хорошо, что беды какой не случилось! — скривив губы, добавила Бердыярова.

— Мы вовремя подросли, — сказал начальник, поглядывая то на письмо, то на барана. — В письме еще много вещей написано. Что будем делать? С нас спросят о результатах расследования жалобы.

— Не ведаю, сынок, сам удивлен. И не знали, что столько будет неприятностей, вы уж извините нас.

— Надо принимать какие-то меры.

— Все, сынок. Сейчас же погружу это горюшко мое на машину сына и отправлю к дочери в кишлак, — запереживал старик.

— Хорошо, хорошо!.. Кадыркулов! Вы идите на работу. Вот наше дело почти и уладилось.

Взглянув на барана, как на диковинного обитателя африканских джунглей, инженер и «акушерка» удалились. После этого Турдыев подошел к старику, учтиво взял его под локоть и заботливо сказал:

— Станный вы человек, папаша. Зачем отправлять

животное в кишлак? Сваты узнают — обидятся. А не лучше ли...

— Посоветуйте, сынок, как скажете, так и будет,— вопрошающе взглянул на Турдыева старик.

— Надо — чик! — проведя рукой по шее, сказал Турдыев.

— Никогда не резал, рука не подымается. Кроме того, мы мясо в магазине покупаем.

— Как вы наивны, Ибадулла-ака. Этот вымороженный двухкилограммовый кусок вы называете мясом? А ведь какое удовольствие есть шурпу, от которой жир на усах застывает.

— Правильно говорите, — поддакнул старик.

— Это совсем другое дело, — похлопал по плечу старика Турдыев.

— А кто резать-то будет?

— Для вас мы найдем. В этом мире люди должны делать друг другу только хорошее.

— Спасибо, сынок, спасибо. Да воцарится покой и радость в семье твоей! А то куда бы я с больной ногой отправился искать мясника?

— Ну и через этого мясника передадите нам килограмма четыре хорошего мяса.

— Ладно, сынок, ладно!

Турдыев ушел. Дед пристально смотрел ему вслед, пока тот не скрылся из виду: руки у старика дрожали, и эта дрожь передавалась палке, которая гулко била по асфальту: тук, тук, тук...

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Небо твоего детства. <i>Перевод Н. Гацунаева</i>	3
День первого снега. <i>Перевод А. Атакузиева</i>	51
Здравствуйте, горы! <i>Перевод Д. Рубиной</i>	79
*Сангзор. <i>Перевод Е. Третьяковой</i>	165
*Не опоздай жить. <i>Перевод Д. Рубиной</i>	201

РАССКАЗЫ

*Бабушкина тайна. <i>Перевод Д. Рубиной</i>	270
*Воробей. <i>Перевод Д. Рубиной</i>	276
*Ангел мой в ситцевом платье. <i>Перевод Д. Рубиной</i>	284
Дустмурад-бобо. <i>Перевод О. Овчаренко</i>	290
В ночь полнолуния. <i>Перевод А. Джурабаевой и Т. Благовой</i>	297
Обида. <i>Перевод Д. Рубиной</i>	303
Услуга. <i>Перевод Д. Рубиной</i>	310
Желтые девушки. <i>Перевод А. Джурабаевой и Т. Благовой</i>	318
Белые голуби. <i>Перевод А. Джурабаевой и Т. Благовой</i>	323
Орлы живут на вершинках. <i>Перевод Л. Самойлова</i>	332
*Иначе не стоит жить. <i>Перевод Н. Гацунаева</i>	335
Жалоба. <i>Перевод О. Овчаренко</i>	344

Литературно-художественное
издание

НУРАЛИ КАБУЛ
(Нурали Кабулович
Холбутаев)

НЕ ОПОЗДАЙ ЖИТЬ

Повести и рассказы

Перевод с узбекского

Рецензент — доктор филологических наук А. З. Булис

Редактор Л. А. Казакова
Художник А. И. Кива
Художественный редактор А. Бобров
Технический редактор М. Мирраджабов
Корректор Л. М. Кумехова

ИБ № 3933

Сдано в набор 17.06.88. Подписано в печать 16.01.89. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл.
печ. л. 18,48+0,11 вкл. Усл. кр.-оттисков 18,51. Уч.-изд. л. 20,08+0,03 вкл.
Тираж 60 000. Заказ № 1265. Цена 1 р. 40 к. Договор № 85—88.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129,
Ташкент, ул. Навои, 30.

Набрано и отматрицировано в типографии издательства «Таврида» Крым-
ского обкома КП Украины, 333700, г. Симферополь, ул. Генерала Василье-
ва, 44.

Отпечатано в Ордена Трудового Красного Знамени типографии
Издательства ЦК Компартии Узбекистана, ГСП, Ташкент, улица Ленина, 41.

Кабул, Нурали.

Не опоздай жить: Повести и рассказы: Пер. с узб. — Т.: Изд-во лит. и искусства, 1989. — 352 с.

В вып. дан. авт.: Нурали Кабулович Холбутаев.

Книгу «Не опоздай жить» составили как новые, написанные за последние годы произведения, так и уже печатавшиеся и получившие признание читателей повести и рассказы, объединенные общей «географией» действия.

Герои Нурали Кабула — горные жители Бахмала, дети и взрослые — простые, гордые, трудолюбивые люди, самой природой воспитанные на истинных этических и нравственных ценностях, которые они защищают от любых посягательств.